

LR.H
V5756za

Veselovsky, Aleksei Nikolae-
vich.

Западное вліяніе въ новой
русской литературѣ.
2. перер.изд.

Title transliterated: Zapadnoe
vlivanie v novoi russkoi lite-
raturye.

Алексѣй Веселовскій.

ЗАПАДНОЕ ВЛІЯНІЕ

ВЪ НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Историко-сравнительные очерки.

Второе переработанное изданіе.

МОСКВА.
Высочайше утвержденное „Русское Т-во печатнаго и издательскаго дѣла".
Чистые пруды, собств. домъ.
1896.

Алексѣй Веселовскій.

ЗАПАДНОЕ ВЛІЯНІЕ
ВЪ НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Историко-сравнительные очерки.

Второе переработанное изданіе.

МОСКВА.
Высочайше утвержденное „Русское Т-во печатнаго и издательскаго дѣла".
Чистые пруды, собств. домъ.
1896.

LR.H
V5156za

615688
29.7.55

Когда настоящіе очерки явились въ свѣтъ въ первоначальномъ своемъ видѣ, какъ рядъ статей «Вѣстника Европы» 1881—82 гг., литература и общество переживали болѣзненный пароксизмъ племенной исключительности, нетерпимо относящейся къ общечеловѣческой цивилизаціи, отрицающей свои связи съ нею и самодовольно надѣющейся все извлечь изъ собственныхъ нѣдръ, — одинъ изъ рецидивовъ застарѣлаго недуга, которые проявлялись не разъ и прежде, и занесены въ литературную исторію. Желаніе возстановить истину, напомнить о великихъ результатахъ западнаго вліянія, неизбѣжнаго въ періодъ ученичества литературы, живительнаго по нравственной поддержкѣ и творческимъ возбужденіямъ въ пору ея зрѣлости,—показать, что оно не отдаляло отъ своего, народнаго дѣла, а научило выполнять общественное призваніе литературы, — наконецъ ввести развитіе русской мысли и творчества въ кругъ европейскаго умственнаго движенія, обусловленнаго единствомъ цѣлей, и разъяснить, что при самомъ широкомъ развитіи племенныхъ элементовъ намъ никогда уже не отрѣшиться отъ участія въ поступательномъ движеніи человѣчества,—вотъ намѣренія, побудившія автора взяться за перо.

На журнальныхъ статьяхъ, — первой редакціи настоящей книги, — конечно, лежала печать переживавшейся эпохи, нуждъ и запросовъ борьбы. Пріемы про-

тивниковъ, воскрешавшіе тактику блаженной памяти Шишкова и его Бесѣды, голословныя нападки, произвольное измѣненіе фактовъ и научныхъ данныхъ, отвага, съ которой навязывалась автору очерковъ нелѣпая проповѣдь вѣчнаго ученичества и рабской зависимости отъ Европы, тогда какъ въ сотнѣ мѣстъ своего обзора онъ привѣтствовалъ, какъ желанный исходъ «западной» школы, самостоятельность нашихъ великихъ писателей,—все это возбуждало къ горячей полемикѣ.

Обременять изложеніе ученымъ аппаратомъ, выдержками и большими отступленіями, значило бы лишить его общедоступности, которая одна лишь могла открыть подобнымъ «летучимъ листкамъ» свободный входъ въ большую публику. Примѣчанія и цитаты оставлены были лишь въ безусловно необходимыхъ размѣрахъ. Сжатое, быстро двигающееся впередъ обозрѣніе могло осуществиться только при такихъ условіяхъ.

Когда въ 1883 году для этихъ статей, изданныхъ въ формѣ книги, настала вторая редакція, многія частности были развиты подробнѣе, введены были новые отдѣлы, и, какъ оправдательные документы, умножились библіографическія ссылки. Полемическое возбужденіе не остыло, — да и условія борьбы оставались тѣ же; общедоступности все еще принесены были нѣкоторыя жертвы. Историко-литературный обзоръ выигралъ однако въ полнотѣ, и замыселъ обрисовывался опредѣленнѣе прежняго.

Съ тѣхъ поръ прошло немало времени. Въ пятнадцать лѣтъ (съ появленія статей) многое измѣнилось. Борьба утратила острый характеръ: многихъ бойцовъ нѣтъ уже въ живыхъ; убѣжденное, принципіальное противодѣйствіе ихъ досталось по большей части въ удѣлъ

лицамъ, чье рвеніе не имѣетъ ничего общаго съ литературой. Уваженіе или хоть приличное отношеніе къ европейской культурѣ понемногу возстановилось. Къ тому же и жизнь научила новѣйшихъ шишковистовъ кой-чему. Не такъ давно можно было не безъ любопытства созерцать, какъ они братались съ «великой дружественной республикой» и ратовали за франко-русскій союзъ. Когда же настала пора для русскаго вліянія нетолько на политику, но и на словесность запада, и Европа, а за нею Америка поддались обаянію русскаго художественнаго творчества, это возвратное вліяніе, это отдариваніе нашихъ прежнихъ учителей, представлявшееся рано-ли, поздно-ли неизбѣжнымъ, естественнымъ для тѣхъ, кто стоялъ на почвѣ общечеловѣческаго обмѣна идей, наполнило удовольствіемъ и непримиримыхъ противниковъ западничества.

Но за тѣ же годы много измѣнилось и для его сторонниковъ. Необыкновенно разросся научный матеріалъ, облегчившій оцѣнку западнаго вліянія; нетолько для новой литературы или для изученія дѣятельности выдающихся ея представителей, но и для до-петровскаго періода словесности въ ея частыхъ сближеніяхъ съ мыслью и творчествомъ Европы, сдѣлано, намѣчено, открыто много важнаго и цѣннаго. Тамъ, гдѣ были лишь одиночные работники, начинается дружный коллективный трудъ.

Вторая, книжная редакція очерковъ не могла уже удержаться на уровнѣ этого движенія. Жизнь опередила ее, требуя обновленія и коренной переработки, основанной на послѣднихъ итогахъ науки. Для «летучихъ листковъ» восьмидесятыхъ годовъ настала третья и окончательная редакція; почти удвоенная размѣромъ, по большей части вновь написанная, съ обширнымъ

вступленіемъ о древней литературѣ, замѣнившимъ прежнее бѣглое введеніе, книга ратуетъ за ту же неизмѣнную идею, но, свободная отъ обязанностей полемики, добыла себѣ больше простора для выполненія своей задачи. Изучая по существу одинъ изъ любопытнѣйшихъ сравнительно-историческихъ вопросовъ, она имѣетъ цѣлью изложить сущность его нетолько спеціалисту, но и среднему читателю,—потому что возмужалъ тѣмъ временемъ этотъ читатель, что не легко успокоить его старыми росказнями, полными лести и самообольщенія, что точный разсказъ о томъ, какъ предки его продвигались изъ мрака къ свѣту и изъ учениковъ сами становились мастерами, можетъ только возбудить въ немъ энергію къ дальнѣйшему труду для народнаго блага.

Александру Николаевичу

Пыпину.

Обмѣнъ идей, образовъ, фабулъ, художественныхъ формъ между племенами и народностями цивилизованнаго міра— одно изъ важнѣйшихъ наблюденій сравнительно молодой еще историко-литературной науки. Постоянно подкрѣпляемое все новыми и новыми сближеніями и параллелями, изъ классической старины и новыхъ вѣковъ, изъ литературной жизни Востока и Запада, Европы и Азіи, славянства и романо-германскаго міра, оно становится однимъ изъ законовъ развитія художественнаго творчества. Самобытная сила извѣстнаго племени, встрѣчая на своемъ пути странствующія по свѣту сказанія и миѳы, идеи и грезы, фабулы и бытовые мотивы, усвоиваетъ ихъ, сливаетъ съ своимъ собственнымъ достояніемъ, иногда развивая ихъ пышнѣе прежняго и измѣняя до неузнаваемости. Заимствованіе могло произойти и непосредственно, отъ народа къ народу, и на разстояніи, когда явились посредники и передатчики, наконецъ при отдаленіи нетолько въ пространствѣ, но и во времени, когда давно минувшее сильно подѣйствовало на умы еще не затронутаго имъ народа. Онъ, быть можетъ, поддался вліянію болѣе культурнаго племени, но, въ свою очередь, когда настанетъ его время, онъ можетъ отвѣтить такимъ же вліяніемъ, такою-же поддержкой. Этотъ круговоротъ идей и художественныхъ мотивовъ сближалъ народы искони и тѣмъ болѣе долженъ былъ усилиться въ послѣдніе два вѣка, когда надъ національною розныо все могущественнѣе поднимается общечеловѣческое культурное сліяніе, и когда то, что создано и добыто для общаго блага одною страной, все быстрѣе разносится во всѣ концы міра. Историкъ отдѣльныхъ литературныхъ родовъ, повѣсти, драмы, лирики, изслѣдователь исторіи сюжетовъ (Stoffgeschichte), лѣтописецъ главнѣйшихъ

школъ и направленій, энциклопедизма, романтизма, народничества, бытового реализма, литературныхъ отраженій соціализма, изслѣдователь „психологіи народовъ", старающійся опредѣлить и характеризовать вклады каждаго племени въ общее движеніе человѣчества, неминуемо встрѣтятся съ вѣковѣчнымъ принципомъ обмѣна идей.

Европейская наука уже освоилась съ нимъ, смиряя часто ради него прежнія патріотически-одностороннія симпатіи, какъ сдѣлала это, наприм., французская наука о старинѣ, примирившаяся съ открытіями двухъ чужеземцевъ, итальянца Райны и датчанина Ниропа, которые доказали, что французскій героическій эпосъ—германскаго происхожденія, и одинъ изъ выдающихся спеціалистовъ въ этой области, Гастонъ Парисъ, не затруднился недавно заявить, какъ основное свое убѣжденіе, „что, восходя въ глубь древнѣйшей поры французской литературы, мы всегда найдемъ вмѣсто обособленнаго развитія, необыкновенное множество чужеземныхъ зародышей самаго разнообразнаго происхожденія, заимствованныхъ, усвоенныхъ, превращенныхъ", и что именно „благодаря этому притоку элементовъ въ ея внутреннюю жизнь, во французской литературѣ развилась сила, настолько могущественная и величавая, что она могла сгруппировать вокругъ себя всю Европу"...[1]) Въ самомъ фактѣ заимствованія пріучились видѣть не позоръ, не рабство, не безличность, а свободное пользованіе правомъ культурнаго дѣятеля, получившее даже психологическое оправданіе въ такихъ трудахъ, какъ книга Тарда о „Законахъ подражанія", прослѣженнаго авторомъ во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности, общественной, политической, научной, художественной. [2]) Если у народа есть жизненная сила, вліянія и заимствованія не только не убьютъ въ немъ самостоятельности, но вызовутъ эту силу на свободное состязаніе, а для народа неопытнаго, отставшаго, послужатъ школой, въ которой окрѣпнетъ его самодѣятельность. Gaston Paris мѣтко прилагаетъ къ умственной жизни народовъ при-

---

[1]) La poésie au moyen âge, leçons et lectures; deuxième série. 1895, X.

[2]) Les lois de l'imitation; въ русскомъ переводѣ изд. г. Павленковымъ, Спб. 1892.

ципы свободной торговли, гдѣ „чѣмъ больше ввозишь, тѣмъ болѣе имѣешь шансовъ вывезти“, совсѣмъ въ духѣ старой поговорки Панурга у Рабле: „Empruntez pour qu'on vous emprunte“.

И результатомъ признанія закономѣрности литературнаго обмѣна явилась разростающаяся не по днямъ, а по часамъ литература всевозможныхъ изслѣдованій о взаимномъ вліяніи однѣхъ европейскихъ литературъ на другія. Вліяніе нѣмецкой словесности на литературы всѣхъ народовъ Европы, въ частности на французскую, [1])—итальянской на нѣмецкую, англійскую, французскую,[2]) —испанской на французскую и нѣмецкую, [3]) — англійской на французскую и нѣмецкую [4])— французской на нѣмецкую, [5]) и т. д. — изслѣдовано иногда съ необыкновенною, щепетильною обстоятельностью, [6]) тогда какъ множество статей, посвященныхъ или новѣйшему вліянію русской беллетристики на европейскую или увлеченію запада скандинавскою литературой, получившему уже проз-

---

1) Weddigen. Geschichte der Einwirkungen der deutschen Liter. auf die Lit. der übrigen europ. Kulturvölker der Neuzeit. Leipz. 1882.—Süpfle. Gesch. des deutsch. Kultureinflusses auf Frankreich.—Ch. Joret. Des rapports intellectuels entre la France et l'Allemagne avant 1789.—Rosières. La littér. allemande en France, Revue bleue, 1883. — Fritz Meissner. Der Einfl. deutschen Geistes auf die franz. Literat. des 19. Jahrhund., L., 1893.—Herford, Studies in the literary relations of England and Germany in the 16 cent., 1886.—О вліяніи на новѣйшую англійскую словесность статья Thomas Sergeant Perry, Atlantic Monthly, 1877.

2) Alfred v. Reumont. Delle relazioni della letteratura italiana con quella di Germania. Firenze, 1853.—Ross Murray. The influence of italian upon engl. liter. during the 16 and 17 cent. Cambridge, 1886.—Henri Hauvette. Les relations littér. de la France et de l'Italie, Annales de l'université de Grenoble, 1895.—Rathéry. Influence de l'Italie sur les lettres fr., 1855.

3) Morel-Fatio. Etudes sur l'Espagne, 1-re série, 1888. — Puibusque, Histoire comparée des lit. française et espagnole, 1841.—Farinelli. Deutschlands und Spaniens Beziehungen. Zeitschr. f. vergl. Liter. 1895, VIII.

4) Max. Koch. Ueber die Beziehungen der engl. Liter. auf die deutsche des18. Jahr. —Joseph Texte. J. J. Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire, 1895.

5) Georg Steinhausen. Die Anfänge des französ. Literat.- und Kultureinfl. in Deutschland. Zeitsch. f. vergleich. Literaturgesch., 1894, 5—6 Heft.—Honegger. Kritische Gesch. des französ. Kultureinfl. in den letzten Jahrhunderten. B. 1875.

6) Недавно въ Германіи издана была съ *учебною цѣлью* даже графическая литературная таблица, показывающая вліяніе иноземныхъ литературъ на нѣмецкую. C. Flaischlein. Graphische Lit.-Tafel, Die deut. Literat. und d. Einfluss fremder Literaturen auf ihren Verlauf v. Beginn einer schriftl. Ueberlieferung an bis heute. St. Goschen, 1893.

вище septentrionalisme'а, является подготовительной работой для будущихъ научныхъ изслѣдованій объ этомъ предметѣ, которыя обогатятъ лѣтопись обмѣна двумя любопытными главами.

Такая постановка вопроса не кажется оскорбительною для чьего бы то ни было патріотизма, унижающею самобытность и независимость національнаго начала. Самое начало это наука привыкла разлагать на части и изучать ихъ взаимодѣйствіе. Новѣйшій историкъ англійской литературы [1]) послѣдовательно разсматриваетъ три главные элемента: кельтскій, германскій, норманскій, составившіе собою англійскую національность, языкъ и литературу. Слишкомъ два столѣтія долженъ онъ отвести господству французской рѣчи и словесности, вызванному завоеваніемъ Англіи норманами, анализировать и объяснять произведенія, писавшіяся туземцами на чужомъ языкѣ; онъ знаетъ, что отъ скрещиванія нѣсколькихъ даровитыхъ расъ, взаимно дополнявшихъ и поддерживавшихъ одна другую, сложилась послѣ долгаго творческаго процесса типическая, стойкая національность, и сильная, яркая литература.

Въ такой странѣ, какъ Россія, гдѣ съ первыхъ дней исторіи уже обозначаются несравненно бóльшая, чѣмъ въ Англіи, пестрота племенного состава, непрерывныя сношенія съ народностями азіатскаго востока, финскаго и скандинавскаго сѣвера, съ греческой культурой Византіи и нѣмецкою жизнью, съ бытомъ и творчествомъ славянства,—гдѣ три послѣднихъ столѣтія ушли на развитіе разнообразныхъ сношеній съ европейскимъ западомъ,—гдѣ, наконецъ, среди живущихъ совмѣстно племенъ, постоянно приходятъ въ соприкосновеніе различные оттѣнки культуры и уровни литературнаго творчества,—вопросъ объ обмѣнѣ долженъ былъ бы, казалось, считаться безспорнымъ, естественнымъ, обезпечившимъ себѣ мѣсто въ наукѣ. На дѣлѣ этого не было до новѣйшаго времени; многія частныя наблюденія и замѣчанія, неизбѣжныя при сколько нибудь толковомъ изученіи

---

[1]) Jusserand, Histoire littéraire du peuple anglais, 1895.

литературной исторіи, не сводились воедино, не обобщались съ научною цѣлью.

Въ самомъ началѣ 19 столѣтія, съ каѳедры только что открытаго дерптскаго университета, слышится рѣчь одного изъ мѣстныхъ ученыхъ,[1]) — первое категорически сдѣланное заявленіе о важности западнаго вліянія на русскую литературу. Но это—только актовая рѣчь, сказанная по случаю открытія университета, и притомъ не спеціалистомъ по литературѣ, а историкомъ. Въ ней замѣтно искреннее уваженіе пріѣзжаго изъ Германіи эрудита къ русскому народу, сумѣвшему побѣдить предразсудокъ и предубѣжденіе иностранца своею способностью къ развитію (Bildsamkeit) и самостоятельною переработкой заимствованнаго, — но фактовъ и указаній немного. Потомъ проходятъ десятилѣтіе за десятилѣтіемъ, разгорается споръ западниковъ съ славянофилами, но ни одного сводного труда, обобщающаго то, что въ отдѣльности заявлялось въ критическихъ статьяхъ и среди возбужденія полемики, не было предпринято. 1857 годъ, когда появился юношескій, но поразительный по глубокой эрудиціи и до сихъ поръ сохранившій авторитетное значеніе трудъ А. Н. Пыпина „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ", сталъ эрой, съ которой идетъ лѣтосчисленіе въ научной разработкѣ вопроса объ обмѣнѣ, который въ названномъ трудѣ получилъ сразу широкое примѣненіе: западное, восточное, славянское вліяніе одинаково стали предметомъ изученія молодого ученаго. Такой блестящій починъ послужилъ стимуломъ къ изысканіямъ; со временемъ русская наука дожила и до школы, спеціально посвятившей себя изслѣдованію восточнаго вліянія на русскій эпосъ (Стасовъ, Всев. Миллеръ, Потанинъ, Колмачевскій), и до группы ученыхъ, раскрывающей литературное, книжное (преимущественно западно-европейское) вліяніе на былину, сказку, духовный стихъ, легенду (Александръ Веселовскій, Ягичъ, Ждановъ,

---

[1]) G. F. Pöschmann, Ueber den Einfluss der abendländischen Kultur auf Russland. Dorpat, 1802. Не лишено интереса то обстоятельство, что новѣйшее заявленіе о данномъ вопросѣ исходитъ изъ того же университета (Е. Шмурло. Востокъ и Западъ въ русской исторіи. Ученыя записки Юрьевск. Универс. 1895, III).

Кирпичниковъ), до изслѣдователей финскаго вліянія на русскую народную поэзію, наконецъ до усердныхъ византинистовъ. Съ изысканіями такого рода большинство какъ будто уже свыклось, быть можетъ, не отдавая себѣ вполнѣ отчета въ томъ, что объединенные результаты этихъ работъ произведутъ немалое опустошеніе въ мирныхъ садахъ древней нашей словесности, гдѣ царствовала еще недавно такая тишь и благодать, и что со многими красивыми преданіями и quasi-учеными миѳами придется навсегда разстаться. Но, когда рѣчь заходитъ объ изслѣдованіи чужеземнаго вліянія на *новую* русскую словесность, и когда принимается въ разсчетъ именно вліяніе *западно-европейское*, все еще слышатся ропотъ и протесты, — точно это понятіе тождественно съ вредоноснымъ, губительнымъ началомъ, которому слѣдуетъ приписать многія изъ нашихъ золъ и пороковъ. И въ то время, какъ въ здравой и безпристрастной наукѣ, да постепенно и въ обществѣ укореняется убѣжденіе, что безъ сравнительно-историческаго изученія европейскихъ литературъ и русской словесности нельзя ни объяснить явленій ея, ни опредѣлить границъ самостоятельнаго творчества [1]), держится охранительное предубѣжденіе, враждебное и нетерпимое.

Если въ принципѣ междуплеменный обмѣнъ признанъ несомнѣннымъ, должно казаться необъяснимымъ нежеланіе узнать такую же правду о западномъ вліяніи, какъ и о восточномъ. славянскомъ, византійскомъ.

Не географическій же терминъ страшитъ и возмущаетъ, — вѣдь еслибы за западнымъ нашимъ рубежомъ разстилались необозримыя степи, и оттуда неслась къ намъ унылая пѣсня кочевника или аскетическая буддійская притча, противъ перехода ихъ въ русское народное достояніе никто бы не высказался. Но историческая судьба народа нашего такъ сложилась. что въ главныхъ, существенныхъ своихъ чертахъ понятіе о *западномъ* вліяніи слилось съ болѣе опаснымъ синонимомъ *просвѣтительнаго* вліянія. Всему свое мѣсто и

[1]) „Изолированное изученіе той или другой литературы въ отдѣльности, нѣмецкой, французской или русской, стало рѣшительно немыслимо“, говорилъ въ 1874 г. Ѳ. И. Буслаевъ во вступленіи къ ст. „Перехожія повѣсти“ (Мои досуги, 1886. II, 262).

оправданіе, и „свѣту съ востока“, и „свѣту съ сѣвера“, засіявшему будто бы для Европы прошлаго вѣка изъ екатерининскаго Петербурга;—„свѣтъ съ запада“, искрящійся и сверкающій во множествѣ подлинныхъ фактовъ нашей литературной исторіи, слишкомъ замѣтенъ, чтобъ его можно было игнорировать. Но этотъ яркій свѣтъ невыносимъ, неудобенъ,—и для тѣхъ, чьи глаза привыкли къ полутьмѣ, и для ревнителей безусловной самобытности, и для рьяныхъ соперниковъ европейскаго просвѣщенія, которымъ хотѣлось бы самимъ поднять надъ человѣчествомъ свѣточъ и услышать чудную, ласкающую слухъ музыку стараго комплимента: „c'est du nord que nous vient la lumière“.

На томъ, кто, несмотря на всѣ эти предубѣжденія, рѣшается говорить о западномъ вліяніи и исторически обозрѣвать его изъ вѣка въ вѣкъ, лежитъ прежде всего обязанность сосчитаться съ встрѣчнымъ мнѣніемъ и разъ навсегда объясниться,—хотя бы пришлось разъяснять элементарныя истины.

Указывать съ помощью фактовъ, которыхъ ничѣмъ нельзя изгладить изъ исторіи, на важность западнаго вліянія *не значитъ* отрицать самодѣятельность народную; жалокъ, ничтоженъ былъ бы тотъ народъ, который, не умѣя найти ни *своихъ* словъ, ни *своихъ* мыслей, вѣчно слѣдилъ бы за чужою указкой. Это *значитъ* изучать постепенное развитіе, подъ воздѣйствіемъ опытныхъ чужеземныхъ силъ, самодѣятельной національной работы. Это *значитъ* также подвести ей точные итоги, отдѣлить свое отъ чужого, творческое отъ подражательнаго, скорѣе сузить кругъ своего національнаго богатства, чѣмъ съ хвастливой гордостью видѣть его всюду, гдѣ только живая русская рѣчь облеклась въ художественныя формы, и бороться противъ того самовосхваленія, того идолопоклонства, которымъ попрекнулъ нашу литературу еще Бѣлинскій. Это *не значитъ* пытаться парализовать энергію и стремленіе впередъ, къ полноправности и равенству съ другими культурными народами, но, наоборотъ, *значитъ* вести къ этой цѣли, внушать бодрость, духъ неутомимой работы, сознаніе, что свѣтлое будущее вовсе еще не близко, привѣтствовать каждый нашъ вкладъ въ обще-

человѣческую литературу, каждый фактъ начинающагося вліянія нашего творчества на нее, но вмѣстѣ съ тѣмъ напоминать, что первенствующее, руководящее и „самодовлѣющее“ (о, дебелое, ветхое, но снова модное словечко!) значеніе нельзя себѣ приписать, но что его нужно заслужить....

А теперь—за дѣло! Profession de foi, вызванное случайнымъ или умышленнымъ непониманіемъ, высказано; этимъ добыта свобода научнаго разсмотрѣнія вопроса по существу,— sine ira можно приступить къ самому повѣствованію. Въ немъ хотѣлось бы исчерпать вопросъ, охватить все, и положительные, и бѣглые, поверхностные, и подчасъ даже отрицательные слѣды сближенія съ литературой и жизнью Европы, чтобы затѣмъ на этомъ фонѣ отчетливо опредѣлилось то, что въ точномъ смыслѣ слова заслуживаетъ имени западнаго *вліянія*. Думается, что это — поучительная страница изъ русской литературной исторіи и изъ лѣтописи общечеловѣческаго литературнаго обмѣна, въ которомъ, быть можетъ, теперь очередь за русскимъ народомъ.

I.

Вглядываясь пристальнѣе въ историческій ходъ развитія нашихъ литературныхъ связей съ Европой, мы не можемъ не замѣтить двухъ характеристическихъ явленій, повторяющихся съ систематической правильностью. Съ одной стороны мы видимъ какъ-бы волнообразное распространеніе идей, ученій и школъ, идущее изъ умственныхъ центровъ запада, раньше и сильнѣе отражающееся на болѣе близкихъ къ нимъ мѣстностяхъ и разбивающееся въ мелкія брызги у нашего берега. Такъ морская волна, надвигающаяся издали цѣлою водяной горою, обрушивается далеко отъ берега и потомъ долго, мелкими змѣйками, все еще катится къ ногамъ человѣка. Быть можетъ, эффектнѣе было бы иной разъ встрѣтиться прямо лицомъ къ лицу съ могучимъ валомъ, но это подъ стать однѣмъ скаламъ, чья сила можетъ помѣриться съ приближающимся исполиномъ; чего же ожидать отъ ровнаго берега, отъ зыбучихъ песковъ!...

Зародившись подъ покровомъ живого движенія французской или англійской общественной мысли, то или другое ученіе находило, бывало, благопріятный пріемъ въ нѣмецкой, голландской, польской средѣ; когда еще дойдетъ оно до насъ, сохранитъ ли оно всю первоначальную силу, переданное изъ вторыхъ рукъ! Могутъ, конечно, сложиться благопріятныя обстоятельства, которыя какъ будто ослабятъ географическую отдаленность и перенесутъ сразу мысль, точно легкое сѣмя, черезъ огромное пространство. Но для этого необходимо всегда чье-нибудь особенно сильное, личное вмѣшательство, напримѣръ, увлеченіе энциклопедизмомъ у Екатерины II. въ

раннюю пору: пересадка имѣла поэтому иногда характеръ тепличной культуры, и замирала съ той минуты, когда лично заинтересованнаго двигателя не было болѣе въ живыхъ,— и тогда снова входилъ въ свои права естественный законъ.

Такъ это было у насъ до ближайшей къ намъ поры; и если теперь, съ каждымъ годомъ становится замѣтнѣе быстрота передачи литературныхъ и научныхъ движеній, то этому порядку вещей, строго говоря, никакъ не болѣе нѣсколькихъ десятилѣтій. Запоздалость окончательнаго упроченія нашей образованности при Петрѣ не могла бы одна объяснить этого явленія; можно бы ожидать, что на свѣжей русской почвѣ будетъ воспринято сразу *послѣднее* слово мыслящей Европы, и что затѣмъ русскій культурный человѣкъ будетъ стараться итти въ ногу съ своими учителями, хотя и сознавая, что иногда это ему не подъ силу. А между тѣмъ при Петрѣ у насъ увлекались Пуффендорфомъ, отживавшимъ уже свой вѣкъ на родинѣ, переводили старомодныя, до-мольеровскія пьесы, читали Эразма и Юста Липсія; такъ это продолжалось до безконечности. Ложный классицизмъ явился у насъ тогда, когда на западѣ онъ былъ почти совершенно расшатанъ; сатирическая журналистика опоздала на полвѣка, Шиллера и Гете стали у насъ цѣнить, когда прошла добрая половина ихъ дѣятельности; Байрона мы узнали лишь за нѣсколько лѣтъ до его смерти И вмѣстѣ съ тѣмъ каждый разъ степень интенсивности движенія ослаблялась по мѣрѣ передачи. Такъ просвѣтительное направленіе привело во Франціи къ политическому перевороту, въ Германіи оставило слѣдъ на идеалистическомъ поклоненіи свободѣ и братству, въ Россіи прошлаго вѣка дало пищу для либеральныхъ разговоровъ. Сентиментальное англійское направленіе умѣло, несмотря на всю болѣзненность своего сочувствія къ людскимъ страданіямъ, дать сильный толчокъ развитію общественнаго романа: по слѣдамъ Ричардсона прошелъ и Руссо съ Новою Элоизой, и гетевскій Вертеръ,—а въ нашей романической литературѣ сентиментальность прежде всего отразилась въ блѣдныхъ, чахлыхъ повѣстяхъ Карамзина. Эта медленность передачи, усиливаемая еще разновременными стараніями отдѣлить насъ китайской

стѣною отъ запада, должна быть неизбѣжно принята въ разсчетъ. Насколько очевидною становится необходимость сравнительнаго изученія нашей литературы, настолько же ясно, что это сравненіе должно въ большинствѣ случаевъ сближать эпохи разновременныя.

Второе наблюденіе коренится отчасти въ этомъ же законѣ. Вступая на ту часть пути, которая только что оставлена была нашими предшественниками, мы переживали затѣмъ тѣ же стадіи, черезъ которыя они сами проходили, и это совершалось не вслѣдствіе рабской подражательности, но въ силу нормальнаго хода народнаго развитія, повторяющагося при одинаковыхъ условіяхъ. За примѣрами не далеко ходить. Нѣмецкая литература въ концѣ семнадцатаго и началѣ восемнадцатаго вѣка, и состояніе самаго общества проникнуты были безличностью, слѣпымъ поклоненіемъ Франціи, модною манерностью и изломанностью пріемовъ; мало-по-малу пробивается что-то похожее на національное самосознаніе, крайняя галломанія поднимается на смѣхъ сатирой, комедіей, журналами, начинается проповѣдь обновленія, реформъ, поэзія стремится къ самостоятельности, зарождается критическое и философское движеніе, складывается новая нѣмецкая наука; и, руководясь всѣмъ, что было дѣйствительно живого и освобождающаго въ современной французской и англійской культурѣ, нѣмецкое умственное движеніе доходитъ наконецъ до полнаго разцвѣта въ классическій періодъ, блистающій именами Шиллеровъ, Гете и Кантовъ. Подставьте вмѣсто этихъ фактовъ общеизвѣстныя русскія данныя, начиная съ петровскаго времени до пушкинскаго періода, замѣните соотвѣтствующія имена нѣмецкихъ литературныхъ дѣятелей Кантемиромъ, Фонвизиномъ, Новиковымъ, Радищевымъ, Карамзинымъ, Державинымъ и т. д., и тотъ же процессъ постепеннаго исканія самостоятельныхъ путей окажется приложимымъ и къ намъ; онъ такъ же привелъ насъ отъ птиметровъ, осмѣянныхъ Кантемиромъ, и отъ бурсаковъ-виршеписцевъ къ проявленіямъ независимости и художественной силы; онъ такъ же останавливается у порога пушкинской эры, какъ въ Германіи онъ вводитъ въ преддверіе *Фауста* и *Донъ-Кар-*

лога. Вездѣ заимствованіе уступаетъ мѣсто усвоенію, ассимилированію, переработкѣ, — и, проникнутое народнымъ творческимъ духомъ, это сочетаніе туземнаго и пришлаго элементовъ становится цѣльнымъ и законченнымъ національнымъ достояніемъ.

Такъ развивалось наше общеніе съ западомъ, не остановившееся, несмотря на цѣлый рядъ препятствій. Мѣшалъ ему и слабый уровень образованности, долго не дававшій намъ усвоивать во всей полнотѣ умственныя движенія и размѣнивавшій ихъ на мелочь,—и охранительныя старанія многихъ представителей власти, Екатерины (во второй періодъ ея правленія), Павла и т. д.,—повременное усиленіе въ обществѣ національной нетерпимости, отличавшее, напримѣръ, время войнъ съ Наполеономъ. Характеръ и размѣры сближенія порою колеблются и мѣняются; въ болѣе отдаленную пору оно опиралось на усилія отдѣльныхъ личностей; съ поры Петра оно входитъ въ правительственную программу; когда же въ концѣ прошлаго вѣка слишкомъ рѣзко сказалась противоположность между словомъ и дѣломъ, между показнымъ, оффиціальнымъ либерализмомъ во французскомъ вкусѣ и дѣйствительностью, полною обузданій и закрѣпощеній всякаго рода,—руководство движеніемъ снова переходитъ къ частной инициативѣ, чтобъ никогда болѣе не разставаться съ нею.

Непрерывное движеніе это, очевидно, одарено было большою жизненною силой, помогавшей одолѣвать препятствія и, усиливаясь и расширяясь, переходить изъ одного вѣка въ другой. Его корни все глубже проникали въ народную жизнь, потому что оно удовлетворяло нетолько личнымъ культурнымъ запросамъ, но и стремленію русской мысли къ умственному обмѣну съ другими народами, которое раскрывается теперь все яснѣе и въ нашей старинѣ. Если приходится признать, что уже въ древности наша народная мысль, по мольеровски, prenait son bien où elle le trouvait, искала духовныхъ возбужденій всюду, гдѣ только могла встрѣтить силу и красоту творчества и воображенія, на азіатскомъ востокѣ, въ Византіи, у славянъ, на европейскомъ западѣ, то значительное накопленіе данныхъ позволяетъ отвести за-

падному вліянію одно изъ видныхъ мѣстъ въ этомъ международномъ общеніи нашихъ предковъ. [1])

Такимъ образомъ къ высказаннымъ уже общимъ наблюденіямъ надъ ходомъ нашего европеизма присоединяется и то, которое приводитъ къ признанію внушительной его давности, далеко отступающей вглубь отъ обычныхъ датъ петровскаго переворота и обязывающей прослѣдить эволюцію западничества до оффиціальнаго его признанія на Руси.

Сжатый очеркъ его раннихъ судебъ долженъ явиться прологомъ къ исторіи западнаго вліянія въ новой литературѣ.

Надъ творчествомъ, мыслью и совѣстью русскаго человѣка еще господствовала культура Византіи и соперника ея—Востока, который передавалъ ему нѣсколькими путями (черезъ половцевъ, татаръ, кавказскихъ горцевъ) богатство своей фантазіи,—а уже стали замѣтны одновременные отголоски далекой европейской жизни. Наряду съ народными любимцами, участниками всѣхъ замѣтныхъ событій въ народномъ быту, исполнителями былинной и обрядной поэзіи, скоморохами-туземцами, выходцами изъ Византіи или половецкими „гудцами", являются представители нѣмецкихъ Fahrende Leute или Spielleute съ своими инструментами, пѣснями, играми и плясками, — и разнообразные памятники рано отмѣтили этотъ приходъ къ намъ „шпильмановъ", [2]) которые и „глумы творили" („шпильманить", по Кормчей 13 вѣка, значитъ „глумы дѣять"), и „играли", и показывали маріонетокъ, являясь въ этомъ послѣднемъ случаѣ иниціаторами народныхъ сценическихъ представленій. Но, если составъ исполнителей пѣсенъ былъ разноплеменнымъ, то и весь нашъ эпосъ, по мѣткому выраженію одного изъ его знатоковъ, „какъ всякій эпосъ культурнаго народа, былъ международнымъ". Персоналъ нашего богатырства, въ который проникли, измѣнивъ свою внѣшность, иранцы Ростомъ, Кейкаусъ, монголъ

---

[1]) Первою спеціальной работой по этому предмету былъ рядъ статей проф. Н. Петрова „Вліяніе западно-европейск. литерат. на древне-русскую", Труды Кіевской духов. акад., 1872, апрѣль—августъ.

[2]) См. статью проф. Грота „О словѣ шпильманъ", Рус. Филол. Вѣстн. 1879; ст. Бѣляева о скоморохахъ, Времен. Общ. Ист. и Древ.; отдѣлъ о святочн. играхъ въ „Разысканіяхъ въ области рус. дух. стиха", Александра Веселовскаго. 1883, VI—X.

Гэсеръ-ханъ. и выходцы изъ „Индіи богатыя“, разомкнулъ свои ряды для того, чтобъ принять въ свою среду щегольски одѣтаго, богатаго и красиваго Чурилу, въ которомъ находятъ оригинальныя черты иноземца, изъ тѣхъ захожихъ торговыхъ семей, которыя заводили факторіи въ Кіевской Руси еще съ 11—12 вѣковъ, или, какъ генуэзцы южнаго берега Крыма, являлись къ намъ изъ „Сурожа“,—Соловья Будиміровича, обрусѣлаго героя переведенной съ польскаго западной повѣсти о королевичѣ Васильѣ Златовласомъ, когда-то (въ XV—XVI в.) популярной въ Новгородѣ, [1]) — Полкана, одно изъ дѣйствующихъ лицъ (Pulicane) въ сказкѣ о Бовѣ, взятой изъ итальянскаго эпическаго сборника „Reali di Francia“. Онъ далъ проникнуть въ разсказы о буйствѣ и отвагѣ Васьки Буслаева чертамъ изъ нормандскаго странствующаго сказанія о Робертѣ-Дьяволѣ, [2]) а въ пѣсни объ Алешѣ Поповичѣ отголоскамъ разсказа, легшаго въ основу новеллы Боккачьо о генуэзцѣ Бернабо и шекспировскаго „Цимбелина“ [3]). Духовные стихи и легенды приняли въ свою среду рядъ темъ, разработанныхъ сказаніями и церковными гимнами латинскаго Запада (стихи о женѣ милостивой, о распятіи и воскресеніи Христовѣ, „евангелистая пѣснь“, стихъ о страшномъ судѣ, переложенный изъ гимна „dies irae, dies illa“ и др.);[4]) въ привитую и нашей словесности группу сказаній о странствіяхъ по загробному міру, „видѣній“, откровеній и хожденій по мукамъ, наряду съ восточными и греческими мотивами вносятся отголоски легендъ, получившихъ нѣкогда художественное примѣненіе въ Божественной Комедіи Данта,—а сродныя съ ними по темѣ „Прѣніе живота со смертью“ и „Двоесловіе“, при ближайшемъ изученіи, оказываются переводами нѣмецкихъ нравоучительныхъ діалоговъ, даже народной масляничной игры (Fastnachtspiel Nic. Mercatoris). [5])

[1]) Всев. Миллеръ, „Къ былинамъ о Соловьѣ Будиміровичѣ“, Журн. мин. народ. просв., 1895. XI; повѣсть о Васильѣ издана П. А. Шляпкинымъ.

[2]) Ждановъ, „Русскій былевой эпосъ“, Спб. 1895, стр. 355 и слѣд.

[3]) Александръ Веселовскій. Южно-русскія былины, 1884, глава XV.

[4]) А. Н. Кирпичниковъ, Русск. духов. стихи (Истор. р. слов. Галахова, I т.); Веселовскій. Разыскан. въ обл. дух. стиха; А. Д. Карнѣевъ. Мелкія замѣтки о рус. дух. стихахъ. Журналъ мин. нар. пр., 1892, VI.

[5]) Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи, И. Жданова. Кіевъ 1881.

Въ разноплеменномъ составѣ народной сказки со всѣми обособленными наукой ея развѣтвленіями, наприм. тѣми порожденіями юмора, свободно освѣщающими даже церковныя преданія, поступки и рѣчи святыхъ и т. д..—которыя Аѳанасьевъ назвалъ „народными легендами“, скрыто много мотивовъ западноевропейскаго происхожденія, зашедшихъ въ позднѣйшее время, но слитыхъ съ туземными сказками и переработанныхъ. Это—не варіаціи странствующихъ сказаній, а прямые отголоски чего-то прочитаннаго, полюбившагося и усвоеннаго. Тутъ и отзвуки новеллы Боккачіева Декамерона, превратившейся въ малорусскій „народный анекдотъ“ (ловкость жены, увѣрившей мужа, что окно, въ которое онъ видѣлъ ея поцѣлуй съ москалемъ, заколдовано) [1],—и мотивъ изъ „Римскихъ Дѣяній“, взятый потомъ изъ народной сказки въ первую редакцію гоголевскаго „Ревизора“ [2], и сказка о „гордомъ богачѣ“, основанная на разсказѣ изъ того же сборника, и волынское преданіе о „мелюзинахъ“, полу-рыбахъ, полуженщинахъ [3],—и сходство сказки о Маркѣ Богатомъ съ западнымъ сказаніемъ, обработаннымъ впослѣдствіи Шиллеромъ въ его балладѣ „Der Gang nach dem Eisenhammer“, [4]—и дальнее эхо бойкаго фабльо, сказка о гостѣ Терентьищѣ съ ея скоромными прибаутками о женскомъ легкомысліи и притворствѣ, [5]—и блещущій юморомъ разсказъ о бражникѣ, спорящемъ зубъ за зубъ съ обитателями и привратникомъ рая и подъ конецъ попадающемъ туда, разсказъ, родственный нѣмецкой сказкѣ „Der Schneider im Himmel“, [6])—тверская сказка о скоморохѣ и Тараскѣ, шуточная передѣлка рас-

---

1) Аѳанасьевъ. Русскія народныя сказки, М. 1857, III, 98—9.

2) Неискусно навязанный Хлестакову разсказъ о происшествіи на постояломъ дворѣ, гдѣ онъ вкусно поужиналъ, увѣривъ на другой день своихъ спутниковъ, что видѣлъ, какъ ихъ увлекли въ загробное царство, и потому съѣлъ ихъ припасы и оставилъ ихъ безъ ѣды, находился въ „первой законченной редакціи Ревизора“, напечатанной Н. С. Тихонравовымъ въ „Библіот. для чтенія“, прилож. при „Царѣ-Колоколѣ“, 1892.

3) Чубинскій. Труды этногр. экспед., т. I, 209.

4) Сумцовъ, Сказки и легенды о Маркѣ богатомъ. Этнографич. обозрѣніе 1887, № 1.

5) Пѣсни о гостѣ Терентьищѣ и родственныя имъ сказки, ст. Н. Сумцова. Этнографич. обозрѣніе, 1892. № 1.

6) Аѳанасьевъ, Народн. легенды, стр. 97. Памятники старинной русской литературы, изд. Костомарова и Пыпина, II, стр. 477—80.

пространеннаго въ Европѣ спора о вѣрахъ [1]),—русское сказочное переложеніе темы о „Корделіи-Замарашкѣ“ [2]) и мн. др. Въ этихъ бытовыхъ сказкахъ скрывается немало повѣствовательныхъ сюжетовъ, усвоенныхъ въ русской обстановкѣ иногда даже раньше того поворота въ исторіи русской переводной повѣсти, который окончательно сблизилъ ее съ европейскимъ романомъ.

Новгородская окраина была однимъ изъ главныхъ проводниковъ европейскаго (нѣмецкаго и скандинавскаго) вліянія въ древнѣйшій періодъ. Она слишкомъ давно соприкасалась съ иноземцами, дала развиться нѣмецкой колоніи въ Новгородѣ, возникнуть наперекоръ рѣзкой оппозиціи стараго поколѣнія (выразившейся въ повѣсти „О построеніи варяжской божницы“, съ небесной карой въ развязкѣ) нѣмецкой церкви среди Новгорода и русской на „готскомъ берегу“, украсила храмы изящными образами и рѣзными вратами западной работы и открыла возможность обмѣна мыслей между племенами. Здѣсь неудивительно встрѣтить слѣды живого общенія съ Западомъ. У грамотеевъ или, по раннему новгородскому выраженію, „философовъ“, устраивавшихъ публичныя состязанія и пренія о вѣрѣ, у стригольниковъ, въ ученіи которыхъ Тихонравовъ нашелъ отголоски исповѣданія современныхъ имъ нѣмецкихъ „христовыхъ братьевъ“, и у позднѣйшихъ новгородскихъ сектантовъ замѣтно вліяніе западнаго раціонализма. Томимые вопросами и сомнѣніями, они нерѣдко уходили за рубежъ, въ Ливонію, и оттуда заносили послѣднія слова нѣмецкаго религіознаго движенія. Но и въ центрѣ русской самобытности рано сказывается тяготѣніе къ новой культурѣ. Съ той поры, какъ старыя сношенія съ Византіей, ставшей рабою мусульманъ, стали немыслимы, рано или поздно долженъ былъ обозначиться новый путь для культурныхъ заимствованій. Пусть вначалѣ они будутъ прикрыты старымъ византійскимъ флагомъ, и Москва

---

[1]) Опыты по исторіи христіанской легенды, Александра Веселовскаго, глава VI.

[2]) „Корделія-Замарашка“, литературно-критич. отрывокъ К. В., Вѣстн. Европы, 1884. XI. См. также статью „Два малорусскихъ фабло и ихъ источники“, Вѣстн. Евр. 1887, VII.

увидитъ въ своей средѣ итальянскихъ зодчихъ въ свитѣ греческой царевны, все-же флорентинскія башни и campanili возносятъ вскорѣ свои главы надъ безпорядочнымъ скопищемъ избушекъ столичнаго града. Свѣтъ и красота, земная, яркая красота, проникаютъ въ заботливо охраняемое церковное искусство, пробуждая самостоятельную фантазію въ иконописцѣ, привыкшемъ къ безстрастной изможденности древнихъ ликовъ, или ставя передъ нимъ прекрасные итальянскіе образцы вмѣсто рутины старыхъ „подлинниковъ"; со временемъ Стоглаву придется строго запрещать это пагубное отступленіе отъ правовѣрія. Но все-же Сильвестръ *заказывалъ* псковскимъ живописцамъ—Останѣ и Якушкѣ—копіи съ картинъ Чимабуэ и Перуджино... Тотъ-же свѣтъ проникъ и въ переводную повѣсть, единственную представительницу „изящной словесности". На смѣну византійско-восточной повѣсти съ ея притчами, аскетическими героями, баснословіемъ и богатырствомъ, начиная съ XVI вѣка къ намъ проникаетъ сначала окольными и дальними путями (черезъ южныхъ славянъ,—Далмацію, Сербію), потомъ при посредничествѣ ревностной передатчицы всего западнаго, Польши, переводная повѣсть новой Европы во всѣхъ оттѣнкахъ и развѣтвленіяхъ. „Сербская Александрія" (обработка западной вѣтви сказаній объ Александрѣ Македонскомъ) и „Повѣсть объ индійскомъ царствѣ", варіація на любимую на Западѣ тему о баснословной, благочестивой, сіяющей довольствомъ и счастьемъ странѣ пресвитера Іоанна, скрытой въ глубинѣ Азіи, являются во главѣ этого движенія. Затѣмъ идетъ рядъ юго-славянскихъ переводовъ или, какъ ихъ предлагаютъ назвать, „славяно-романскихъ повѣстей" [1],—„Троянскія дѣянія", „Тристанъ и Изольда", „Бова", „Аттила". Героизмъ и боевая отвага отступаютъ передъ любовью, страстью, культомъ красоты; тамъ, гдѣ сложился отталкивающій образъ „злой жены", какъ сосуда дьявольскаго, и заслонилъ собой все идеальное въ женскомъ характерѣ, начинается возрожденіе, реабилитація женщины. „Елена Прекрасная" очаровываетъ боговъ

[1]) Къ исторіи романа и повѣсти, Александра Веселовскаго. Записки Акад. Наукъ, томъ II, 1888.

и героевъ, и изъ-за нея гибнутъ народы и славные мужи; Тристанъ (или Трыщанъ по правописанію переводчика-бѣлорусса) и Изольда, вкусивъ волшебнаго любовнаго напитка, „почали гледѣти одинъ на другого и не мыслили ни о комъ, только о себе“; „я тебе милую изъ серца“, говоритъ Трыщанъ и слышитъ въ отвѣтъ: „я не милую ни однос рѣчи на свѣте якъ тебе, а ни дай Богъ поки буду жива“. Съ этой минуты ихъ любовь неразрывна до самой смерти. „Нѣтъ того рыцэра, который бы поднялъ толко муки для милости, колко Трыщанъ“,—но Бова достойный его сверстникъ по несчастіямъ и опасностямъ, по силѣ и вѣрности любви. Повѣсть прививала новыя понятія о рыцарствѣ и служеніи дамѣ; мелькаютъ обветшавшіе на Западѣ, но новые для насъ образы рыцарей Круглаго Стола, обычай турнировъ („турнаевъ“), понятіе объ утонченной courtoisie, далеко оставившей за собой „вѣжество“ Добрыни Никитича, и неумѣло передаваемой словомъ „дворность“. Несмотря на трудно стирающійся французскій, бретонскій или даже итальянскій колоритъ сказанія, оно главными своими чертами глубоко входитъ въ народъ; мечъ Бовы „clarenzia“ становится мечемъ-*кладенцомъ* нашихъ сказокъ и пѣсенъ; Pulicane, рожденный „отъ пса и жены“, превращается въ Полкана, презрительное прозвище Блондои, — meretrix, стало собственнымъ именемъ (Милитриса),—и старая итальянская повѣсть (до сихъ поръ еще ходячая въ Италіи народная книжка) стала со временемъ одною изъ любимѣйшихъ русскихъ сказокъ.

Первыя путешествія русскихъ людей на Западъ, относящіяся къ тому-же времени, полны удивленія при видѣ далеко подвинувшейся впередъ культуры. Суздальцевъ Симеона и Авраамія, сопровождавшихъ митрополита Исидора на флорентинскій соборъ, не возмутила свободнымъ отношеніемъ къ святынѣ, а сильно заинтересовала драма Feo Belcari о Благовѣщеніи, исполненная въ монастырѣ св. Марка во Флоренціи; въ ихъ разсказѣ, — первомъ отчетѣ русскаго человѣка о европейскомъ театрѣ, чувствуется уже въ раннюю эпоху (1438) симпатія къ важному и полезному дѣлу. „Елико можахомъ своимъ малоуміемъ вмѣстити, написахомъ, говоѳилъ восхищенный очевидецъ, иного-же не мощно исписати,

зане пречюдно есть отнюдь и несказанно“.[1]) Италія временъ Возрожденія охватила пріѣзжихъ сѣверянъ своей красотой, свѣтомъ и умственнымъ возбужденіемъ, оставивъ далеко позади первыя ихъ впечатлѣнія, нѣмецкую зажиточность и домовитость, чудеса Альпъ и снѣговыхъ вершинъ. Но полъвѣка спустя та же Италія уже выслала къ намъ въ слѣдъ за полу-итальянкой, родственницей герцога Феррарскаго, Софьей Палеологъ, цѣлую группу своихъ художниковъ и техниковъ, Аристотеля Фіоравенти, Алевиза, Марка „Фрязина“, съ его товарищами, Иваномъ и Петромъ, украсившихъ Москву и окрестность зданіями и храмами въ національномъ своемъ стилѣ. Еще нѣсколько десятилѣтій, и Италія дала намъ одного изъ пропагандистовъ своего Возрожденія.

Пусть суровая проповѣдь Савонаролы отрезвила его отъ юныхъ грезъ объ античномъ мірѣ,—Максимъ Грекъ навсегда сохранилъ любовь къ знанію, стремленія просвѣтителя и реформатора, способнаго пробуждать массы. Таково именно его значеніе, несмотря на спеціально-греческія симпатіи, политико-религіозные планы и на своеобразныя вспышки консерватизма. Съ живыми воспоминаніями нетолько объ изученіи Виргилія, Аристофана, Тацита, но и о своихъ личныхъ связяхъ съ такими новыми людьми, какъ поэтъ Анджело Полиціано или первопечатникъ Альдо Мануччи (образцы чьихъ изящныхъ изданій онъ привезъ съ собой въ Москву), съ вкусами и привычками современныхъ гуманистовъ, съ сочувствіемъ свободѣ и доступности высшаго образованія во Франціи (Курбскій, близкій къ Максиму, утверждаетъ, что онъ самъ воспользовался ея благами), съ ликованіемъ по поводу великихъ географическихъ открытій и другихъ научныхъ побѣдъ новаго времени, приходитъ онъ къ намъ. Его пропаганда, слѣдившая въ сотняхъ произведеній за злобой дня, будила умы горячностью просвѣтительнаго увлеченія. То она подвинетъ на созывъ собора, то пристыдитъ невѣжествомъ и покажетъ преимущества образованія на западѣ, то упрочитъ такое великое дѣло, какъ вве-

---

[1]) Андрей Поповъ. Обзоръ древнерусскихъ полемическихъ сочин. противъ латинянъ, 400—406.

деніе типографскаго искусства,—одинъ изъ важнѣйшихъ результатовъ западнаго вліянія на Русь XVI вѣка, осуществленный, благодаря техническому мастерству учителей-итальянцевъ и идеальному порыву учениковъ-первопечатниковъ. Къ Максиму сходится кружокъ послѣдователей и единомышленниковъ, и онъ передаетъ имъ свои взгляды; нечего бояться обновленія,—„нельзя только мѣнять заповѣдей, обычаи же царскіе и земскіе перемѣнять слѣдуетъ, какъ лучше государству". Онъ совѣтовалъ поощрять иностранцевъ, ссылался на „общій обычай всѣмъ человѣкомъ тщатися поити, идѣ-же слышитъ кождо живущее въ немъ художество словесно, или хитрость житейску въ чести мнозѣ быти". Среди полемическихъ схватокъ и набѣговъ, направленныхъ то на астрологовъ, то на католическихъ и протестантскихъ миссіонеровъ, то на сектантовъ, то на несмѣтно богатѣющее монашество, выдвигаются его смѣлыя обличенія соціальныхъ пороковъ, подкрѣпленныя сравненіемъ съ бытомъ польскимъ и нѣмецкимъ, подчиненнымъ не произволу, а твердой законности. Руководителямъ монастырской наживы онъ говорилъ о своемъ незабвенномъ Савонаролѣ, невѣждъ корилъ примѣромъ всенародной и безплатной высшей школы во Франціи, державѣ великой и преславной, богатой всякими благами, изъ коихъ первое и высшее благоученіе богословское и философское, ради котораго стекаются въ „Паризію" всѣ желающіе словесныхъ художествъ. Отвѣтомъ были доносы и клеветы, попытка избавиться отъ вольнодумца въ угарной монастырской келіи и троекратная ссылка. Но зароненныя мысли не пропали. Все шире развертывался во всемъ своемъ возбужденіи и разнообразіи шестнадцатый вѣкъ, пора перелома и для русской жизни, и для запада Европы, — пора Домостроя и первой типографіи, Грознаго и Курбскаго, митрополита Макарія и рьяныхъ сектантовъ, національной исключительности и льготъ англичанамъ и нѣмцамъ.

Среди исканія новыхъ путей и постановки запросовъ, выдвинутыхъ самою жизнью, слѣды вліянія Европы то и дѣло сказываются; даже въ наивномъ увлеченіи астрологической литературой, альманахами и магически-гадательными книгами, увлеченіи, которымъ такъ легко попрекать нашъ XVI вѣкъ,

проявляется ищущій себѣ исхода интересъ къ природѣ. Одинъ изъ главныхъ признаковъ тревоги, возбужденной вторженіемъ новыхъ идей, Домострой, тщетно попытавшійся разукрасить наперекоръ имъ незыблемую дѣдовскую старину, выставленъ былъ старымъ поколѣніемъ охранителей, какъ противоядіе и панацея,— но и самъ онъ не сталъ ли вполнѣ понятенъ и объяснимъ лишь съ тѣхъ поръ, какъ его сличили съ многочисленными западными Домостроями (Reggimento delle donne, Dottrina dello schiavo di Bari, Menagier de Paris и т. д.), которые хотя и отражали въ себѣ разнородные культурные элементы, но всегда выдвигались противниками улучшеній и свободы въ пору перелома?... Жить по „Домострою", задыхаясь въ спертомъ воздухѣ кельи, не могла ни вся народная масса, ни высшіе ея слои; онъ остался тоскливымъ призывомъ назадъ, въ потемки прошлаго, способнымъ подѣйствовать на читателя-аскета, но уже не властнымъ надъ умами, почуявшими пробужденіе. Откуда набрался своего „вольнодумства" дьякъ Грознаго Висковатовъ, гдѣ научились любить стройность природы псковскій намѣстникъ Мисюрь Мунехинъ и бояринъ Ѳедоръ Карповъ, споривщій даже съ Максимомъ Грекомъ, обороняя отъ него естествознаніе; кто внушилъ царскому живописцу Семену Ушакову и его другу „изографу" Іосифу благоговѣніе къ западной живописи; кто побѣдилъ недовѣрчивость Курбскаго къ европеизму и засадилъ строптиваго эмигранта за книги, „науки грамматическія, діалектическія и прочія", за латинскій языкъ, Аристотеля и т. д., для того, чтобъ онъ могъ не отстать отъ своихъ противниковъ-латинянъ въ учености; кто указалъ путь за рубежъ товарищу Курбскаго, Оболенскому, образовавшемуся въ краковской академіи, и затѣмъ для „усовершенствованія въ наукахъ" съѣздившему въ Италію,—или родственнику Мих. Лыкова, „юношѣ зѣло прекрасному", который „былъ посланъ за море въ Ерманію, и тамъ навыкъ добрѣ алеманскому языку и писанію, бо тамъ пребывалъ не мало лѣтъ, и объѣздилъ всю нѣмецкую землю", и впослѣдствіи былъ казненъ Грознымъ [1])—или сектантамъ Ѳедосію Косому и Игнатію, перешедшимъ даже въ протестантизмъ, безполезно было бы спрашивать.

[1]) Сказанія князя Курбскаго, изд. 3-е, 1868 г., 93—4.

Иванъ Грозный требуетъ себѣ не послѣдняго мѣста въ ряду этихъ сторонниковъ сближенія съ западомъ. Его англоманство—одна изъ оригинальнѣйшихъ особенностей этой сложной натуры. Съ той поры, когда, посланный еще королемъ Эдуардомъ VI, явился въ Бѣломъ морѣ съ своими кораблями Ченслеръ, и до послѣднихъ дней жизни царя, когда его съ болѣзненной неотвязчивостью занимала мысль о женитьбѣ на Мэри Хэстингсъ, „удѣльнаго князя дочери дѣвкѣ Марьѣ", о свиданіи съ королевой Елизаветой, а въ минуты тяжкой мнительности и о бѣгствѣ въ Англію, идетъ рядъ оживленныхъ сношеній съ этою страной. Грознаго непріятно поразила политическая правоспособность англійскихъ гражданъ, ограничивавшая власть королевы („мы чаяли того, писалъ онъ ей, что ты сама на своемъ государствѣ и сама владѣешь,—ажно у тебя мимо тебѣ люди владѣютъ, и не токмо люди, а мужики торговые") [2], но онъ видимо цѣнилъ добрыя отношенія именно съ этой страной. Донесенія Ѳедора Писемскаго [2]) не только излагали ему ходъ дѣла о сватовствѣ, но описывали Англію, ея города, нравы, обычаи, государственный порядокъ,—Лундъ (Лондонъ), Ричмондъ, Виндзоръ, Грэвзендъ, придворныя кавалькады, катанья по Темзѣ, смотры флота, танцы „дворянъ королевниныхъ" съ боярынями и дѣвицами, охоты на оленей, переговоры съ англійскими дипломатами, аудіенціи у „сестры любительной" царя. Дѣловыя посольства въ ту же страну, въ родѣ самой ранней при Грозномъ поѣздки въ Лондонъ купца Непѣи, кончались вызовомъ въ Москву художниковъ, медиковъ и другихъ свѣдущихъ людей. Съ папскимъ Римомъ, съ Антропомъ (Антверпеномъ), куда посылались агенты къ мѣстнымъ „бурмистрамъ и ратманамъ", съ Германіею, откуда еще въ дни молодости царя посланецъ его, саксонецъ Шлитте, вывезъ было цѣлый отрядъ разнообразныхъ спеціалистовъ (123 человѣка), не допущенный въ русскіе предѣлы стачкой нѣмецкихъ правительствъ, предпочитавшихъ эксплоатировать наше невѣжество, поддерживались постоянныя сношенія, въ эту раннюю пору уже предвѣщавшія петровскую политику

---

[1]) Ю. Толстой, „Россія и Англія, 1553—1593".

[2]) Напеч. въ Сборн. Рус. Истор. Общ., томъ 38, 1883.

европеизма. Сила назрѣвавшей культурной и политической необходимости влекла Ивана впередъ по этому пути, въ ливонскихъ войнахъ раскрывала ему возможность обезпечить себѣ выходъ къ морю и прорубить окно въ Европу, послѣ бѣшеныхъ оргій жестокости и произвола отрезвляла его для заботъ о внѣшней политикѣ, бесѣдъ съ послами, и передъ смертью все еще манила мечтой о европейской роли его царства. Въ турнирѣ двухъ крутыхъ и непокорныхъ натуръ,— перепискѣ Курбскаго,—сквозь ихъ старые, чисто-русскіе счеты выступаютъ черты западничества, у царя еще смутныя, въ догадкахъ и предчувствіяхъ, у эмигранта сознательныя, подкрѣпленныя усиленными занятіями подъ руководствомъ молодого ученаго „Амброжіа“ и зрѣлищемъ окружающей его культуры, „идѣже нѣкоторые человѣцы обрѣтаются не токмо въ грамматическихъ и риторскихъ, но и въ діалектическихъ и философскихъ ученіяхъ искусные“.

Тѣмъ временемъ на польско-русской окраинѣ все шире развивалась новая образованность, хоть и не чуждая схоластики, но полагавшая основы для живой литературной дѣятельности. Создававшіяся среди междуплеменнаго культурнаго состязанія, вызванныя къ жизни энергіею и выдержкой низшихъ слоевъ, мѣщанства, козачества, являясь рѣдкимъ примѣромъ русской общественной самопомощи, но для своей борьбы все же руководясь западными образцами, возникаютъ образовательные центры юго-западной Россіи, братства, [1]) школы, коллегіи, типографіи. Въ школьной тиши Кіева задолго до Ломоносова зарождается искусственное, ложноклассическое стихотворство, складывается блѣдное подобіе драмы, формируется персоналъ писателей и педагоговъ для юга и для московской Руси на цѣлыхъ два вѣка, прививается наука, свѣтская и духовная, вносящая въ кругъ понятій народа и въ его языкъ множество новыхъ знаній, фактовъ, словъ. Ближайшій прототипъ ея—польская образован-

---

[1]) Г-жа А. Ефименко въ интересной работѣ о южно-русскихъ братствахъ (*Слово*, 1880 г.) указываетъ весьма раннія и чисто національныя проявленія въ Малороссіи подобной организаціи союзовъ, но признаетъ, что развитіемъ своимъ они обязаны западному вліянію.—Объ уцѣлѣвшихъ до нашего времени братствахъ ср. статью проф. Сумцова, „Культурныя переживанія“, Кіевская Старина, 1890, VI.

ность, но позади виднѣется ея настоящая вдохновительница, европейская цивилизація и вѣковая педагогическая практика. [1]) И подъ покровомъ этой школьной учености въ русскую литературу вскорѣ входитъ оживляющая стихія. Сценическія представленія кіевскихъ бурсаковъ, разносящихъ по Украйнѣ свои пьесы, надѣляютъ насъ впервые театромъ, и послѣ сдержанности и правовѣрія первоначальнаго репертуара настаетъ пора непринужденныхъ комическихъ вставокъ мѣстнаго производства въ серьезныя пьесы, бытовыхъ шуточныхъ сценъ, предшественницъ русской комедіи. Широко развивается литература переводовъ не только ученыхъ богословскихъ трактатовъ или популярно-научныхъ книгъ въ родѣ знаменитаго Луцидарія, настоящей энциклопедіи естественныхъ наукъ и тайныхъ знаній, но и свѣтскихъ повѣстей всевозможныхъ оттѣнковъ и направленій. Починъ, сдѣланный „славяно-романскими повѣстями“ предшествовавшаго вѣка, принесъ богатые плоды, и переводная повѣсть XVII-го столѣтія окончательно производитъ переворотъ во вкусахъ и взглядахъ русскаго читателя, высвобождая наконецъ мірское начало, страсть, любовь, смѣхъ, мечты, все, что было придавлено аскетизмомъ и чопорностью, все, что Домострой считалъ болѣзнями души. Въ польско-украинскомъ нарядѣ показались къ намъ граціозная фея Мелюзина съ ея таинственнымъ превращеніемъ въ змѣйку, графъ Петръ Провансній съ его вѣрной Магелоной („Петръ—Златые ключи“), королевичъ Брунцвигъ, всюду сопровождаемый его львомъ; влюбленныя пары, храбрые рыцари, трогательныя или потрясающія сцены. За ними появились разнообразныя, поучительныя и насмѣшливыя, полу-историческія и бытовыя сцены *Римскихъ Дѣяній* (до сорока повѣстей), пересказанныя по польской выборкѣ изъ этого всесвѣтно знаменитаго сборника, способнаго и въ отдаленномъ потомствѣ вдохновлять Шекспира въ его *Лирѣ*, Лессинга въ *Натанѣ Мудромъ*, Вольтера въ *Задигѣ* [2]); горячія пререканія въ обветшавшей уже на за-

[1]) Статьи проф. Н. Петрова „О словесныхъ наукахъ и литерат. занят. въ Кіевск. Акад.“ Труды Кіевск. Д. Ак. 1866.

[2]) Первообразъ *Лира* заключается въ повѣсти объ императорѣ Ѳеодосіи, включенной и въ русскій переводъ *Римск. Дѣяній; Натана*—въ притчѣ о трехъ кольцахъ; *Задига*—въ „прикладѣ о хитрости діаволстей и яко суды Божія неиспытаны и скрыты суть“.

падѣ, по для насъ все еще новой *Повѣсти о семи мудрецахъ* между обоими полами, обогатившія вѣковѣчный споръ новыми, иногда истинно натуралистическими, подробностями; развеселый смѣхъ или каррикатурныя тѣни *Фацецій*, которыми тѣшили себя когда-то на западѣ и профессіональные остроумцы въ родѣ Эйленшпигеля, и ученые въ родѣ Поджьо Брачьолини,—французскіе *fableaux*, басни, передѣланныя изъ Эзопа,—и, наконецъ, отрывки изъ Боккачіева *Декамерона*. [1]) Вся эта разнообразная беллетристика усвоивалась южнорусской читающей публикой, передавшей со временемъ свои новые вкусы, поддержанные внушительнымъ запасомъ переводныхъ рукописей, московскому міру. Съ запада черезъ Польшу и Кіевъ шли къ нему и наука, и повѣсть, и стихи, и гармоническое церковное пѣніе въ итальянскомъ вкусѣ съ нотной линейной системой Гвитонэ д'Ареццо,—и возраставшая терпимость къ земному, мірскому началу, признаніе законности болѣе свободныхъ формъ жизни и гуманныхъ нравственныхъ воззрѣній. Смутное время съ многолѣтними соприкосновеніями русскаго и польскаго народа, боевыми и мирными, съ продолжительной польской оккупаціей, съ европейскими симпатіями Годунова и полонофильствомъ перваго самозванца, съ появленіемъ на неприкосновенной еще недавно русской почвѣ всевозможныхъ выходцевъ, – шведовъ арміи Делагарди, французовъ, нѣмцевъ, англичанъ, шотландцевъ (напр. предка Лермонтова) на царской службѣ, должно было въ конецъ подорвать прежнюю исключительность, пріучить къ сравненіямъ съ чужою жизнью и культурой, и повести къ новымъ заимствованіямъ, со временемъ уже обходящимся безъ промежуточной украинской или польской передаточной ступени.

---

[1]) Изъ Декамерона было переведено шесть новеллъ; наиболѣе выдающіяся изъ нихъ: „повѣсть утѣшная о купцѣ, который заложился съ другомъ о добродѣтели жены своея" (у Боккачьо новелла девятая 2-го дня, о генуэзскомъ купцѣ Бернабо, одинъ изъ источниковъ шекспировскаго *Цимбелина*), и новелла о Гисмондѣ и пажѣ ея отца, Гвискардѣ, вѣрныхъ любви до гроба, переработанная чуть не въ десяти итальянскихъ трагедіяхъ; затѣмъ идутъ непритязательныя и бойкія вещицы въ родѣ повѣсти „о женѣ, обольстившей мужа, якобы ввержеся въ кладезь" (которую Мольеръ обработалъ въ своей юношеской комедіи „La jalousie du barbouillé"), о Маркѣ и Шпивелетѣ (Spineloccio), о Петрѣ, женѣ его Касандрѣ и слугѣ Николаѣ (передѣлка 7-й нов. VII дня), и о женѣ, посадившей гостя въ „полбочку".

Традиціи европейской политики Грознаго развились при Годуновѣ. Связи съ Англіей стали болѣе оживленными. Наблюдательный и смѣтливый посолъ Микулинъ еще полнѣе прежнихъ донесеній описалъ нравы, бытъ и политическій строй временъ Елизаветы, занося въ свой разсказъ наряду съ лондонскими уличными и придворными сценами, турниромъ, торжественной литургіей, выѣздомъ „лордъ-мэра и алдрамановъ", яркое изображеніе „великой смуты въ людяхъ, когда городъ заперли и улицы чепми замкпули, и люди учали ходити въ сбруѣ, въ доспѣхахъ и съ пищалями", — народнаго броженія, вызваннаго раскрытіемъ заговора Эссекса, его арестомъ и казнью,[1]) — и въ его разсказѣ о гибели популярнаго вельможи, „который въ аглинской землѣ и въ иныхъ государствахъ славенъ былъ и любимъ", прежняго баловня королевы и покровителя Шекспира, сквозитъ невольное сочувствіе. Дорога въ Англію такимъ образомъ была совсѣмъ проторена, и вскорѣ туда отправилась первая партія русскихъ молодыхъ людей (Микифорко Григорьевъ, Ѳоонко Кожуховъ, Казаринко Давыдовъ, Ѳедька Костомаровъ) для изученія наукъ. Въ Любекъ поѣхала другая партія изъ пяти человѣкъ, во Францію шесть человѣкъ. Съ англійскимъ математикомъ Джономъ Ди (соединявшимъ—чего, конечно, не знали въ Москвѣ—съ своею спеціальностью великія знанія въ магіи, алхиміи и спиритизмѣ,[2]) завязаны были сношенія съ цѣлью выписать его для высшей школы, задуманной царемъ, для которой, по словамъ Бэра, вербовали ученыхъ и изъ другихъ странъ.[3]) Венеціанцу Якову Алоизію Корнелію поручено было вызывать къ царю, гдѣ найдутся, „doctores sive eruditi variis scientiis et experientiis".[4])

---

[1]) Донесеніе Микулина въ Сборн. Рус. Истор. Общ., т. 38; объ Эссексѣ стр. 337—340.

[2]) Carl Kiesewetter, John Dee, ein Spiritist des 16 Jahrhunderts, kulturgesch. Studie.

[3]) Соловьевъ указываетъ напр. на хранящееся въ Моск. Г. Архивѣ Иностр. Дѣлъ письмо Тобіи Лонціуса къ Годунову, сообщающее о предложеніи, сдѣланномъ Лонціусу какимъ то Крамеромъ вступить на царскую службу въ виду открытія „школъ и университета". Истор. Рос., т. VIII, 505. — О посылкахъ молодыхъ людей: Арсеньевъ, Исторія посылки первыхъ русск. студентовъ заграницу при Б. Годуновѣ, 1887; Пекарскій, Извѣстіе о молод. людяхъ, посланныхъ Год. въ Англію, Сборн. отдѣл. рус. яз. и слов. Академіи наукъ, I, 1867.

[4]) В. Макушевъ. Monuments historiques des slaves méridionaux.—Ciampi, Bibliogr. critica delle antiche reciproche corrispondenze dell' Italia colla Russia ec.

Смѣнившая эти сборы къ просвѣтительной дѣятельности фантастическая интермедія, разыгравшаяся при самозванцѣ подъ звуки мазурки, бряцаніе шпоръ, любезныя рѣчи, театральныя игры, и парадный церемоніалъ европейскаго дворика остались также въ памяти у людей, скучавшихъ среди родного застоя и неподвижности, и оцѣнившихъ въ переворотѣ главнымъ образомъ освобожденіе общественнаго быта. Такимъ энтузіастамъ польской культуры, какъ князь Хворостининъ, авторъ любопытныхъ воспоминаній о смутной порѣ, приходили вольнодумныя, даже пренебрежительныя ко всему родному, мысли; земляки кажутся ему „народомъ глупымъ"; ему „жить не съ кѣмъ"; онъ съ легкомысліемъ и горячностью сближался съ Лжедмитріемъ, стремясь занять выдающуюся роль, послѣ паденія его терпитъ ссылку, опалу, обыски, порывается бѣжать въ Литву или въ Римъ (что ему *совѣтуютъ* близкіе), и при новомъ режимѣ остается прежнимъ вольнодумцемъ: въ „книжкахъ своего сочиненія (какъ доносили царю) пишетъ „многія укоризны всякимъ людямъ московскаго государства", часто излагая ихъ „на виршь", т. е. стихами, „держитъ у себя много латинскихъ книгъ", царя называетъ „деспотомъ", объясняя, что это—греческое названіе властителя, [1])—но, въ память прежнихъ, особенно военныхъ заслугъ, получаетъ прощеніе и, собирая воспоминанія и наблюденія за всю свою треволненную жизнь, совѣтуетъ (въ недавно найденномъ его сочиненіи) [2]) современникамъ обратить серьезное вниманіе на поднятіе образованности и воспитаніе новыхъ поколѣній. Взгляды его и другого такого же искателя культуры, боярина Головина, „запиравшагося по цѣлымъ днямъ съ нѣмцемъ и полякомъ и читавшаго съ ними ученыя книги, [3]) служили выраженіемъ серьезной потребности, захватывавшей русское общество. Къ началу смутнаго времени въ немъ замѣтно лихорадочное безпокойство и

---

[1]) Соловьевъ, Ист. Росс., IX, 462—4. Платоновъ, Древне-русск. сказанія и повѣсти о смутномъ времени. Спб. 1888.

[2]) Изъ исторіи русск. литературы XVII вѣка. Сочиненіе о царствіи небесномъ и воспитаніи чадъ. 1893 (Памятники древней письменности). Издатель памятника, Е. В. Пѣтуховъ, убѣдительно доказываетъ принадлежность его кн. Хворостинину.

[3]) Устряловъ, Сказанія современниковъ о Дм. Самозванцѣ, II, 55.

нетерпѣніе,—когда же падетъ наконецъ стѣна, ограждающая русскихъ людей, какъ неразумныхъ малолѣтковъ, отъ цивилизованной жизни! Несмотря на суровыя мѣры противъ „отъѣздовъ“, особенно при Грозномъ, десятки недовольныхъ бѣгутъ въ Польшу, чья жизнь кажется не въ примѣръ свободнѣе. Если въ свое время, въ кружкѣ Максима Грека, Берсень Беклемишевъ предпочиталъ порядки султанской Турціи благочестивому строю московскому, то, спустя двадцать, тридцать лѣтъ, австрійскій посолъ Даніилъ Принцъ слышалъ уже *отъ многихъ* сѣтованія на то, что они ни сами съѣздить въ чужіе края, ни дѣтей туда послать не смѣютъ. [1]) Еще сорокъ лѣтъ спустя, новгородцы выдвигаютъ кандидатуру въ русскіе цари сына шведскаго короля Карла IX, Карла Филиппа, и Пожарскій поддерживаетъ его, [2]) а во время переговоровъ съ Жолкевскимъ объ устройствѣ избирательной монархіи, съ Владиславомъ на московскомъ престолѣ, однимъ изъ главныхъ условій является предоставленіе права русскимъ людямъ свободно ѣздить за границу для образовательныхъ цѣлей: „для науки вольно каждому изъ народа московскаго ѣздить въ другія государства христіанскія, кромѣ бусурманскихъ поганскихъ, и господарь отчинъ, имѣній и дворовъ у нихъ за то отнимать не будетъ“. [3])

Въ категорически выраженномъ требованіи просвѣтительной свободы слышится наконецъ протестъ истомленнаго вѣковою опекой и охраной общественнаго мнѣнія. Съ этой поры ничто уже не остановитъ успѣховъ изученія запада. Сношенія не прерываются даже и при Михаилѣ Ѳедоровичѣ, несмотря на охранительный и сдержанный тонъ его внутренней политики; снова снуютъ во всѣ концы Европы посольства, возникаютъ планы браковъ царя и великихъ княженъ съ членами иностранныхъ владѣтельныхъ семей, завязываются торговыя связи, выписываются свѣдущіе люди. Послы привозятъ иногда странныя и грозныя вѣсти; въ Англіи король сдался парламенту, и посла царя Алексѣя, Дохтурова, принимали въ одной палатѣ „бояре королевства“, въ другой „отъ всякихъ чиновъ выборные лю-

[1]) Путешествіе Принца въ Чтен. Общ. Истор. и древ., 1876.
[2]) Латкинъ, Земскіе соборы. 1885, стр. 120.
[3]) Соловьевъ, Истор. Р., VIII, 297.

ди", и бесѣдовалъ онъ не съ государемъ, а съ „рѣчникомъ" (speaker'омъ). Эти свѣдѣнія возбудили сначала гнѣвъ царя, перерывъ сношеній, — но затѣмъ, еще при Кромвелѣ, они возобновились. Оффиціально заказываемые переводы европейскихъ газетъ (курантовъ) слѣдили за злобой дня; размножившаяся литература „Космографій" сообщала (правда, наряду съ свѣдѣніями о землѣ дѣвической, т. е царствѣ амазонокъ, о Макарійскомъ островѣ или о „стеклянныхъ горахъ") описаніе всѣхъ странъ и государствъ Европы, составленное по Гергарду Меркатору, Герберштейну и другимъ источникамъ.[1]) За границей дѣлаются закупки всевозможныхъ книгъ, и Алексѣй Михайловичъ снабжаетъ напр. князя Репнина, ѣдущаго въ Польшу, цѣлымъ спискомъ справочныхъ пособій, историческихъ и географическихъ книгъ, а дома содѣйствуетъ переводу сочиненій по военному дѣлу, математикѣ и т. д. Онъ же *заказываетъ* переводъ большого собранія повѣстей, на западѣ давно устарѣвшаго, для насъ тогда еще новаго, — *Великаго зерцала*, оригинальной смѣси монашескихъ легендъ, аскетическихъ притчъ съ занимательными, романтическими сказаніями, совпадающими иногда съ повѣствованіями Боккачьо[2]). Наконецъ онъ беретъ на себя починъ въ устройствѣ свѣтскаго театра, — и это, конечно, одна изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ исторіи допетровскаго западничества. „Статейные списки" русскихъ пословъ, начиная съ тридцатыхъ годовъ XVII-го вѣка, уже знакомили съ прелестями новаго европейскаго театра. Ѳедоръ Шереметевъ и Львовъ въ Польшѣ (видѣвшіе въ 1634 году потѣху, какъ приходилъ къ Іерусалиму ассирійскаго царя воевода Алафернъ и какъ Юдиѳь спасла Іерусалимъ), Лихачевъ во Флоренціи, Потемкинъ, въ 1668 году въ Парижѣ видѣвшій самого Мольера въ „Амфитріонѣ", накопили значительный запасъ свѣдѣній о театрѣ, содержаніи и постановкѣ пьесъ (въ особенности Лихачевъ, восхищенный спектаклями при дворѣ Фердинанда Медичи), Наконецъ въ Москвѣ, въ посольскомъ англійскомъ домѣ, на

---

1) Сборникъ славянск. и русск. сочиненій и статей, внесенныхъ въ хронографы рус. редакціи. Андрея Попова, 1869.

2) О немъ см. изслѣдованіе проф. Владимірова „Великое зерцало. Изъ исторіи русск. переводной литературы XVI вѣка", Чтенія въ Общ. Ист. и Др., 1883.

Покровкѣ, былъ устроенъ первый спектакль иностранцевъ-любителей въ домѣ англійскаго посла, графа Карлейля. [1]) Подъ впечатлѣніемъ заманчивыхъ слуховъ у Алексѣя Михайловича является страстное желаніе испытать театральную иллюзію. Онъ во что бы то ни стало хочетъ имѣть свою сцену въ Москвѣ, отправляетъ въ Курляндію, Пруссію и Швецію спеціальнаго посла, полковника Николая фанъ-Стадена за актерами, и, когда посольство не удается, благодаря боязни знаменитаго въ то время въ Германіи сценическаго дѣятеля Фельтена выполнить принятое обязательство и пріѣхать въ Москву, устраиваетъ театръ изъ мѣстныхъ элементовъ. Воспріемниками нашей свѣтской драмы являются нѣмецкій пасторъ Грегори, главный двигатель дѣла, запасшійся въ Германіи книгами по театру, по всей вѣроятности, какъ недавній студентъ, участвовавшій прежде въ любительскихъ спектакляхъ, и въ Москвѣ при лютеранскомъ училищѣ устроившій первую русскую театральную школу, гдѣ вмѣстѣ съ учителемъ Юріемъ Михайловымъ онъ обучилъ шестьдесять-четырехъ подростковъ-актеровъ,—затѣмъ медикъ-дипломатъ Лаврентій Рингуберъ, [2]) полковникъ фанъ-Стаденъ, выполнившій неожиданную для боевого служаки миссію театральнаго развѣдчика, молодой докторъ Блументростъ, исполнитель главной женской роли на первомъ спектаклѣ. И съ этого спектакля (17 октября 1672 г., когда въ Преображенскомъ исполнено было „Артаксерксово дѣйство"), устанавливается на цѣлое столѣтіе характеристическое вліяніе нѣмецкаго, и, при его посредствѣ, общеевропейскаго театра на русскую. сцену [3]) Оно помогло намъ рано освободиться отъ преобладанія мертворожденной школьной драмы и по-

---

[1]) О немъ см. книгу Пирлинга: Saxe et Moscou. Un médecin diplomate. Laurent Rinhuber. 1893.

[2]) La relation de trois ambassades de msgr le comte de Carlisle, nouv. éd. revue et annot. par le pr. Aug. Galitzin, p. 76.

[3]) Очеркъ этого вліянія сдѣланъ въ моей книгѣ „Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater", Prag, 1876. Подробности о раннемъ періодѣ исторіи нашего театрѣ—въ книгѣ „Die evangelische Ecclesia militans in Moscau vor zwei Jahrhunderten, Berlin, 1865, въ брошюрѣ Н. С. Тихонравова „Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра", въ Исторіи рус. театра", П. Морозова, въ „Geschichte der evangel. Gemeinde in Moskau, пастора Фехнера, ч. I. и въ книгѣ проф. Д. В. Цвѣтаева „Протестантство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованія, 1890.

знакомило съ занимательнымъ для своего времени репертуаромъ странствовавшихъ по центральной Европѣ „англійскихъ комедіантовъ“; [1]) въ свободномъ переложеніи трагедіи Христофора Марло „Тамерланъ“ [2]) оно дало образецъ героической драмы шекспировскаго пошиба, а въ пьесѣ о Юдиѳи провело передъ зрителемъ сложный рядъ драматическихъ настроеній, отъ паѳоса Юдиѳи до разудалыхъ лагерныхъ нравовъ во вкусѣ „Wallensteins Lager“. Первый свободно раздавшійся на московской сценѣ смѣхъ исходитъ отъ комическихъ дѣйствующихъ лицъ иноземнаго происхожденія, удерживавшихъ часто у насъ свои домашнія клички (ихъ звали Пикельгерингомъ, Тэлпелемъ и т. п.); первыя *аріи*, вставленныя въ пьесы и пріучившія зрителя къ восхваленію любви и земныхъ радостей, были взяты изъ нѣмецкихъ Singspiele; [3]) подобіе балета, видѣнное на придворной сценѣ Рейтенфельсомъ и шедшее вразрѣзъ съ старымъ взглядомъ на пляску, какъ на потѣху бѣсовскую, было заимствовано изъ саксонской придворной пьесы объ Орфеѣ, передѣланной въ свою очередь изъ *Orfeo* итальянца Ринуччини. [4]) Наивный, дѣтскій восторгъ Алексѣя Михайловича, щедрыя награды исполнителямъ,—даже пьесѣ, которую приказано было роскошно переплести,—четыре года

---

1) Разысканія о дѣятельности этихъ популизаторовъ англійской драмы на континентѣ показали, что они не разъ приближались къ предѣламъ русскаго міра; въ Польшѣ они бывали даже на королевской службѣ, напр. въ 1617 году. Англійскія имена двухъ изъ выписныхъ актеровъ первой петровской труппы очевидно принадлежатъ отсталымъ членамъ какого-нибудь изъ кочевыхъ товарищестъ. Кстати будетъ указать любопытную подробность. Покровитель англійскихъ актеровъ въ Германіи 17 вѣка ландграфъ Морицъ Гессенскій устроилъ однажды въ Шмалькальденѣ спектакль на шести языкахъ, въ томъ числѣ на славянскомъ (slavonisch). Deutsche Rundschau, 1886, VIII.

2) Между русскимъ „Темиръ-Аксаковымъ дѣйствомъ“ и пьесой Марло есть сходство лишь въ главныхъ чертахъ; нѣмецкій переводчикъ безцеремонно сократилъ оригиналъ. Подлинникъ этой нѣмецкой передѣлки утраченъ и неизвѣстенъ даже въ Германіи,—такъ какъ, по мнѣнію спеціалистовъ, источникомъ пьесъ о Тамерланѣ, нерѣдкихъ въ Германіи прошлаго вѣка, была гамбургская опера начала столѣтія. W. Creizenach, Die Lustspiele der engl. Comödianten, стр. XXXIII.

3) За столѣтіе передъ тѣмъ въ Азбуковникахъ слово *мусикія* объяснялось такимъ образомъ: „книжка, въ ней пишетъ пѣсни и кощуны бѣсовскія, ихъ же латины припѣваютъ къ мусикійскимъ органомъ согласію“.

4) Съ легендой объ Орфеѣ русскій читатель могъ раньше познакомиться въ переводномъ хронографѣ, „писанномъ отъ римскіе кроники философомъ римскимъ Кондратомъ Ликостеномъ итальянцемъ“ (Wolfhart'омъ), гдѣ одна изъ главъ говорила объ „Арфеусѣ игрецѣ“.

безостановочнаго развитія театральныхъ зрѣлищъ, вплоть до смерти ихъ покровителя, все это—характеристическіе признаки новаго времени. За драмою и театромъ стали прививаться къ московскому быту XVII вѣка свѣтская поэзія и наука, сначала тѣсно соединенныя одною педагогическою системой. Если въ серединѣ XVI вѣка, по словамъ Коллинса, духовенству удалось добиться закрытія единственнаго учебнаго заведенія въ Москвѣ, гдѣ изучался между прочимъ латинскій языкъ, то столѣтіе спустя пришлось не только стерпѣть, что въ той же Москвѣ, на польскій образецъ, основалась академія, но дѣлать видъ, что этотъ разсадникъ европейской учености приходится по сердцу, — и цѣлыя поколѣнія южно-русскихъ ученыхъ, приходившія на сѣверъ просвѣщать и терпѣть гоненія отъ туземныхъ обскурантовъ за свое просвѣтительство, перенесли въ московскую среду весь запасъ научныхъ знаній, краснорѣчія, ложноклассическаго стихотворства, драматургическихъ упражненій, которымъ они располагали, всю свою начитанность въ западной поэзіи, прорывающуюся внезапно какою-нибудь цитатой изъ Торквато Тассо и другихъ поэтовъ. Тамъ, гдѣ еще недавно на мнѣнія, сколько нибудь независимыя и потому казавшіяся еретическими, умѣли отвѣчать только запрещеніями и проклятіями, гдѣ какъ огня боялись излишняго чтенія, потому что слабый человѣкъ можетъ легко зачитаться и лишиться разума, [1]) нарождается полемика, опирающаяся на книжные авторитеты; тамъ, гдѣ пріобрѣтенный уже культурный лоскъ все еще исключалъ такую праздную забаву, какъ пользованіе ритмическими свойствами языка, Симеонъ Полоцкій своими „метрами", элегіями, одами, далъ право гражданства поэзіи, ставъ на тотъ путь, который отъ него, черезъ Прокоповича, ведетъ къ Кантемиру и Ломоносову, и черезъ лириковъ екатерининской поры къ Пушкину и Лермонтову. А возлѣ не только оживлялась переводная повѣсть, но создалось правдивое изображеніе русской дѣйствительности въ повѣстяхъ туземныхъ, къ сожалѣнію, аноним-

[1]) Въ дни Курбскаго по монастырямъ предостерегали отъ чтенія „книгъ многихъ", указывая на то, что „кто ума изступилъ, а онсица въ книгахъ зашелся, а онсица въ ересь впалъ". „И аще кому прилучится недугъ, отъ него же человѣкъ естественнаго смысла испадетъ, тоже прельщающе, глаголютъ: зашелся есть въ книгахъ" (посланіе старца Артемія).

ныхъ мастеровъ. Если старыя литературныя традиціи могли выставить печальный образъ удалого молодца, преслѣдуемаго Горемъ-Злосчастіемъ вплоть до монастырскихъ воротъ,—то, сравнительно, была уже шагомъ впередъ мысль лишить бѣса-искусителя его традиціоннаго наряда, съ рогами и копытами, заставить его облечься въ одежду купеческаго сынка и, подобно Мефистофелю, слѣдовать всюду за страстнымъ и скучающимъ Саввою Грудцынымъ, помогая ему и въ безумствахъ любви, и въ безконечныхъ похожденіяхъ по русскимъ городамъ и весямъ, и въ обученіи ратному дѣлу у нѣмца-инструктора, выставленнаго человѣкомъ гуманнымъ, и въ смѣлыхъ военныхъ подвигахъ во время смоленской осады. Но послѣ этой доморощенной варіаціи на всесвѣтную, странствующую тему о договорѣ человѣка съ дьяволомъ, [1]) новая повѣсть второй половины вѣка уже рисовала живой типъ сутяги и ловкаго проходимца Фрола Скобѣева, никогда не унывающаго, одареннаго юморомъ, неистощимой изобрѣтательностью, талантомъ настоящаго лицедѣя-комика, благодаря этимъ свойствамъ прокладывающаго себѣ путь къ богатству и почету въ благочинной средѣ дряхлаго барства. Въ реализмѣ этихъ изображеній, въ бойкости сатиры слышится вліяніе непринужденности, привитой чтеніемъ шутливыхъ западныхъ повѣстей, создавшихъ въ Германіи даже особый оттѣнокъ такъ называемыхъ *Schelmen-Romane*. [2]) Торжествующій плутъ, одураченная и покоренная имъ добродѣтель,—сколько смѣлости, грустной ироніи и „натурализма“ въ такомъ изображеніи настоящей, неподкрашенной жизни, за два вѣка предвѣщающемъ Чичикова!

Но добытыхъ успѣховъ было уже недостаточно. Вмѣстѣ съ оживленіемъ литературы и науки поднималась необходимость оживленія и преобразованія общественности. Не чувствуя себя въ силахъ терпѣливо выжидать постепеннаго хода улучшеній,

---

[1]) Соприкасающаяся съ нею тема совѣщаній служителей сатаны о лучшихъ способахъ губить людей также обработана была въ переведенномъ очевидно съ нѣмецкаго въ концѣ 17 вѣка „Сужденіи дьявола противъ рода человѣческаго“, издан. проф. Кирпичниковымъ въ „Памятн. древн. письм.“, 1894 г.

[2]) Въ одной изъ самыхъ бойкихъ сценъ „Скобѣева“,—сценѣ притворной болѣзни его жены, — есть отголоски странствующаго сказанія, легшаго, между прочимъ, въ основу старофранцузскаго фарса о Патеденѣ, такомъ же пронырѣ и сутягѣ, какъ Скобѣевъ.

молодежь рѣшалась покидать навсегда отечество, ища лучшаго строя жизни. Правительство Михаила Ѳедоровича тщетно вызывало „русскихъ студентовъ“, посланныхъ Борисомъ Годуновымъ въ Англію, вернуться на родину; изъ доставленныхъ свѣдѣній видно, что они обжились въ англійскомъ обществѣ: одинъ сталъ пасторомъ, другой уѣхалъ служить въ Остъ-Индію и т. д. За ними слѣдуютъ новые эмигранты. Воспитанный поляками въ Псковѣ, владѣвшій нѣмецкимъ и латинскимъ языкомъ и математикой, бѣжитъ въ Германію, потомъ во Францію, гдѣ и поселяется, молодой Ординъ-Нащокинъ, и Алексѣй Михайловичъ находитъ возможнымъ (съ трудомъ преодолѣвая, повидимому, гнѣвъ) утѣшать опечаленнаго отца, напоминая ему о правахъ молодости, отдающейся увлеченіямъ и исканію счастья. Въ припадкѣ меланхоліи и боязни царскаго гнѣва кончаетъ съ собой спутникъ Олеарія, Романчиковъ, совсѣмъ имъ плѣненный, перенявшій его дивныя знанія и неспособный послѣ этого подглядывать за нимъ и доносить на него. На западъ уходитъ отъ несправедливости, произвола и тьмы Котошихинъ и въ шведскомъ своемъ убѣжищѣ нетолько собирается съ мыслями, чтобъ набросать обличительную картину московскихъ порядковъ, но изъ зауряднаго московскаго дьяка (которому судьба, казалось, опредѣлила „посѣдѣть въ приказахъ“) становится искреннимъ приверженцемъ европейскихъ порядковъ,—и эмигрантъ Котошихинъ, перейдя въ Стокгольмѣ въ протестантство, изумилъ въ предсмертной бесѣдѣ пастора широтою своего развитія.

Встрѣчное движеніе съ запада на Русь тѣмъ временемъ все усиливалось. Оно привело къ намъ такого чуткаго къ народности наблюдателя, какъ баккалавръ Оксфордскаго университета Ричардъ Джемсъ, записавшій изъ устъ пѣвцовъ только что возникшія пѣсни о смутномъ времени, и такого многосторонне образованнаго путешественника и тонкаго наблюдателя, какъ голштинецъ Эленшлегеръ, во вкусѣ вѣка передѣлавшій свое имя въ Олеарія, дважды внимательно изучавшій страну, дѣлясь своими замѣчаніями, догадками и планами съ мѣстными вліятельными людьми, обставляя свое странствіе всѣмъ аппаратомъ измѣреній, рисунковъ, коллекцій, какого требуютъ современные намъ путешественники. Онъ растол-

ковывалъ туземцамъ выгоды и важность ихъ естественныхъ богатствъ, ихъ торговыхъ и политическихъ связей. Задержать такого человѣка надолго въ Москвѣ, пользоваться его знаніями и чудесными инструментами (въ особенности астролябіей, плѣнившей царя), показалось необыкновенно желательнымъ и привело къ переговорамъ и зазываніямъ: „вѣдомо намъ учинилось, что ты гораздо наученъ и навыченъ астрономіи и географусъ, небеснаго бѣгу и землемѣрію, и инымъ многимъ подобнымъ мастерствамъ и мудростямъ". Въ лицѣ Олеарія и его спутника, Павла Флеминга, европейская наука и литература новаго типа выслали къ намъ впервые своихъ представителей. Вернувшись на родину, Олеарій сталъ однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ просвѣтительнаго „Плодоноснаго Общества", Fruchtbringende Gesellschaft, и, какъ образцовый стилистъ, до сихъ поръ цѣнится историками нѣмецкой литературы. Еще важнѣе литературное значеніе одного изъ даровитѣйшихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ XVII вѣка Флеминга, но къ русской жизни онъ отнесся какъ поэтъ, писалъ сонеты къ Москвѣ, увѣряя, что „видъ ея напоминаетъ ему красавицу, полную совершенствъ", или находилъ, что „счастливая простота и любезная невинность, оставивъ Германію, переселились въ землю русскую", пріютъ „добродѣтелей Астреина вѣка. [1]) Но, уступая имъ, быть можетъ, въ изяществѣ развитія, ближе подошелъ къ миссіи просвѣтителя и проповѣдника реформы Юрій Крижаничъ, — это новое, улучшенное изданіе Максима Грека, безъ его эллинскихъ симпатій и охранительныхъ оговорокъ, но съ широкими политическими планами и связной программой преобразованій. При всѣхъ его панславистскихъ увлеченіяхъ и постоянномъ ропотѣ на могущество „нѣмцевъ", онъ былъ слишкомъ западнымъ человѣкомъ, воспитанникомъ болонскихъ и римскихъ ученыхъ, чтобъ мириться съ русской дѣйствительностью и не совѣтовать разумныхъ и толковыхъ заимствованій. Сначала только агентъ Рима въ Бѣлоруссіи, занятый агитаціей въ

---

[1]) Сочиненія Флеминга изд. Лаппенбергомъ, Stuttgart, 1866. — На восторженныя восхваленія имъ Россіи впервые обратилъ вниманіе еще Карамзинъ, напечат. переводъ одного стихотворенія („Вѣстн. Европы", 1803, ноябрь, с. 94—6).

пользу уніи, онъ съ годами становится сознательнымъ общественнымъ дѣятелемъ на пользу единственнаго независимаго славянскаго государства, на которое возлагаетъ освобожденіе всего славянскаго міра,—но тѣмъ требовательнѣе онъ по отношенію къ Москвѣ; вѣдь прежде освобожденія другихъ племенъ ей нужно самой освободиться отъ невѣжества, застоя и беззаконія. Даже съ заботами о церковномъ сліяніи связывались для него интересы культурные,—онъ убѣжденъ былъ въ томъ, что еслибы близость съ Польшей и Литвой могла осуществиться въ раннюю пору, она привила бы русскому народу широкое просвѣщеніе, „и русскій народъ былъ бы давно въ племенитыхъ и политичныхъ, и благороднымъ особамъ потребнихъ наукахъ избиренъ и убистренъ, а не тако грубъ и не умителенъ, ни отъ европскихъ народовъ за свою грубость тако згордьенъ, ни осмѣенъ, ни ненавиденъ“ (Толков. пророчествъ, стр. 54—55).

Когда-то, въ Венеціи, среди веселаго карнавала, въ гостинницѣ, гдѣ толпы масокъ безцеремонно потѣшались надъ неуклюжими ужимками членовъ русскаго посольства, онъ впервые почувствовалъ и симпатію, и жалость къ далекимъ соплеменникамъ и раздраженіе на итальянцевъ, издѣвавшихся надъ такимъ поправимымъ недостаткомъ, какъ отсутствіе образованія. Когда же онъ услышалъ, будто въ Москвѣ открываются „философскія школы“, [1]) онъ вторично поѣхалъ въ Россію, не только какъ церковникъ, но какъ пропагандистъ общественнаго обновленія и славянской идеи. Поднявъ знамя панславизма, онъ не хотѣлъ, однако, ставить во враждебномъ контрастѣ западную и славянскую культуру, но желалъ заступиться за право славянъ на одинаковое участіе въ дѣлахъ просвѣщенія, въ экономической дѣятельности и европейской политикѣ. Онъ краснѣлъ за русскую дѣйствительность, указывалъ Москвѣ на быстрый ростъ энергической, предпріимчивой венеціанской республики, созданной трудами смышленыхъ и самодѣятельныхъ горожанъ, и находилъ вредными монополіи и привилегіи иностранцамъ. Онъ стыдилъ русскихъ людей необразованностью („нашего народа люди суть коснаго разума

[1]) Юрій Крижаничъ. Новыя данныя изъ римскаго архива, В. Бильбасова. Рус. Стар. 1892, XI.

и неудобно сами что выдумаютъ, аще имъ ся не покажетъ... Наше людство есть лѣно и непромысльно и сами себѣ не хотятъ добра учинити, аще не будутъ нѣкако силою принужены"). Онъ училъ, что безъ „слободинъ", т. е. вольностей, жить нельзя, набросалъ фантастическій планъ народнаго собранія, въ духѣ старомосковскихъ земскихъ соборовъ, вмѣстѣ съ которымъ Алексѣй Михайловичъ будетъ обсуждать основы новаго законодательства. Онъ какъ будто уже слышитъ изъ устъ царя торжественное заявленіе намѣренія „пересмотрѣть и разсудить" законодательство другихъ королевствъ: французскаго, испанскаго, нѣмецкаго; „и коя уставы добры и кралеству нашему годны, вамъ хочемъ щедро подаровати", говоритъ будто бы Алексѣй Михайловичъ, въ дѣйствительности для своего Уложенія воспользовавшійся только греческимъ „городскимъ" законодательствомъ. Въ этихъ мечтахъ о возрожденіи русскаго народа и выступленіи его затѣмъ на міровую арену для освобожденія другихъ племенъ такъ много горячаго и искренняго, производящаго и теперь впечатлѣніе, несмотря на варварскій слогъ, въ который онѣ закутаны, что даже иные изъ стариковъ слушали въ Москвѣ Крижанича со слезами, жалѣя, что молодость ихъ прошла и нельзя уже всѣ силы отдать на великое дѣло. Такимъ его поклонникомъ былъ Морозовъ, а судя по нѣкоторымъ указаніямъ, [1]) и Ртищевъ; но эти идеи опережали вѣкъ, некстати безпокоили умы, и пятнадцать лѣтъ, проведенныхъ мечтателемъ въ Сибири, въ тяжкомъ сознаніи, что онъ „всему міру бездѣленъ, некорыстенъ и непотребенъ, ибо никто не спрашиваетъ никакого рукодѣлья, ни услуги, ни совѣта", эта до сихъ поръ не вполнѣ объясненная ссылка служила и отвѣтомъ на грезы и предостереженіемъ противъ свободнаго заявленія мнѣній.

Но, если для московскаго западничества не настала пора постановки и рѣшенія столь широкихъ вопросовъ, внѣшніе успѣхи его росли годъ отъ году. На окраинѣ Москвы, точно выселокъ Европы, съ красивыми зданіями, прудами, садами, правильными улицами, развивалась и богатѣла Нѣмецкая Слобода, и все шумнѣе жужжала и волновалась въ ней постоянно

[1]) „Толкованіе историческихъ пророчествъ", напечат. по рукописи Публич. биб. проф. М. И. Соколовымъ въ Чтен. О. Ист. и Др. 1891, II.

разраставшаяся толпа работящихъ и способныхъ выходцевъ, высматривавшихъ, гдѣ бы приложить имъ къ дѣлу свои свѣдѣнія и энергію,[1]) даровитыхъ людей въ родѣ Лефорта, Брюса, Гордона, Виніуса. Въ образѣ жизни и вкусахъ правившаго класса замѣтно было желаніе не отставать отъ европейскаго строя, видѣннаго или въ Слободѣ или въ странствіяхъ по Европѣ. Ординъ-Нащокинъ, побывавшій въ Лондонѣ съ привѣтственнымъ посольствомъ у Карла II и кромѣ того цѣнимый Алексѣемъ Михайловичемъ за знаніе „нѣмецкаго дѣла и нѣмецкихъ нравовъ",[2]) Ртищевъ, позднѣе Артемонъ Матвѣевъ, открытый и убѣжденный сторонникъ сближенія съ Европой, долго жившій во Франціи, воспитавшій сына въ европейскихъ понятіяхъ, всему своему домашнему строю сумѣвшій придать культурный тонъ,—покровитель голландцевъ Хитрово,—наконецъ Васил. Васильевичъ Голицынъ, съ удивлявшимъ даже иностранцевъ европейскимъ лоскомъ, знаніемъ языковъ, любовью къ книгамъ (въ большой библіотекѣ, конфискованной послѣ его опалы, были напр. „четыре книги о строеніи комедіи", переводы романовъ о Магелонѣ, объ Олундѣ и т. д.), съ преобразовательными стремленіями (напр. проектомъ освобожденія крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ, и введенія свободы совѣсти), горячность которыхъ привела въ восторгъ француза Невилля, предсказывавшаго великую просвѣтительную дѣятельность въ Россіи при такихъ правителяхъ, — рядъ новыхъ типовъ, предвѣщающихъ петровское время. За этими старшими и вліятельными друзьями западной культуры стояло молодое поколѣніе, нерѣдко получавшее даже воспитаніе у иноземцевъ,—такъ какъ въ концѣ столѣтія Петръ уже могъ поставить на видъ патріарху Адріану, что въ Москвѣ распространенъ обычай поручать имъ воспитаніе дѣтей.[3]) Лучшая характеристика вкусовъ этой молодежи—сцена въ теремѣ у одной изъ княженъ (всего вѣроятнѣе, не Софьи, какъ долго думали, а Натальи), гдѣ разыгранъ былъ любите-

---

[1]) Характеристика этого иноземнаго элемента въ Москвѣ сдѣлана А. Брикнеромъ, „Die Europäisierung Russlands", Gotha, 1888.

[2]) Афанас. Лавр. Ординъ-Нащокинъ, стат. В. Иконникова, Рус. Старина, 1883, октябрь.

[3]) Пекарскій. Наука и литература при Петрѣ, I, 124. Устряловъ, III, 511—12.

лями обоего пола мольеровскій „Médecin malgré lui“, переработанный великимъ комикомъ старофранцузскій фаблью о деревенскомъ знахарѣ (du vilain mire), который зашелъ къ намъ раньше пьесы Мольера и разсказанъ былъ Олеарію, какъ подлинный, бытовой московскій анекдотъ временъ Годунова [1].

При такихъ условіяхъ неудивительно, что интересъ къ западу смогъ продержаться вопреки внѣшнимъ неблагопріятнымъ условіямъ: паденію Матвѣева, повороту въ оффиціальныхъ отношеніяхъ къ иноземцамъ, нелюбви къ нимъ Өедора, наступательнымъ дѣйствіямъ духовенства. Едва миновала промежуточная, краткая пора реакціи,—и съ водвореніемъ власти Софьи и Вас. Голицына не только возобновляются всѣ преданія политики и вкусовъ Алексѣя Михайловича, но проявляется заискивающее отношеніе къ Европѣ, отъ чьихъ публицистовъ ждутъ поддержки властолюбивымъ планамъ царевны, чьимъ художникамъ заказываютъ портреты ея съ надписями, подготовляющими къ перевороту въ пользу единовластія. Тщетнымъ призывомъ къ покаянію и отреченію прозвучалъ въ концѣ столѣтія замогильный совѣтъ патріарха Іоакима царямъ-братьямъ изгнать изъ Россіи всѣхъ иностранцевъ.[2] Вездѣ, и въ обществѣ, и въ правительствѣ, подготовлялись элементы для рѣшительнаго преобразованія, —и, когда многое уже было готово, явился Петръ.

---

[1]) Vermehrte neue Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse, 1656, p. 187. Обзоръ странствій этого сказанія см. въ предисловіи Мэнара къ пьесѣ Мольера (Grands écriv. de la France, VI, 1881) и у Bédier, Les fabliaux. 1893.

[2]) Духовное завѣщаніе патріарха Іоакима напечатано въ Истор. Петра Вел., Устрялова, II, 1858, приложеніе IX.

II.

Въ старинныхъ сказаніяхъ нашего народа (особенно сѣверянъ), даже въ мѣстныхъ житіяхъ, часто повторяется мотивъ таинственнаго пришествія невѣдомыхъ людей изъ туманной дали, подплывающихъ къ русской землѣ или по морскимъ волнамъ, или по какой-нибудь изъ широкихъ русскихъ рѣкъ. Фантазія, настроенная на чудесный ладъ, привыкшая облекать въ таинственные образы всю окружающую суровую природу, создавшая свою демонологію подъ завыванья бури, стукъ дождя и давящій мракъ, не могла не облечь въ загадочность и столкновеній своихъ съ далекими чужаками. Съ тревогой и замираніемъ сердца обращалъ русскій человѣкъ свои взоры въ ту даль, которая могла вдругъ выслать къ нему своихъ диковинныхъ представителей. И дѣйствительно, по временамъ показывались они; но, вѣкъ отъ вѣка, ихъ обличье мѣнялось, и изъ сумрака вырѣзывались уже опредѣленныя, осязательныя человѣческія черты. Въ далекую старину оттуда приплывалъ богатырь, чудовищно-сильный, съ ратью нездѣшнею; оттуда-же показался потомъ на своей скалѣ Антоній Римлянинъ, занесенный морскимъ теченіемъ въ благочестивую русскую землю; оттуда стали приходить къ новгородцамъ ихъ иностранные гости, занося съ собой стремленія къ религіозному свободомыслію, оставляя зародыши раннихъ русскихъ сектъ; оттуда прикочевали съ своимъ станкомъ первые учители печатнаго дѣла, и оттуда-же занесли свой энтузіазмъ, свою страстную, энергическую пропаганду такія необычныя личности, какъ Максимъ Грекъ и Крижаничъ. Туманъ мало-по-малу расходился, даль перестала казаться зловѣщею; она начинала дѣйствовать заманчиво, привлека-

тельно; не даромъ, видѣли мы, въ нее уже уходило безвозвратно столько молодыхъ и способныхъ людей.

Въ такомъ переходномъ состояніи застали русскую жизнь петровскія преобразованія. Сразу все, что еще могло казаться страшнымъ и таинственнымъ, было осмотрѣно лицомъ къ лицу; дневной свѣтъ озарилъ и международныя отношенія и разницу культуры; съ дѣловымъ, практическимъ реализмомъ намѣтились цѣли дальнѣйшей, ускоренной работы. Она не могла не повести за собой крупныхъ неудобствъ, неровностей; переходъ отъ медленнаго движенія къ форсированному маршу не могъ обойтись безъ того; усиленная подражательность во всемъ также являлась неизбѣжнымъ послѣдствіемъ переворота. Но, если не изучать даннаго явленія исключительно въ его русской обстановкѣ, а поискать аналогіи въ жизни болѣе культурныхъ западныхъ народовъ, то самый фактъ утратитъ въ значительной степени тотъ безотрадный характеръ, который такъ часто ему приписываютъ. Не одинъ только русскій народъ испыталъ на своемъ вѣку пору повальной подражательности, даже порабощенія своего вкуса и образа мыслей чужимъ образцамъ; не въ одной лишь Россіи приходилось сѣтовать на разверзшуюся пропасть, отдѣлившую образованныя сословія отъ народа, и не на одного Петра падаетъ грѣхъ, которымъ его готовы при каждомъ случаѣ попрекнуть наши литературные старовѣры. Все это испытали раньше насъ другія страны, съ тою разницей, что далеко не всюду двигательной силой было глубокое увлеченіе знаніемъ. Англія въ концѣ семнадцатаго вѣка пережила такой же кризисъ, тѣмъ болѣе поразительный, что позади были не слабые зачатки словесности, но величавый періодъ Шекспира и Мильтона. Реставрація Стюартовъ принесла съ собой усиленную галломанію, которая внѣдрялась по приказу свыше. Карлъ II, вынесшій обаятельныя воспоминанія изъ своего невольнаго житья во Франціи, при дворѣ Людовика XIV, навязывалъ странѣ французскій вкусъ во всемъ: въ обществѣ рѣдко слышалась тогда англійская рѣчь; [1]) вскорѣ лирики

[1]) Драйденъ выводитъ комическую свѣтскую болтовню своего времени, основанную на „смѣшеніи языковъ", въ комедіи Marriage à la mode. По словамъ Уичерли, говорить на хорошемъ англійскомъ языкѣ было тогда признакомъ дурного воспитанія.—См. разные примѣры у Beljame, La société et les hommes de lettres au XVIII siècle, 1881.

уже списывали Буало, трагики Корнеля, комедія жила мольеровскими мыслями, романъ затѣями г-жи Скюдери. И этотъ новый классицизмъ оказался необыкновенно живучимъ, перешелъ въ середину прошлаго вѣка,—но съ теченіемъ времени всѣ скрывавшіяся въ немъ здоровыя силы сумѣли перейти отъ рабской подражательности къ сознательному усвоенію и наконецъ, къ самостоятельной работѣ; тотъ же Аддисонъ, который въ своей *Смерти Катона* является ученикомъ французскихъ трагиковъ, создалъ чисто-англійскій типъ журналистики, Де-Фо, Свифтъ. Стернъ заложили общественный романъ, и ихъ пору назвали золотымъ вѣкомъ новой англійской литературы...

Еще разительнѣе подобный же кризисъ, который пережила раньше насъ сосѣдняя и во многихъ отношеніяхъ близкая къ намъ въ старину Германія. Здѣсь повторился весьма рельефно тотъ законъ послѣдовательной передачи, который мы попытались только что характеризовать.—Тридцатилѣтняя война оставила Германію въ полномъ изнеможеніи; національное сознаніе ослабѣвало, представленіе объ общемъ отечествѣ утрачивалось, разобщенность между населеніемъ различныхъ областей усиливалась; а въ ту же пору рядомъ разгоралось во всемъ блескѣ величіе французской образованности, государственности, изящества, — и слабая, безличная нѣмецкая умственная жизнь пошла *добровольно*, не по чьему либо мощному внушенію, въ долгій плѣнъ къ французамъ.

И какой-же это былъ плѣнъ! Вслушайтесь въ тѣ жалобы, которыми разражаются рѣдкіе тогда самоотверженные патріоты, и безотрадность положенія окажется поразительною. Въ глазахъ умнаго сатирика Логау (въ его Sinngedichte) Германія являлась лакеемъ, носящимъ ливрею своего французскаго господина. Постоянныя поѣздки знати во Францію, господство моды во всемъ, пренебреженіе къ низкому и народному, изысканный слогъ чопорной литературы, преимущественно предназначенной процвѣтать или въ гостиныхъ, или въ душной атмосферѣ педантически-настроенной аудиторіи,—все это черты, какъ будто списанныя съ русской дѣйствительности восемнадцатаго вѣка, но съ еще болѣе сгущенными красками. И какъ долго идетъ борьба противъ этого

жалкаго, ограниченнаго чужебѣсія, какъ часты указанія на оторванность литературы отъ народа! Объ этомъ горевалъ Лейбницъ, высказывавшійся въ то же время за сознательное и разборчивое подражаніе, а чуть не столѣтіе спустя (1778) Гердеръ могъ снова повторить о своемъ времени почти тѣ же мысли: онъ не видитъ вокругъ себя настоящей читающей публики въ широкомъ смыслѣ слова, горюетъ о безучастности поэзіи къ народной жизни, о ея замкнутости въ тѣсномъ кругу. По мнѣнію его, все это неизбѣжно: „мы проснулись,—говорилъ онъ,—въ ту пору, когда солнце стояло вездѣ на полуднѣ, а у нѣкоторыхъ народовъ склонялось уже къ закату. Придя слишкомъ поздно, мы стали подражателями, потому что нашли множество предметовъ, достойныхъ подражанія". Это откровенно высказывалъ потомъ и одинъ изъ творцовъ самостоятельной нѣмецкой поэзіи, Гете, прямо признавая, что литература нѣмецкая образовалась въ чужеземной школѣ. И несмотря на долгій періодъ порабощенія, смѣнившагося потомъ болѣе сознательнымъ, но все же необыкновенно тѣснымъ сближеніемъ съ французскими образцами, нѣмецкая литература вышла на свѣтъ и просторъ, заявивъ свою самостоятельность, но не поступившись общечеловѣческими симпатіями.

Оскорбительно подѣйствовало на многихъ искреннихъ любителей нѣмецкаго слова разсужденіе одного изъ почитаемыхъ въ старину французскихъ борзописцевъ отца Бугура (Bouhours), на тему „Si un Allemand pouvait être un bel esprit", отвѣчавшее отрицательно на этотъ вопросъ, кстати расширяя отвѣтъ и на русскую національность, потому что „мыслитель нѣмецкій или московитскій былъ-бы уже черезчуръ страннымъ явленіемъ" (c'est une chose singulière qu'un bel esprit allemand ou moscovite). Хорошій урокъ подѣйствовалъ отрезвляющимъ образомъ; самые ревностные галломаны, въ родѣ Готтшеда, захотѣли доказать хвастливому французу несправедливость его мнѣнія. Мало-по малу закипаетъ дѣятельность въ различныхъ мелкихъ умственныхъ центрахъ Германіи; литература начинаетъ находить опору въ нарождавшемся образованномъ среднемъ сословіи; движеніе крѣпнетъ и объединяется; мѣсто такихъ благонамѣ-

ренныхъ, но мало даровитыхъ людей, какъ Готтшедъ, занимаютъ Лессинги и Гердеры, и торжество обезпечено. Кризисъ былъ пережитъ, никто не думалъ ограничиваться сидѣніемъ на берегахъ вавилонскихъ и плачемъ объ утраченной „почвѣ", но всякій дѣятельно участвовалъ въ борьбѣ школъ и направленій, которая должна была рано или поздно привести къ желанной цѣли,—и одинъ изъ новѣйшихъ историковъ французскаго вліянія въ Германіи долженъ былъ признать, что, не побывавъ во французской школѣ, „грубоватый, привыкшій вилять хвостомъ, напыщенный, педантически ученый, мелочный и церемонный нѣмецъ XVII вѣка не могъ бы превратиться въ просвѣтителя, раціоналиста, или національнаго поэта XVIII столѣтія". [1])

Мы, русскіе, окончательно *проснулись* еще позже той минуты, о которой говоритъ Гердеръ, точно также „нашли много предметовъ, достойныхъ подражанія", осуждены были на долгую разобщенность литературы съ народомъ, пока не наступили лучшія времена, пока русская дѣйствительность не получила право гражданства въ словесности, пока у лирической поэзіи, комедіи, романа, не нашлось *своихъ словъ*. Сравненіе того-же процесса у двухъ народностей показываетъ, что въ замедленіи его развязки виновата была у насъ не только порывистая воля Петра, и не роковая „оторванность отъ почвы", а бо́льшая слабость личной инпціативы, узкость и скудость общественнаго образованія, пробавлявшагося семинарской риторикой и затхлыми университетскими учебниками въ ту пору, когда въ Германіи дѣйствовалъ Кантъ или Фихте, и, наконецъ, вся сумма давящихъ вліяній внутреннихъ политическихъ обстоятельствъ, долго не выпускавшихъ литературу изъ-подъ заботливой опеки. Неутомимое, энергическое вмѣшательство Петра въ литературное движеніе, эта сила воли, способная шатать горами, были высоко полезны въ раннемъ періодѣ, когда все еще складывалось; когда-же жизнь въ полномъ ходу, и самостоятельныя стремленія къ дѣятельности сказываются повсюду, необходимъ иной образъ дѣйствій. „Самое лучшее,

---

[1]) Steinhausen. Die Anfänge d. französichen Literatur und Kultureinfl. in Deutschland, Zeitschr. für vergleich. Literaturgeschichte, 1894, 381.

что я сдѣлалъ для нѣмецкой литературы,—говорилъ другой умный человѣкъ, Фридрихъ Великій (въ брошюрѣ De la littérature allemande),—было именно то, что я предоставилъ ее самой себѣ"; и время Фридриха считается, какъ извѣстно, началомъ наиболѣе блестящей эпохи въ нѣмецкой литературѣ.

Попытавшись сдѣлать „примѣрное времяисчислительное положеніе, во сколько-бы лѣтъ, при благополучнѣйшихъ обстоятельствахъ, могла Россія сама собою, безъ самовластія Петра Великаго, дойти до того состоянія, въ какомъ она нынѣ есть" историкъ Щербатовъ [1]) приходилъ къ убѣжденію, что для этого потребовалось-бы семь поколѣній(два,чтобъ познать пользу науки, три, чтобъ преодолѣть ненависть къ чужеземцамъ и т. д.), 210 лѣтъ (вплоть до 1892 г.), и то при стеченіи благопріятныхъ обстоятельствъ. Нетерпѣніе и страстная энергія одного человѣка захотѣли придвинуть чуть не на цѣлое столѣтіе результаты естественнаго, медленнаго процесса, и на эту попытку его легла печать ускореннаго, спѣшнаго самообученія, которое шло тогда объ руку съ многоразличными государственными заботами. Невозможно поэтому прилагать къ итогамъ тогдашней образовательной дѣятельности, складывавшейся подъ западнымъ вліяніемъ, требованія стройной системы, вполнѣ *современной* во всѣхъ частностяхъ. Донельзя скудное первоначальное образованіе реформатора, случайный подборъ совѣтниковъ, вліяніе смышленаго, но совершенно неподготовленнаго къ роли вдохновителя реформъ, женевца Лефорта, умѣвшаго присовѣтовать заграничныя путешествія, но безсильнаго направить ихъ по тщательно выработанной программѣ, масса впечатлѣній, вдругъ нахлынувшихъ во время странствій по Европѣ, личныя пристрастія къ той или другой отрасли науки или литературы, сложившія у Петра извѣстный запасъ знаній и вкусовъ,—все это должно было отозваться и на его дѣлѣ. Оттого произошелъ нѣсколько смѣшанный, на первый взглядъ, составъ литературы петровскаго времени и задуманныхъ тогда реформъ. Лейбницъ встрѣчается тутъ съ Эразмомъ Роттердамскимъ; планы перваго объ учрежденіи университетовъ въ Москвѣ, Кіевѣ, Астрахани, объ основа-

---

[1]) Разныя сочиненія кн. М. М. Щербатова. М. 1860, стр. 23—28.

ніи академіи, новомъ судоустройствѣ и законодательствѣ, или проектъ англійскаго ученаго, Фрэнсиса, Ли, о заведеніи семи коллегій для поощренія наукъ, художествъ, улучшенія законовъ и нравовъ, сходятся съ заботами о переводѣ „Исторіи разоренія Трои“, Овидіевыхъ Метаморфозъ („Метаморѳосеосъ, то есть премѣненіе“), за исправленіемъ текста которыхъ долженъ былъ наблюдать синодъ; ходячій на западѣ энциклопедическій словарь Морери, сгруппировавшій добытыя къ тому времени исторіею и географіею точныя данныя, встрѣчался съ переводами старыхъ романическихъ жизнеописаній Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, героевъ лично симпатичныхъ, Петру, обличительная біографія Кромвеля — съ демонстративно-выражавшимся сочувствіемъ царя къ англійскому королю Вильгельму, водворявшему въ своей странѣ законность и свободу, или къ самоуправленію развитой, трудолюбивой Голландіи. Наконецъ, въ области театра, снова оживившагося благодаря посылкѣ за актерами въ Германію (экспедиція Яна Сплавскаго), антрепризамъ Кунста, Фюрста, московской госпитальной сценѣ, [1]) и первымъ попыткамъ народныхъ русскихъ спектаклей, пьеса соперника Мольера по обработкѣ легенды о Донъ-Жуанѣ, Девилье („Донъ Янъ“), [2]) комедія Томаса Корнеля „Le geôlier de soi même“, передѣлка трагедіи Чиконьини, мольеровскій „Амфитріонъ“, — и духовныя драмы сливались въ пеструю смѣсь.

Эти неровности не имѣютъ, однако, особаго значенія и не могутъ повліять на оцѣнку эпохи. Въ ошибкахъ и неудачахъ, которыхъ, разумѣется, сдѣлано было немало, также чувствуется общеполезная мысль, руководившая преобразователемъ. Устройство русскаго издательскаго бюро и типографіи въ Амстердамѣ, гдѣ предполагалось изъ первыхъ рукъ добывать пригодныя книги, и въ переводѣ печатать ихъ на мѣстѣ, было довольно смѣлымъ замысломъ, но порученное

[1]) Образцомъ репертуара этой бойко дѣйствовавшей сцены, гдѣ исполнителями были хирургическіе и аптекарскіе помощники подъ управленіемъ доктора Бидлоо, можетъ служить напечат. М. Н. Соколовымъ пьеса „Слава Россійская“. М. 1892.

[2]) Она, повидимому, переведена была съ польскаго, съ сокращеніями, вѣроятно, принадлежавшими польскому переводчику. Единственный уцѣлѣвшій пятый актъ напечат. въ „Русск. драмат. произв.“, Н. С. Тихонравова, II томъ.

человѣку мало развитому и недостаточно владѣвшему русскимъ языкомъ, поляку или чеху Копіевскому, и слишкомъ отдаленное отъ Россіи, оно ни къ чему не привело. Точно также было ошибкой звать къ себѣ такого спекулянта, какъ Джонъ Ло, заказывать кн. И. Щербатову переводъ его сочиненія „Considérations sur le numéraire et le commerce" [1]) и надѣяться при его помощи поправить русскіе финансы,— но въ данномъ случаѣ Петръ слѣдовалъ за европейской молвой, восхищавшейся одно время этимъ искуснымъ дѣльцомъ, тогда какъ въ амстердамской печатнѣ ему чудилось что-то въ родѣ русскаго форпоста въ Европѣ.

Важнѣе всего тотъ духъ, который внесенъ былъ тогда въ нашу образованность, то нравственное перевоспитаніе, которое подѣйствовало вскорѣ на наиболѣе податливые умы и подготовило для слѣдующей эпохи убѣжденныхъ и честныхъ дѣятелей.

Лейбницъ сумѣлъ внушить Петру, что „Провидѣніе, рѣшивъ, что наука должна обойти кругомъ весь земной шаръ, теперь перешла въ Скиѳію, и что оно избрало Петра своимъ орудіемъ, такъ какъ онъ можетъ съ одной стороны изъ Европы, съ другой изъ Азіи взять лучшее и усовершенствовать то, что сдѣлано въ обѣихъ частяхъ свѣта, избѣгая ошибокъ, вкравшихся въ Европѣ постепенно и незамѣтно", [2])—и эта просвѣтительная миссія все яснѣе раскрывалась передъ Петромъ къ концу его жизни, когда съ европейскими интересами у него связываются такія новыя заботы, какъ сближеніе съ славянами, ученыя экспедиціи и походы въ Азію. Для своей страны и для всѣхъ племенъ, на которыя она можетъ оказывать культурное вліяніе, нужно было неутомимо и энергично добывать, усваивать и перерабатывать лучшее, что давала старшая, европейская цивилизація.

Новые начала и взгляды поразятъ насъ, какъ только мы прикоснемся къ ветхимъ листамъ книгъ петровскаго времени. Чувствуешь, что чѣмъ то молодымъ, свѣжимъ, свободнымъ,

---

[1]) Джону Ло или Ивану Ляусу, какъ его у насъ называли, предлагали княжескій титулъ, двѣ тысячи крестьянскихъ дворовъ, высшій чинъ и т. д.

[2]) Отношенія Лейбница къ Россіи и Петру Великому по неизданнымъ бумагамъ Лейбница въ Ганноверской библіотекѣ, В. И. Герье, Спб. 1871 г., стр. 134.

пахнуло въ заповѣдной тиши. Старое начало неразъ беретъ верхъ, преданія самоуправства, временъ Василія или Іоанна Грознаго, всплываютъ у того, еще неопытнаго правителя, который сбирался быть преобразователемъ и освободителемъ,—и среди крутыхъ расправъ съ противниками (особенно съ стрѣльцами, въ чьихъ бунтахъ избіеніе иностранцевъ было одною изъ главныхъ цѣлей, и съ Алексѣемъ Петровичемъ, врагомъ европеизма) какъ будто замираютъ гуманныя намѣренія. Но они не только не замрутъ, а съ годами пріобрѣтутъ перевѣсъ, смягчая и нравы подданныхъ, и порывистый нравъ самого царя. Сличая идеалы съ дѣйствительностью, встрѣтимъ подъ-часъ несоотвѣтствіе и разногласіе, — но важно установить, каковы же были, однако, эти взгляды и требованія, считаемые обязательными, и въ массѣ случаевъ дѣйствительно осуществлявшіеся.

Переводы изъ нѣмецкихъ и голландскихъ юристовъ ставятъ неслыханные въ оффиціальномъ русскомъ мірѣ принципы широкой гуманности; Пуффендорфъ разъясняетъ обязанности и права личности, имѣя въ виду „человѣка и гражданина", которому свойственны неотъемлемыя „естественныя" вольности; его „Ѳеатронъ", переведенный Гавріиломъ Бужинскимъ, учитъ религіозной вѣротерпимости, свободѣ совѣсти. Полемика съ иностранными памфлетистами, въ родѣ Нейгебауэра, составленіе извѣстнаго шафировскаго разсужденія о причинахъ войны со Швеціею только для отповѣди какому то шведскому публицисту, наконецъ созданіе русской журналистики, [1]) какъ бы наивна она ни была въ первое время, пріучаютъ народное мнѣніе къ гласности. Духъ политической сатиры, подкапывавшейся тогда подъ власть многихъ западныхъ правителей, вызывалъ сочувствіе въ Петрѣ (сначала, по недоразумѣнію, онъ хотѣлъ было осудить самое намѣреніе переводить у насъ даже Ювенала, какъ писателя вреднаго, но перемѣнилъ взглядъ, когда ему объяснили великое значеніе такихъ стражей народной совѣсти); онъ съ удовольствіемъ читалъ приносимые западными журналами образцы брошюръ и памфлетовъ, пи-

---

[1]) Въ 1713 г. Петръ замышлялъ даже издавать русскую газету за границей. Пекарскій, Наука и лит., II, 313.

салъ на поляхъ юмористически - одобрительныя отмѣтки и велѣлъ переводить многія мѣста [1]). Постепенно вырабатывалось высокое понятіе о значеніи дѣятелей мысли и просвѣщенія; русскій человѣкъ за границей съ удивленіемъ останавливался передъ памятниками великихъ писателей [2]). Петръ велъ сношенія съ Лейбницомъ, какъ съ равной ему царственной величиной, склонялся съ почтеніемъ передъ Рюйшемъ, Бёргавомъ и другими голландскими и англійскими знаменитостями. Знаніе, точная наука впервые получаютъ у насъ почетное значеніе. По свидѣтельству Вебера, любимой темой бесѣдъ въ кружкѣ Петра, много разъ ставившеюся имъ на очередь, было величіе науки. Едва не установилась такая трезво-реалистическая точка зрѣнія, которая могла бы надолго отдать положительной наукѣ предпочтеніе передъ всякимъ умозрѣніемъ или художественнымъ творчествомъ.

Обширная, печатная или же сохранившаяся въ рукописяхъ, переводная литература петровскаго времени, посвященная распространенію полезныхъ и развивающихъ знаній,— живой памятникъ этого просвѣтительнаго движенія. Твердая воля главнаго вдохновителя сумѣла превратить нѣсколько десятковъ посланныхъ въ Европу за наукой россіянъ, будущихъ флотскихъ, горныхъ, военныхъ, техническихъ и др. спеціалистовъ въ трудолюбивыхъ переводчиковъ, пословъ въ редакторовъ и справщиковъ, и при помощи этого импровизованнаго отряда литературныхъ работниковъ организовать дѣло въ широкихъ размѣрахъ. Литература и театръ стояли на второмъ планѣ, но, подобно Генриху IV, забывавшему свои простые солдатскіе вкусы для того, чтобъ меценатствомъ литературѣ привить одичавшему въ раздорахъ и

---

[1]) Такъ переведены были напр. статьи: Возвращеніе Бріоша (Вriоchė, знаменитаго маріонетчика) съ куклами изъ ада для угнетенія Франціи,—Гибралтаръ и Портъ Магонъ, на торгъ вынесенные для продажи („кто больше дастъ", иронически замѣчаетъ на поляхъ Петръ),—Секретная конференція полномочныхъ министровъ на камбрейскомъ конгрессѣ о рѣшеніи важнаго дѣла, о преимуществѣ бургонскаго, рентвейну, шампанскаго и итальянскаго, — отрывокъ изъ Mércure galant (книги, называемой Меркуръ галантъ).

[2]) Князь Куракинъ, увидѣвъ въ Роттердамѣ статую Эразма, записалъ такъ свое впечатлѣніе: „при площади той сдѣланъ мужикъ, вылитый, мѣдный, съ книгой, на знакъ тому, который былъ человѣкъ гораздо ученый, и часто людей училъ". Архивъ кн. Куракина, I, 140.

войнахъ французскому обществу больше мягкости и облагороженности въ понятіяхъ и пріемахъ общественной жизни, Петръ удѣлялъ время отъ своихъ заботъ о насущныхъ, по его мнѣнію, нуждахъ для такого чуждаго лично ему дѣла, какъ развитіе театра: наравнѣ съ ассамблеями, театръ входилъ въ его планы гуманизированія нравовъ. Самъ онъ смѣялся до упаду въ Дрезденѣ на представленіи незатѣйливой арлекинады, съ потасовками и первобытно-комическими эффектами, способными удовлетворить матроса, солдата, и скучалъ въ оперѣ,—но рѣшилъ прочно привить театръ къ русской жизни и въ послѣдніе свои годы надѣялся сдѣлать это всего скорѣе при помощи актеровъ-славянъ, выписанныхъ изъ Австріи. [1])

Глубокое влеченіе его къ простотѣ жизни наложило спасительный отпечатокъ и на такой важный элементъ литературы, какъ ея слогъ. Сличая легкій, непринужденный стиль европейскихъ произведеній съ напыщеннымъ, витіеватымъ, темнымъ слогомъ русскихъ книжниковъ, онъ бился изъ всѣхъ силъ, чтобъ пріучить ихъ писать проще и „внятнѣе“. Корректурныя поправки его всегда предлагаютъ живое и мѣткое народное слово вмѣсто насильственно обрусѣлаго и ненужнаго чужого, и эта любовь къ народной рѣчи, сказавшаяся еще въ дѣтскихъ и юношескихъ его письмахъ и ученическихъ работахъ [2]), столь же замѣтно проходитъ по всей его жизни, не потерпѣвъ ущерба отъ европеизма, какъ и интересъ къ старинѣ, казалось, столь суровой къ нему въ лицѣ ея послѣднихъ приверженцевъ, — интересъ, поддержанный въ немъ любознательнымъ Брюсомъ, нетолько спеціалистомъ по математическимъ наукамъ, но историкомъ, археологомъ, собирателемъ русскихъ лѣтописей, вдохновителемъ Татищева.

Но пріучить писателей своего времени къ простотѣ было для Петра такъ же трудно, какъ отучить ихъ отъ привычки

---

1) Новыя данныя, приведенныя въ государственныхъ росписяхъ начала вѣка, напечатанныхъ П. Н. Милюковымъ въ его книгѣ „Государствен. хозяйство въ Россіи въ первой четверти XVIII столѣтія и реформы П. Вел.“, 1892, показываютъ частыя выдачи на театръ: тутъ есть вознагражденіе „русскимъ комедіантамъ“, „Арт. Фиршту за прилежное въ комедійныхъ дѣйствахъ радѣніе“. выдача „на строеніе комедіи въ Грановитой палатѣ“, и т. д.

2) Письма и бумаги имп. Петр. Великаго, томъ I, 1887.

къ лжи и лести. Ему хочется имѣть исторію своего времени, чтобъ сохранить воспоминанія о постепенномъ ростѣ преобразовательнаго дѣла (или, какъ выражались нѣкогда его неумѣренные восхвалители, о переходѣ Россіи изъ небытія въ бытіе), но нѣсколько разъ уничтожаетъ онъ написанное и передаетъ порученіе другимъ лицамъ, потому что ему нестерпимы и лакейскій духъ, и наглое искаженіе истины. Зная, что многіе изъ его помощниковъ только придаютъ себѣ изъ угодливости видъ усердныхъ ревнителей просвѣщенія, на дѣлѣ же готовы были бы вредить ему изъ всѣхъ силъ, онъ заказываетъ Ѳеофану Прокоповичу сатиру на лицемѣровъ [1]), и этимъ обнаруживаетъ небывалое у насъ уваженіе къ силѣ литературнаго слова, ожидающее дѣйствія на умы отъ него, а не отъ категорическаго приказанія, къ которому прибѣгнулъ бы правитель добраго стараго времени.

Такимъ образомъ, нетолько въ количественномъ отношеніи выигрываетъ образованность отъ совершившагося переворота, но съ усилившимся общеніемъ съ Европой живительныя струи новыхъ *идей* проникаютъ въ русскую общественность, пытаясь перевоспитать ее, подобно тому, какъ перевоспитывали онѣ богатую натуру ея передового представителя, приведя его, сначала послушнаго и всему удивляющагося подражателя, къ мечтамъ о той порѣ, когда настанетъ слава русскаго просвѣщенія.

Если отъ его центральной личности мы перенесемъ нашъ взглядъ на выдвигавшихся уже постепенно новыхъ людей, живые слѣды этого духовнаго вліянія современной поры на нихъ не замедлятъ сказаться. Для людей безвѣстныхъ, затерянныхъ въ массѣ, въ родѣ аптекарскаго помощника Тверитинова (Дмитрія Дерюжкина), или подмосковнаго крестьянина Посошкова, открывалась новая жизнь. Первоначальныя отношенія Петра къ расколу, его убѣжденіе, что „въ совѣсти воленъ Богъ“, принесли свои плоды. Тверитиновъ, увлекаясь своей религіозной, наполовину протестантской [2]) пропагандой,

[1]) Чистовичъ, Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время, стр. 125—6.

[2]) Полагаютъ, что познакомился онъ впервые съ протестантскимъ вѣроученіемъ изъ лютеранскаго катехизиса, изданнаго на русскомъ языкѣ въ Стокгольмѣ (Катихисис си есть греческое слово, а по русски имевуется крестьянское учєніе и т. д.) Петеромъ Фанселавомъ.

ставитъ свое вольнодумство подъ охрану новаго духа времени: „нынѣ у насъ на Москвѣ, слава Богу, повольно всякому, кто какую вѣру изберетъ, такую и вѣруетъ“, говорилъ онъ, и, окруженный довольно значительной группой единомышленниковъ (тутъ есть и фискалъ, и хлѣботорговецъ, и цирюльникъ, и купецъ изъ овощнаго ряда), онъ „до розыскнаго дѣла имѣлъ свой голосъ такъ смѣло, яко бы заграничный иноземецъ“ [1]). Своимъ благороднымъ отношеніемъ къ вѣротерпимости, казалось, полагавшей конецъ старой суровости къ еретикамъ, онъ требуетъ себѣ мѣста въ ряду приверженцевъ реформы; печальная развязка его дѣла показала, что онъ слишкомъ горячо повѣрилъ наступленію золотого вѣка.

Тѣмъ же бодрымъ сознаніемъ всеобщаго пробужденія силъ вѣетъ отъ сочиненій Посошкова. Самоучка, начетчикъ, еще недавно ревностный участникъ раскольничьихъ споровъ изъ-за буквы, чуть не пострадавшій въ когтяхъ Преображенскаго приказа за порицаніе первоначальныхъ петровскихъ мѣръ, онъ не только призналъ себя побѣжденнымъ величіемъ и пользой нововведеній, дающихъ всѣмъ смѣтливымъ и даровитымъ людямъ въ родѣ него возможность заявить свои мысли и способности на общее благо, но изъ строгаго критика сталъ страстнымъ поклонникомъ преобразователя. Онъ можетъ повторить иногда отсталую мысль; боясь иновѣрнаго вліянія, онъ мелочно и смѣшновато споритъ съ Лютеромъ, не оставляя его въ покоѣ („зри, Люторе!“ восклицаетъ онъ вдругъ послѣ указанія на какія нибудь русскія доблести), съ негодованіемъ относится къ экономической зависимости русскаго народа отъ иноземцевъ,—но что за увлеченіе новымъ временемъ, что за уваженіе къ знанію, и какіе планы уже роятся въ головѣ этого человѣка, скромно повторявшаго, что онъ „самый простецъ и мизирный рабичищъ!“ По его словамъ, „вся Россія яко отъ сна пробудилась“. Ему кажется недостаточнымъ образованіе, получаемое даже заурядными людьми; для деревенскаго люда онъ желалъ бы всеобщаго и обязатель-

---

[1]) Ср. Записку Леонтія Магницкаго по дѣлу Тверитинова, изд. Общ. Древней письменности, LXXX.

наго обученія, [1]) сыну своему приказываетъ въ Завѣщаніи „паче всѣхъ наукъ прилежать книжному наученію, не токмо славянскому одному, но и греческому, или латинскому, или хотя польскому, понеже и на польскомъ языцѣ много таковыхъ книгъ есть, которыя у насъ на славянскомъ языцѣ не обрѣтаются". За народной обязательной школой ему грезилось среднее образованіе, дающее молодежи возможно болѣе практическихъ свѣдѣній новые языки, математика, техническія знанія, черченіе и т. д.), а во главѣ всего народнаго просвѣщенія „академія великая всѣхъ наукъ" въ одной столицѣ и „великая патріаршая академія" въ Москвѣ, съ учителями на первое время изъ Греціи и другихъ православныхъ странъ, а если тамъ „самыхъ высокоученыхъ людей не обрящется, то и изъ люторской вѣры".

Но одна образованность не удовлетворяла Посошкова. Новѣйшая наука уже оцѣнила своеобразные взгляды на народное благосостояніе и экономическія реформы проницательнаго самоучки, наведеннаго новымъ культурнымъ движеніемъ на замыслы и догадки, въ эту раннюю пору предвѣщавшіе теоріи Адама Смита. [2]) Необходимо, по его мнѣнію, разумное переустройство всей жизни, прежде всего выработка новаго гуманнаго [3]) уложенія при участіи „разумныхъ, правдолюбныхъ и смысленыхъ людей", избранныхъ повсемѣстно,—ибо „безъ многосовѣтія и безъ вольнаго голоса сдѣлать этого никоими дѣлы невозможно". И чудилась ему въ будущемъ слава родной страны,—слава культурная. Мы должны „украшатися книжнымъ ученіемъ грамматическимъ, и риторскимъ, и фило-

[1]) „Я чаю, писалъ онъ, не худо было бы учинить, чтобы не было и въ малой деревнѣ безъ грамотнаго человѣка, и положить имъ крѣпкое опредѣленіе чтобы безотложно отдавали учить дѣтей своихъ грамоты и положить имъ срокъ года на три или четыре.

[2]) Оцѣнка его экономическихъ воззрѣній сдѣлана была впервые А. Брикнеромъ, Мнѣнія Посошкова, М. 1879.

[3]) Стоитъ перечесть главу его „Завѣщанія отеческаго къ сыну" (изд. Андр. Поповымъ, М. 1873), надписанную „о судейскомъ житіи", чтобъ увидать, какъ болѣлъ онъ сердцемъ о жестокостяхъ и несправедливостяхъ стараго суда, какъ высоко ставилъ на обязанности судьи, и какъ подходилъ уже къ требованію гарантіи праваго судопроизводства,—гласности. Эти отъ сердца написанныя страницы вполнѣ подъ стать борьбѣ Петра съ тѣми, кто „зѣло тщился всякія мины чинити подъ *фортецію правды*".

софскимъ разумомъ, *и аще сія вся въ насъ будутъ, то ни весь свѣтъ будемъ мы славны*, а и на ономъ свѣтѣ не безъ похвалы будемъ".

Научная требовательность еще сложнѣе и опредѣленнѣе у другого, несравненно болѣе образованнаго „птенца Петрова", Татищева. Изъ раннихъ культурныхъ впечатлѣній, особенно изъ житья въ Швеціи, гдѣ развилось знакомство его съ западной политической и философской литературой, Локкомъ, Гоббзомъ, Бэйлемъ, Маккіавелли, и гдѣ подъ вліяніемъ изученія важныхъ русскихъ документовъ, сберегающихся въ мѣстныхъ архивахъ, у него окрѣпла мысль посвятить себя созданію русской исторіи, унесъ онъ въ свою неутомимо дѣловую жизнь запросы и стремленія, достойныя мыслителя-европейца. Организируетъ ли онъ заводское хозяйство на Уралѣ, онъ возстановляетъ противъ себя зажиточный классъ своими заботами о малолѣтнихъ рабочихъ, объ ихъ грамотности и здоровьѣ; въ Оренбургѣ и Астрахани старается внести свѣтъ и порядокъ въ бытъ кочевниковъ; разнообразіе быта и природы русскихъ владѣній, извѣданное имъ на опытѣ, привело его къ смѣлой мысли о географическомъ описаніи Россіи по такому широкому плану, который вполнѣ осуществить можно было бы лишь въ наше время. Въ педагогическую программу, набросанную имъ въ своей Духовной для сына, вошла историческая наука, математика, знаніе законовъ, наука военная, нѣмецкій языкъ; цѣлая классификація наукъ и искусствъ, вплоть до „наукъ щегольскихъ", допущена и признана имъ.

Татищевъ искренно негодовалъ на то, что въ его время нетолько невѣжды, но и „весьма преславные мужи *дерзали* осуждать науку", и въ своемъ „Разговорѣ о пользѣ книгъ и училищъ", обстоятельно доказывая высокое значеніе знанія, онъ впервые у насъ восхвалялъ тѣхъ „мучениковъ науки", которые способны были жизнью жертвовать за нее, терпѣли преслѣдованія и гоненія; Сократъ, Платонъ, Коперникъ, Декартъ, Пуффендорфъ, многочисленныя жертвы инквизиціи, образуютъ собой внушительный списокъ „высокаго ума и науки людей, невинно оклеветанныхъ". [1]) Для русской исторической

[1]) В. Н. Татищевъ. Разговоръ о пользѣ книгъ и училищъ, изд. съ предисловіемъ Нила Попова, М. 1887. Историческіе примѣры для первыхъ 55 во-

науки было, конечно, большою честью, что родоначальникъ ея усвоилъ себѣ такіе взгляды.

Татищевъ соединялъ въ себѣ типическія черты непосредственнаго ученика Петра Великаго, и его послѣдователя и продолжателя, изъ числа тѣхъ, которые, дѣйствуя въ позднѣйшую эпоху, все же примыкаютъ къ „петровской школѣ". Понятая въ такомъ расширенномъ смыслѣ и включающая въ себя и современниковъ, и ближайшихъ потомковъ, эта школа становится гораздо внушительнѣе по своему объему и составу. Тутъ есть крестьяне, ремесленники, аристократы, духовныя лица, даже развитыя женщины, первыя представительницы призваннаго наконецъ къ разумной жизни русскаго женскаго міра: „ученію школьному не искусный" Посошковъ, важный баринъ Татищевъ, кіевскій меценатъ кн. Дмитрій Голицынъ съ группировавшимся около него академическимъ кружкомъ,—красноглаголивый Ѳеофанъ Прокоповичъ съ богатой ученой подготовкой, пріобрѣтенной въ Италіи, европейскими научными связями, и значительнымъ литературнымъ талантомъ, и рядомъ съ нимъ другъ его, малороссъ Марковичъ, дилеттантъ, увлекающійся чтеніемъ книгъ и обмѣнивающійся съ нимъ на письмѣ впечатлѣніями,—подготовленный къ своему поприщу петровскимъ временемъ Антіохъ Кантемиръ и любимая его сестра, княжна Марія, равная ему по вкусамъ и развитію, своимъ энтузіазмомъ увлекавшая его все впередъ, къ разностороннему европейскому образованію, [1]—сынъ стариннаго западника Матвѣева, Андрей, удивлявшій даже Лейбница своими свѣдѣніями; знакомый Антіоха Кантемира, малороссъ Петръ Апостолъ, сынъ миргородскаго полковника (будущаго гетмана), въ своемъ недавно найденномъ дневникѣ 1725—7 г. оставившій слѣды разнообразнаго чтенія (на трехъ языкахъ, организованнаго такъ, что у него были „всѣ фран-

просовъ, какъ доказалъ Н. Поповъ, Татищевъ бралъ изъ книги Johann Georg Walch, „Philosophisches Lexicon", 1726.

[1]) Новые матеріалы для біографіи Антіоха Кантемира, статьи В. Шимко, Журн. мин. народ. просв., 1891—92 г. Разнообразіе чтенія и знаній брата и сестры, раскрываемое перепиской, дѣйствительно замѣчательное. Изучивъ напр. итальянскій языкъ, они прочли нетолько Аріоста, Боккачьо, Боккалини, но даже Леонъ-Батиста Альберти и т. п. Антіохъ отправляетъ съ англійскимъ посломъ лордомъ Форбсомъ въ Петербургъ сестрѣ нѣсколько итальянскихъ книгъ, и получаетъ въ отвѣтъ тонкій разборъ поэмъ Боккачьо.

цузскія новости", знакомый и съ французской литературой, и съ старыми итальянцами, и съ классической словесностью [1].

Къ этимъ поборникамъ просвѣщенія примыкаетъ малоизвѣстная у насъ личность, настолько увлекшаяся образовательной пропагандой, чтобы повторить петровское дѣло въ болѣе скромной и тѣсной обстановкѣ за предѣлами Россіи, у славянъ. Это—сынъ козловскаго помѣщика, Максимъ Суворовъ; проведя сначала пять лѣтъ въ Австріи, гдѣ подъ руководствомъ ученаго іезуита Яна Либертина и посла Авраама Весловскаго переводилъ Генеральный лексиконъ Гюбнера, курсъ философіи и другія книги, онъ отправился въ Сербію въ 1724 году, гдѣ выступилъ энергическимъ распространителемъ народнаго образованія и литературы, организаторомъ школъ, составителемъ и издателемъ руководствъ, исправителемъ слога и правописанія, оставивъ по себѣ почетную память въ лѣтописяхъ сербскаго возрожденія [2].

Подъ стать всѣмъ этимъ подлиннымъ личностямъ—фиктивные, вымышленные герои русской повѣсти петровскаго времени. Она лишь недавно стала предметомъ изслѣдованія, состоитъ пока изъ небольшаго числа памятниковъ, заимствуетъ и планъ и нѣкоторыя частности изъ иностранныхъ источниковъ, но стремится быть вѣрнымъ отраженіемъ современнаго ей быта. Въ основу „Исторіи о россійскомъ матросѣ Василіи Коріотскомъ и о прекрасной королевнѣ Иракліи Флоренской земли" [3]) положена фабула переводной повѣсти о „Гишпанскомъ шляхтичѣ Долторнѣ", но она переработана въ духѣ времени и надѣлена русскими бытовыми чертами. Автора видимо тѣшитъ мысль сопоставить героя, смышленаго недоросля изъ бѣдныхъ дворянъ, попавшаго матросомъ въ Голландію „для изученія наукъ ариометическихъ и разныхъ

[1]) Дневникъ, написанный *по французски*, помѣщенъ въ переводѣ съ рукописи библіотеки Кіевскаго университета въ Кіев. Старинѣ 1895, VII; франц. пьесы— Les filles errantes, La coquette, Deux arlequins, Esope; итальян. книги: Pastor fido Гварини, Cortegiano Кастильоне и т. д.

[2]) П. Поповъ, „Къ вопросу о реформѣ Вука Караджича, Журн. мин. пр., 1882, III.

[3]) Текстъ ея напечатанъ въ приложеніи къ статьѣ Л. Н. Майкова „Русская повѣсть петровскаго времени" (Очерки изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII стол., Спб. 1889).

языковъ", съ императорами, герцогами, адмиралами, вельможами дальнихъ государствъ. Изъ разбойничьяго плѣна освобождаетъ онъ флорентійскую принцессу, послѣ многихъ приключеній женится на ней, живетъ въ великой славѣ, и, похоронивъ тестя, становится самъ „королемъ Флоренскимъ". Сознавая вмѣстѣ съ своимъ героемъ, что онъ родился „въ Россійскихъ Европіяхъ", и что поэтому ничто для него не можетъ быть ни чуждо, ни запретно, авторъ свободно проводитъ его по всѣмъ странамъ запада, Цесаріи (Австріи), Италіи, Голландіи, Франціи, заставляетъ его бойко отвѣчать императору на вопросъ, кто онъ: „матросъ, а фамилія моя небольшая,—Василей Ивановъ сынъ Коріотскій", и помнить, что съ новымъ порядкомъ вещей для смышленаго человѣка, кто бы онъ ни былъ, всѣ пути открыты. А изъ путаницы любовныхъ приключеній въ другой повѣсти той же поры выглядываетъ красивая фигура „славнаго, храбраго Александра, кавалера Россійскаго", приведеннаго на западъ тою же образовательной программой царской, но плѣненнаго свободой жизни и развернувшагося во всю ширь натуры настоящаго Донъ-Жуана, — также совсѣмъ подъ-стать нѣкоторымъ изъ первыхъ нашихъ невольныхъ туристовъ по западу, героямъ романическихъ похожденій. [1]) Какъ народныя пѣсни о Петрѣ и его времени не въ силахъ были отмѣтить и оцѣнить преобразовательный трудъ царя, такъ повѣсть, сочувственно относясь къ европеизму, затруднилась или не сумѣла взять въ герои свои одного изъ убѣжденныхъ приверженцевъ новыхъ идей; но въ лицѣ неунывающаго матроса или „кавалера"-волокиты сквозятъ уже положительныя черты молодого поколѣнія.

Традиціи петровскаго западничества составили духовное содержаніе послѣдующей переходной поры, раскинувшейся со всѣми ея неровностями, тревогами, колебаніями и запре-

---

1) Вотъ какъ записалъ напр. въ дневникъ одно изъ своихъ увлеченій въ Венеціи, въ 1708 году, кн. Куракинъ: „въ ту свою бытность былъ инаморатъ въ славную хорошествомъ одною читадинку, называлася Signora Francesca Kota,—и такъ былъ *inamorato*, что не могъ ни часу безъ нея быти, —и разстался съ великою плачью и печалью, ажъ до сихъ поръ изъ сердца моего тотъ *amor* не можетъ выдти, и чаю не выдетъ, и взялъ на меморію ея персону и обѣщалъ къ ней опять возвратиться"; Арх. кн. Курак., I, 278.

щеніями въ области науки и словесности до екатерининскаго времени. Рѣшимость всѣ силы затратить, чтобъ овладѣть знаніемъ, развитіе личной энергіи, не отступающей передъ лишеніями, странствіями, бѣдностью, своего рода фанатизмъ къ наукѣ и образованности, ненасытная любознательность (Ѳ. Прокоповичъ говорилъ, что „прямо просвѣщенный человѣкъ никогда сытости не имѣетъ въ познаніи своемъ, хотя бы Маѳусаиловъ вѣкъ прожилъ"), все это наслѣдіе, оставленное Петромъ и его *школой* въ тѣсномъ смыслѣ слова, было усвоено и развито преемниками. Всѣ они обращаютъ взоры свои на западъ, но не изъ простой переимчивости, а съ скрытыми помыслами о будущей самостоятельности, подсказанными народною гордостью. Ради этого они открыто идутъ въ ученье къ иностранцамъ, ищутъ источника знанія. Кантемиру тѣсно въ Петербургѣ, гдѣ послѣ Петра наука уже не въ почетѣ, „ходитъ ободрана, въ лоскутахъ зашита", гдѣ его могутъ понять только два, три человѣка. Онъ оживаетъ лишь въ Лондонѣ и Парижѣ, въ обществѣ Монтескье [1]) аббата Гуаско, Монертюи, въ перепискѣ съ Вольтеромъ. Юное остроуміе его первыхъ сатиръ становится тѣмъ серьезнымъ „смѣхомъ сквозь слезы", который онъ занесъ къ намъ подъ вліяніемъ Буало, перелагая его признаніе „que le mot, pour avoir réjoui le lecteur, a couté bien souvent de larmes à l'auteur" въ характеристическихъ, прочувствованныхъ изліяніяхъ („стихи, что чтецамъ смѣхъ на губы сажаютъ, часто слезъ издателю причиною бываютъ"... смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о злонравныхъ плачу" и т. д.), опередившихъ на цѣлый вѣкъ гоголевскій „видимый міру смѣхъ". Его политическое воспитаніе, начавшееся съ рѣзкихъ, иногда траги-комическихъ столкновеній слишкомъ молодого и неопытнаго дипломата, занесшаго на западъ привычки отечественной расправы, съ англійскою вольностью, [2]) и перешед-

---

1) Онъ перевелъ его „Персидскія письма"; тонъ подобнаго обличенія общественныхъ золъ сатирикомъ-философомъ близко подходилъ къ вкусамъ Кантемира. Переводъ утраченъ.

2) Получивъ отъ своего правительства порученіе во что бы то ни стало разузнать, кто авторъ оскорбительныхъ для Россіи „Lettres moscovites", и воспротивиться изданію ихъ въ англійскомъ переводѣ, онъ сначала требуетъ карательныхъ мѣръ противъ памфлетиста (нѣкоего Локателли), но въ первой же бесѣдѣ съ лордомъ Гарингтономъ получаетъ урокъ на тему о „свободномъ нача-

шее въ уваженіе къ ней, расширило кругозоръ его и какъ государственнаго человѣка. Ломоносовъ разгадываетъ свое настоящее призваніе лишь въ Германіи, куда завело его еще болѣе неодолимое влеченіе. Баснословно чудесными путями. часто пѣшкомъ перекочевываетъ въ Голландію, и потомъ въ Парижъ другой основатель новаго стиха,—Тредьяковскій; къ выѣзжимъ французамъ идетъ въ науку Сумароковъ, къ нѣмцамъ—Ѳедоръ Волковъ, къ шведамъ—Татищевъ. И когда они приходятъ къ сознанію, что пора ученія и скитанія, Lehr-und Wanderjahre, для нихъ прошла, они закладываютъ фундаментъ обновленной образованности, внося каждый по мѣрѣ способностей свой вкладъ: Кантемиръ—свои сатиры, Ломоносовъ—научную пропаганду и торжественную лирику, Тредьяковскій—стихосложеніе, Сумароковъ—трагедію, Волковъ—національную сцену, Татищевъ—историческую науку.

Ихъ ученическая работа шла открыто и честно. Еслибы спросить у Кантемира объясненія, откуда онъ взялъ форму своихъ сатиръ, поэмъ, одъ, анакреонтическихъ произведеній, онъ простодушно указалъ бы, что тамъ онъ подражалъ Ѳеофрасту и Лабрюйеру, тутъ „Горацію и Буалу французу", Матюрену Ренье или Вольтеру, и т. п. [1]); детальныя примѣчанія къ сатирамъ раскрываютъ мельчайшія подробности его писательскаго труда. Онъ признается охотно, что любитъ Францію, еще юношей переводилъ онъ „утѣшное критическое описаніе Парижа", гдѣ описывались, между прочимъ, веселыя гулянья въ „славномъ огородѣ детуллеріи". Интимныя бесѣды съ умными людьми, въ родѣ той, которую Батюшковъ изобразилъ въ своемъ „Вечерѣ у Кантемира". доставляли ему высокое наслажденіе; съ Мопертюи онъ занимался естествознаніемъ, переписывался объ исторіи съ Вольтеромъ. Тредьяковскій находилъ, что нужно имѣть „духъ звѣрски", чтобъ не любить „красное мѣсто, драгой берегъ сенски"; за-

---

таніи какъ фундаментѣ англійской вольности", которая такъ далеко простирается, что „противъ своего собственнаго государя безъ всякой опасности повсядневно печатаютъ". Соч. Кантемира, изд. Ефремова, II, 99—100. Новичокъ-дипломатъ предлагалъ своему начальству напечатать опроверженіе,—или же „черезъ тайно посланныхъ гораздо побить" пасквилянта.

[1]) Въ стихѣ IV сатиры: „не дѣлаютъ чернца однѣ рясы", кажется, слѣдуетъ видѣть отголосокъ старой пословицы „l'habit ne foit pas le moine", встрѣчаемой у Рабле и друг. писат.

машки галломана не разстаются съ нимъ никогда, и ему даже удается усвоить себѣ живой и легкій слогъ во французскихъ стихотвореніяхъ, несравненно болѣе удачныхъ, чѣмъ его дебелыя русскія оды. Въ первыхъ же опытахъ Ломоносова чувствуется близость къ тому или другому мѣсту въ его нѣмецкихъ и французскихъ образцахъ. Откровенное подражаніе Сумарокова пріемамъ Вольтера, Расина, Мольера (въ комедіяхъ) слишкомъ извѣстно. Онъ усвоивалъ ихъ съ любовью и уваженіемъ, и въ своей пятой *эпистолѣ* присоединилъ къ числу этихъ любимѣйшихъ авторовъ цѣлый циклъ великихъ писателей, достойныхъ стать нашими образцами. [1])

Къ созданію сколько нибудь самостоятельной русской трагедіи и основанію театра подъ эгидой Кадетскаго корпуса онъ пришелъ постепенно, переходя отъ руководства французскими корпусными спектаклями къ переводамъ пьесъ и, наконецъ, къ подражаніямъ и переложеніямъ на русскіе нравы и историческіе сюжеты. Наконецъ Волковъ всѣми свѣдѣніями своими объ организаціи театральнаго дѣла, главнымъ ободреніемъ къ замыслу организаціи ярославскаго театра былъ, какъ мы знаемъ теперь, обязанъ тѣсной дружбѣ и указаніямъ даровитаго нѣмецкаго актера Аккермана, въ ту пору директора прекрасной нѣмецкой частной труппы, находившейся въ

[1]) Тутъ перечислены, послѣ древнихъ классиковъ, изъ новыхъ писателей:

Мальгербъ, Русо, Кино, французовъ хоръ реченный,
Мильтонъ и Шакеспиръ, хотя непросвѣщенный,
Тамъ Тассъ и Аріостъ, тамъ Камоэнсъ и Лопъ,
Тамъ Ѳондель, Гинтеръ тамъ, тамъ остроумный Попъ.
Послѣдуемъ такимъ писателямъ великимъ.

Надъ выдающимися французскими писателями дѣйствительно возносился у него тріумвиратъ Расина, Вольтера и Мольера:

Каковъ въ трагедіи Расинъ былъ и Вольтеръ,
Таковъ въ комедіяхъ искусный Моліеръ.
Какъ славитъ напримѣръ тѣхъ Федра и Меропа,
Не меньше и творецъ прославленъ Мизантропа.
Мольеровъ мицемьръ, я чаю, не падетъ
Въ трехъ первыхъ дѣйствіяхъ, доколь пребудетъ свѣтъ.

Въ стихотворной литературѣ прошлаго вѣка не разъ можно встрѣтить подобные перечни любимыхъ иностранныхъ писателей. Такъ Николевъ въ посланіи къ Дашковой говоритъ о Расинѣ, Мольерѣ, Аріостѣ, Мильтонѣ, Корнелѣ; Херасковъ во вступленіи къ Россіадѣ („Взглядъ на эпическія поэмы“) характеризуетъ дѣятельность Тассо, Камоэнса, Мильтона, Вольтера и т. д.

Петербургѣ, [1]) — впослѣдствіи же одного изъ членовъ знаменитаго гамбургскаго театра, руководимаго Лессингомъ, который въ своей „Гамбургской Драматургіи" сочувственно оцѣнилъ дѣятельность Аккермана. Когда же съ рѣдкою энергіею Волковъ создалъ постоянныя сцены сначала въ Петербургѣ (гдѣ подспорьемъ были силы его ярославскихъ товарищей), а затѣмъ въ Москвѣ, гдѣ никакихъ силъ не было наготовѣ, и приходилось вызывать ихъ изъ общества,—репертуаръ новаго русскаго театра, искусно составленный изъ произведеній Мольера, Лессинга, Дидро и др., [2]) воспиталъ публику и исполнителей для болѣе самостоятельнаго періода нашей сцены.

Но эти обязательства и зависимость не сдѣлали двигателей нашей образованности въ переходную пору рабами чужой указки. У каждаго изъ представителей ранней нашей литературной школы мы видимъ опредѣленное желаніе самостоятельной дѣятельности, каждому хочется занять въ родной средѣ такое же положеніе, какое занимаютъ передовые писатели запада, каждый стремится внести русское содержаніе въ свои произведенія. Первый русскій салонъ въ Парижѣ, открытый Кантемиромъ (въ Лондонѣ онъ слишкомъ занятъ былъ дѣлами политическими и непосильнымъ состязаніемъ съ такими искусными дипломатами, какъ Робертъ и Горацій Вальполи, чтобъ сближаться съ литературой), [3]) знакомилъ Францію съ Россіею, и первый русскій сатирикъ занялъ

---

[1]) Она пріѣзжала и въ Москву,—и здѣсь впервые дебютировалъ въ присутствіи императрицы, крошечнымъ мальчикомъ шести лѣтъ (онъ произнесъ лишь нѣсколько словъ: o nein, ich sprech dich frei!) одинъ изъ знаменитѣйшихъ нѣмецкихъ актеровъ новѣйшаго времени, Шредеръ („F. L. Schröder", von F. L. W. Meyer, 1819, S. 49).—Предшественницей Аккермана въ Петербургѣ была извѣстная союзница Готтшеда въ дѣлѣ реформы нѣмецкаго театра Каролина Нейберъ, грубо выгнанная потомъ безъ всякой вины изъ Россіи послѣ паденія Бирона. Какъ въ Германіи, такъ и у насъ она старалась распространять здравый взглядъ на театръ; несомнѣнно подъ ея вліяніемъ написана въ Прибавл. къ Спб. Вѣдом. 1739, 25 окт., статья „О пользѣ театральн. представл. для обузданія страстей". О Нейберъ см. книгу Rheden-Esbeck, „Carol. Neuber und ihre Zeitgenossen", 1881.

[2]) О немъ см. брошюру М. Лонгинова „Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ (1749—1774), Спб. 1873 г. Въ одномъ 1757 году поставлены были „Тартюфъ", „Скупой", „Школа мужей" и „Продѣлки Скапена".

[3]) Ср. Реляціи князя Антіоха Кантемира изъ Лондона, т. I, подъ ред. проф. В. Александренко, 1892.

видное мѣсто въ современной европейской словесности. [1]) Въ какой степени удастся это заявленіе своей самобытности, будетъ зависѣть отъ таланта или самостоятельности той или другой личности; опытъ старшихъ литературъ показываетъ, что пора подражательности не скоро уступаетъ мѣсто своеобразному творчеству. Но духъ соревнованія, задора къ работѣ, любви къ родному слову, поддержанный сравненіемъ нашего дѣтскаго лепета съ европейскими литературными успѣхами, къ чести родоначальниковъ нашей новой словесности, высказывается вполнѣ опредѣленно. Кантемиръ и Ломоносовъ ставятъ себя подъ покровъ петровской идеи, и какъ-бы хотятъ показать міру, что русская земля можетъ „рождать *своихъ* Невтоновъ". Патріотизмъ Ломоносова слишкомъ извѣстенъ, его *разсужденія* обнаруживаютъ трезвую, практическую точку зрѣнія *русскаго* наблюдателя, но и тутъ на каждомъ шагу встрѣчаются сличенія съ Германіей и другими образованными странами, желаніе реформъ мотивируется часто стремленіемъ не отстать отъ Европы, — подобно тому, какъ въ развитіи русскаго стиха мы видимъ у него свободное состязаніе съ иностранцами, а въ физико-химическихъ и иныхъ работахъ желаніе пересадить къ намъ, обрусить по возможности и развивать далѣе русскими силами цѣнные результаты западной науки. Кантемиръ, съ виду совсѣмъ принявшій внѣшность и привычки европейца, интересующійся такими предметами, которые въ ту пору могли быть доступны у насъ лишь немногимъ (таковы, напримѣръ его „Письма о природѣ и человѣкѣ", хранящіяся въ Публичной библіотекѣ, — первая на Руси популярная статья по естествознанію, [2]) — мысли о воспитаніи, введенныя въ VII сатиру подъ вліяніемъ Локка, старанія о переводѣ „Entretiens sur

---

[1]) Переводъ сатиръ Кантемира на француз. языкъ сдѣланъ былъ аббатомъ Гуаско и изданъ въ Лондонѣ, 1749; біографія принадлежитъ аб. Венути; нѣмецкій переводъ барона Шпилькера, Берлинъ, 1752.

[2]) Въ ней встрѣчаются также любопытныя наблюденія надъ процессомъ творчества, конечно, самыя раннія въ нашей литературѣ: „я въ себѣ собраніе многихъ видовъ нахожу, никогда не думаю сбирать, вкоренять и учреждать ихъ въ порядокъ. Къ тому же всѣ сіи виды представляются и уходятъ, какъ мнѣ угодно. Призову—придутъ, отошлю—скроются, куды, не знаю; завсегда безъ помѣшательства ихъ порядокъ; не знаю, гдѣ они пребываютъ, ни что̀ они суть; но всегда нахожу готовыя движенія разныхъ воображеній и многихъ старыхъ, новыхъ" и т. д. Собр. соч. Кантемира, изд. Ефремова, II, 62.

la pluralité des mondes“ Фонтенелля, возбудившемъ яростное сопротивленіе русскихъ обскурантовъ), и какъ будто ушедшій въ обособленную жизнь кабинетнаго ученаго, близко принимаетъ къ сердцу успѣхи русскаго слова, не только съ радостнымъ сознаніемъ участвуетъ въ заложеніи русской литературной своеобразности, но, несмотря на философскую умѣренность, готовъ вынести всю тягость положенія писателя въ темной общественной средѣ. Даже такая блѣдная, пассивная личность, какъ Тредьяковскій, не чужда стремленію возвести съ помощью пріобрѣтенныхъ вчужѣ знаній нѣчто свое, національное!

Эти люди, какъ бы они ни расходились, ни враждовали между собой, дѣйствовали въ одномъ направленіи и внесли въ литературную область немало новыхъ облагораживающихъ понятій. Достоинство человѣческой личности ставится высоко уже у Кантемира; требованія обновленія и простора народной жизни, отличавшія еще Посошкова, развиваются у Ломоносова [1]) въ цѣломъ рядѣ проектовъ реформъ, проникнутыхъ духомъ гуманности, озабоченныхъ „сохраненіемъ, размноженіемъ“ и просвѣщеніемъ народа,—и въ замыслѣ основать первый русскій университетъ, осуществлявшемъ наконецъ предположенія Годунова, Полоцкаго, Посошкова и Петра съ Лейбницомъ; отвѣтственность защитниковъ застоя передъ обличительнымъ словомъ устанавливается прочно въ кантемировыхъ сатирахъ, сумароковскихъ притчахъ и комедіяхъ, рѣзкихъ нападкахъ ломоносовскихъ разсужденій на суевѣрія и предразсудки; даже тяжелая ложно-классическая трагедія, идя по слѣдамъ своей западной предшественницы, украсила себя торжественными и благонамѣренными монологами, которые звучали среди современной публики проповѣдью человѣчности и героическаго самопожертвованія. Недалеко еще ушла эта пора отъ первыхъ шаговъ петровской реформы, а уже народившаяся литература пріобрѣла довольно опредѣленное обличье и внутреннее содержаніе.

---

1) Ему извѣстны были нѣкоторые изъ посошковскихъ проектовъ, въ особенности проектъ о школахъ; Ломоносовъ представилъ его въ концѣ 1752 г. въ академію наукъ.

Но положеніе ея еще шатко; поддержки сверху мало, подростъ силъ незначительный, настоящей школьной образованности еще нѣтъ, никто серьезно не брался за критическое руководство дѣятельностью писателей, хотя по образцу заграничныхъ журналовъ и возникли уже первыя наши повременныя изданія, „Ежемѣсячныя сочиненія“ Миллера, „Трудолюбивая пчела“ Сумарокова. Поэтому въ направленіи литературныхъ силъ еще много случайнаго: Ломоносовъ взялъ у одного изъ своихъ образцовъ, Гюнтера, торжественность тона его одъ, особенно ему приглянувшихся,—тогда какъ въ несправедливо забытыхъ теперь произведеніяхъ этого симпатичнаго поэта главными достоинствами является задушевность и простота его мелкихъ лирическихъ пьесъ, которымъ удивлялся даже Гете. Для московскаго университета старались привлечь на каѳедру эстетики Лессинга [1]) (подобно тому, какъ впослѣдствіи приглашали въ харьковскій университетъ Фихте)—и еслибъ это предложеніе было принято, вліяніе такого сильнаго ума, обновляющій реформаторскій духъ, ниспровергавшій классическую искусственность, живительно отразились бы на мѣстной литературной жизни. Изъ числа слушателей выдвинулась бы, конечно, не одна даровитая личность, на которую Лессингъ могъ бы оказать такое же вліяніе, какое бывшій геттингенецъ Буле имѣлъ потомъ на Грибоѣдова. Но Лессингъ не принялъ приглашенія; вмѣсто него каѳедру занялъ Рейхель, и первымъ дѣломъ его было введеніе, въ качествѣ учебниковъ, реторики и поэтики Готтшеда, [2]) представителя той школы, которую уничтожилъ въ конецъ Лессингъ. Этотъ Рейхель былъ профессоромъ Фонвизина и давалъ ему переводить правоучительныя книжки... Точно также Сумароковъ всѣ свои силы, все свое безграничное самолюбіе влагалъ въ отстаиванье спасительности классической теоріи. Сходясь въ рьяности и самомнѣніи съ Готтшедомъ, точно также порывавшимся захватить диктатуру въ нѣмецкой словесности и указывавшимъ современнымъ писателямъ драмъ, въ качествѣ образцовъ, на

[1]) Lessing's Leben v. Adolf Stahr, 1868, I, 148.

[2]) Шевыревъ, Біографическ. словарь профессоровъ моск. университ. М. 1855, II, 134.

Софокла и себя (совсѣмъ какъ Сумароковъ, съ комической напыщенностью дѣлившій власть надъ европейскимъ театромъ лишь съ Вольтеромъ), отецъ нашей трагедіи защищалъ псевдо-классическіе пріемы въ ту самую пору, когда родина Буало и Расина уже измѣняла ихъ традиціямъ для *мѣщанской* драмы.

Но въ отсутствіи строгой системы, выработанной, *своей* теоріи, въ этихъ невольныхъ анахронизмахъ была значительная доля выгоды. Новымъ направленіямъ, которыя тѣмъ временемъ развивались на западѣ, не пришлось выдерживать у насъ сильной борьбы съ стройнымъ и убѣжденнымъ полчищемъ защитниковъ старой теоріи. За неимѣніемъ лучшаго смотрѣлись высокопарныя трагедіи, слушались похвальныя оды, тяжеловатыя сумароковскія комедіи. Но, какъ только стало устанавливаться нѣкоторое литературное равновѣсіе между нами и западомъ, и къ намъ проникла болѣе правдивая, сильно демократизованная форма драмы, чувствительная и субъективная лирика, соціальная комедія Бомарше,—такъ всѣ здоровыя влеченія молодой еще русской публики направили ее на встрѣчу болѣе свѣжаго и свободнаго творчества. Оттого одна волна такъ скоро смѣнила у насъ другую, и торжество псевдо-классицизма было такъ непродолжительно (хотя онъ съ виду и дожилъ съ Озеровымъ до александровскихъ временъ и разжигалъ *русскій* патріотизмъ трагедіями. построенными на французскій ладъ). [1]) Онъ скоро вызвалъ противъ себя насмѣшливыя нападки, принужденный иногда очистить мѣсто совсѣмъ безъ боя. Разливъ похвальной лирики въ Германіи былъ прерванъ сатирами Нейкирха и другихъ поэтовъ, осмѣявшими фабричное производство одъ,— и у насъ остроумный „Чужой толкъ“ Дмитріева, попытавшійся пристыдить отечественныхъ виршеписцевъ указаніемъ на истинныхъ поэтовъ древности и новой Европы, нанесъ рѣзкій ударъ классической одѣ всего черезъ какихъ-нибудь два десятилѣтія послѣ смерти Ломоносова. Тѣмъ временемъ московская

[1]) Дмитрій Донской декламируетъ патріотическія тирады, прямо взятыя изъ Расина и Дюси, совсѣмъ подъ стать галломану Ростопчину, прекрасному *французскому* стилисту, закидывавшему въ то же время французовъ шапками въ своихъ псевдо-народныхъ брошюрахъ и афишахъ.

театральная публика, увлеченная большею жизненностью новой *драмы*, проповѣдуемой и на словахъ, и на дѣлѣ, Дидро, Лессингомъ и Бомарше, скоро покинула для нея своего недавняго любимца Сумарокова.

Въ этихъ счастливыхъ случайностяхъ сказывались здоровые инстинкты тѣхъ, затронутыхъ наконецъ просвѣщеніемъ, общественныхъ слоевъ, которые должны были, съ теченіемъ времени, получить значительное вліяніе на ходъ литературы. Какъ во Франціи или Германіи, такъ и у насъ въ прошломъ вѣкѣ постепенное усиленіе того, что́ можно было бы назвать среднимъ сословіемъ, что собирало въ своихъ рядахъ лучшія силы различныхъ классовъ общества, отразилось на освобожденіи литературы отъ условной церемонности, утомительнаго однообразія героическихъ подвиговъ, и на водвореніи въ ней мѣщанской, бытовой реальности. Но какъ бы ни казалось естественнымъ и въ области слова, и въ искусствѣ, водвореніе простоты и правдивости, эта желанная цѣль достигалась всегда и вездѣ послѣ многихъ колебаній, поисковъ за идеалами, блужданій ощупью и ошибокъ; обыкновенно рядъ школъ и ученій восходитъ и исчезаетъ, прежде чѣмъ найдена будетъ искомая близость къ жизни и свобода творчества. И мы можемъ съ увѣренностью сказать, что русская литература прошлаго вѣка долго искала бы выхода, оставаясь съ своими Ярбами, Хоревами, Россіадой, философскими одами, дидактическими поэмами, — еслибъ пробудившіеся инстинкты не получили могущественной поддержки извнѣ. Далекіе отголоски освободительнаго движенія, волновавшаго уже всю Европу, ставившаго себѣ цѣлью внести и въ политическую жизнь народовъ, и въ ихъ духовную дѣятельность, и въ воспитаніе критическій анализъ, объявляя войну цѣлымъ полчищамъ застарѣлыхъ предразсудковъ,—эти отголоски будили у насъ умы раньше того времени, которое принято считать оффиціальнымъ началомъ русскаго просвѣтительнаго вѣка. [1]) Смѣлыя выходки англійской сатирической

[1]) Баронъ Бретейль, бывшій французскимъ посланникомъ въ Россіи, свидѣтельствуетъ въ своемъ мемуарѣ отъ 1 сен. 1763 г., что еще при Елизаветѣ многіе молодые русскіе дворяне получали образованіе свое въ Женевѣ и возвращались, „наполнивъ умъ и сердце республиканскимъ духомъ“. По мнѣнію

журналистики противъ всего ложнаго и темнаго въ жизни и литературѣ, обойдя уже остальныя страны, читались у насъ съ сочувствіемъ; начиная съ журнала Миллера, во всѣхъ раннихъ нашихъ журналахъ и вѣдомостяхъ мы встрѣчаемъ частые переводы изъ „англійскаго Спектатора" или „Смотрителя", кое-какіе отрывки обличительныхъ повѣстей, взятыхъ въ однородныхъ съ нимъ французскихъ и нѣмецкихъ изданіяхъ, и уже предчувствуемъ близкое нарожденіе русской сатирической журналистики семидесятыхъ годовъ. Вкусъ къ чтенію переводныхъ романовъ въ старомъ духѣ, полныхъ фантастическаго вымысла и ничѣмъ не связанныхъ съ дѣйствительной жизнью, падаетъ подъ мягкимъ и человѣчнымъ вліяніемъ англійскаго чувствительнаго романа, ставящаго своей гордостью умѣнье изображать жизнь будничную съ ея тревогами, [1])—и будущая русская повѣсть уже обрисовывается въ неясныхъ пока чертахъ. Комедія Детуша, Реньяра, Пирона, Гольберга, борется противъ ложной образованности, свѣтской пустоты, трескучаго стихотворства, указывая первымъ же русскимъ комикамъ, Лукину, Фонвизину, темы для ихъ обличительной дѣятельности; даже скромная басня, едва поспѣвая за своими остальными собратьями, принимаетъ ту же воинствующую складку. Словомъ, пройдя впередъ, вытерпѣвъ уже въ значительной степени страду дня, литература запада, дѣйствовавшая съ той поры съ возрастающимъ единодушіемъ и стройностью, приходила на помощь русскимъ образованнымъ людямъ, стоявшимъ на рубежѣ отжившей школы и признаковъ времени. Эта поддержка является крупнымъ фактомъ въ исторіи развитія нашей литературы 18 вѣка. Классической школѣ привелось быть ея воспріемницей, водворить извѣстное количество новыхъ для насъ формъ, а движеніе, связанное съ просвѣтительнымъ періодомъ, дало во-время про-

---

Бретейля, „не нужно было особенно близкаго знанія Россіи, чтобъ замѣтить, до какой степени всѣ умы увлекаются свободой". Приведено изъ документовъ архива франц. министерства иностр. дѣлъ у Larivière, Catherine II et la révolution française, 1895, стр. 11.

[1]) Н. А. Бѣлозерская, „Вліяніе переводн. романа и западн. цивилизаціи на рус. общество XVIII в.", Русск. Старина. 1895. I.

тивоядіе противъ искаженій и ошибокъ, которыя могли возникнуть отъ преобладанія ложноклассической искусственности.

Этотъ положительный результатъ не могъ быть единственнымъ,—освѣженіе творчества бытовыми мотивами, возрастаніе реализма, близость къ жизни, все это составляло важныя пріобрѣтенія для литературной области въ тѣсномъ ея смыслѣ. Но изъ-за новыхъ явленій въ западной словесности величественно высились, осѣняя и оживляя ихъ, завоеванія философской и научной мысли, призванныя внести идеи гуманности и свободы въ общечеловѣческую умственную работу, подчинявшія своему авторитету и плебеевъ, и всесильныхъ правителей, и деспотовъ, и мечтательныхъ филантроповъ. Въ то время, какъ у насъ слабый еще кружокъ интеллигентныхъ личностей едва влачилъ свое существованіе, когда порою простое чтеніе книги политическаго или общественнаго содержанія могло считаться тяжкимъ преступленіемъ, [1]) когда преторіанскія волненія возводили и низводили правителей, мѣняя съ тѣмъ вмѣстѣ при дворѣ нѣмецкіе вкусы на французскіе, и вся эта сутолока считалась дѣломъ первостепеннымъ, какъ будто поглощала всѣ общественные интересы,—западная жизнь переживала блестящую пору разцвѣта умственныхъ силъ, ставя освобожденіе мысли и торжество человѣчности выше всякихъ внѣшнихъ преимуществъ. Насилія бироновщины сходились въ оскорбительномъ контрастѣ съ проповѣдью новой французской философіи, предвѣстницы энциклопедистовъ, высоко державшей знамя гуманности. Въ своемъ побѣдномъ шествіи по Европѣ, постепенно подчинявшемъ себѣ одну страну за другою, она придвинулась уже къ нашему рубежу, и задумала превратить пропи-

[1]) Такъ въ 1737 году во время процесса князя Д. М. Голицына, обвинявшагося въ разныхъ тяжкихъ преступленіяхъ, и едва не подвергнутаго смертной казни, однимъ изъ важныхъ прегрѣшеній выставлялось чтеніе „книгъ *Макіавелевой* и *Бокалиновой*“ (вѣроятно, тутъ разумѣлась политическая сатира Боккалини „Ragguagli di Parnasso“). Вся библіотека Голицына, состоявшая, отмѣтимъ кстати, изъ шести тысячъ книгъ, даже на голландскомъ, испанскомъ, англійскомъ, шведскомъ языкахъ, была захвачена, и въ ней въ особенности доискивались названныхъ сочиненій, которыя и были потребованы въ вышній судъ. — См. переписку по этому дѣлу, напеч. въ Библіогр. Запискахъ 1861, № 11.—Волынскаго также допрашивали на судѣ, читалъ ли онъ Маккіавелли и дѣлалъ ли изъ Юста Липсія оскорбительныя сближенія съ русскими дѣлами. З„аписка объ Артеміи Волынскомъ“, М. 1858, с. 15—19.

танную, казалось, насквозь казарменнымъ духомъ Пруссію въ пріютъ свободной мысли и равноправности. Надолго устраниться отъ всеобщаго увлеченія было немыслимо, невозможно. Когда самая черная пора миновала, и новое ученіе могло свободнѣе проникать въ Россію, — складывалось уже на удивленіе всему свѣту величественное зданіе Энциклопедіи, съ ея обобщеніями добытыхъ наукою результатовъ и программою философскаго, соціальнаго и политическаго прогресса. Стройная армія убѣжденныхъ и даровитыхъ борцовъ „вышла изъ этой крѣпости на борьбу съ старымъ началомъ",—и зрѣлище этой борьбы, понятной всюду, гдѣ были тьма, гнетъ и предразсудки, должно было встрѣтить и у насъ во всѣхъ мало-мальски здоровыхъ умахъ глубокое сочувствіе. Возвратилось радостное сознаніе наступленія свѣтлой поры, которое мы видѣли при Петрѣ. Оно замѣтно уже съ воцаренія Елизаветы, когда образованнымъ людямъ ломоносовскаго типа отраднѣе всего было сознавать, что послѣ безстыднаго и всевластнаго невѣжества и застоя опять возрождаются петровскія просвѣтительныя традиціи, и что снова можно, даже тѣснѣе прежняго, завязать связи съ мыслящей Европой и примкнуть къ первенствующему въ ней умственному движенію. Особыхъ причинъ радоваться нашимъ собственнымъ успѣхамъ было немного. Основаніе университета, постояннаго театра и академіи художествъ, проблески меценатства по отношенію къ литературѣ, европеизмъ правителей въ родѣ Ив. Ив. Шувалова, обязаннаго своимъ развитіемъ Парижу, начало сношеній съ важнѣйшими европейскими писателями (предложеніе Вольтеру взять на себя составленіе „Исторіи Петра Великаго", для которой ему присылали, однако, матеріалы подтасованные и неполные),– главные итоги этой поры. [1]) Но она казалась радостной зарей, вслѣдъ за которой при Екатеринѣ наступилъ свѣтлый день.

---

[1]) Сколько же двусмысленнаго и темнаго прокралось къ намъ въ ту неопытную пору подъ флагомъ европеизма! Придворныя шашни Лестова и де-ла Шетарди; безцеремонное вмѣшательство въ русскія дѣла бездарнаго Людовика XV; миссія въ Петербургъ извѣстнаго авантюриста, Шевалье д'Эона, носившаго поочередно личину то мужчины, то женщины, эксцентрическая карьера эльзасца Чуди, принявшаго въ Россіи имя chevalier de Lussy, бывшаго и секретаремъ у Строгонова, и актеромъ французскаго театра, и редакторомъ перваго

Тогда все заликовало. Какъ нѣкогда Тверитиновъ или Посошковъ, такъ теперь не только талантливые и интеллигентные люди, но и фонвизинскіе герои, благонамѣренные говоруны современныхъ салоновъ, стихотворцы и т. д. предаются при каждомъ случаѣ восхваленію блаженства настоящей минуты; оно развиваетъ въ нихъ непомѣрный, недальновидный оптимизмъ, съ той поры не разъ проявлявшійся при малѣйшемъ просвѣтѣ въ русскомъ обществѣ. Становится моднымъ щеголять, драпироваться имъ, и въ рѣчахъ оффиціальныхъ резонеровъ, въ родѣ Бецкаго, столько же благонамѣренныхъ общихъ мѣстъ, сколько въ разсужденіяхъ театральнаго резонера Правдина. Въ этомъ оптимизмѣ далеко не все должно быть отнесено къ стремленію подладиться подъ господствующій тонъ; это скорѣе проявленіе наивной довѣрчивости и способности къ преждевременнымъ ликованіямъ. Становилось легче жить, личное существованіе какъ будто осмысливалось и пріобрѣтало цѣль, недовольство собой, гложущее чувство нравственной неудовлетворенности, неспокойной совѣсти, улегалось,—и человѣка тѣшила мысль, что онъ тоже участвуетъ въ общемъ возрожденіи.

Не обошлось, конечно, безъ крайностей, или смѣшныхъ, или просто пошлыхъ. Свободный полетъ мысли умалялся иногда у людей далеко не бездарныхъ до грошоваго вольнодумства, безпечно касавшагося одной лишь поверхности вещей, до циническихъ прибаутокъ, празднаго кощунства и грозно-радикальныхъ, но въ сущности совершенно несерьезныхъ заявленій, придававшихъ человѣку безъ большого труда съ его стороны ореолъ свободомыслія въ полуграмотномъ обществѣ. Или же, наконецъ, ходячій запасъ либерально звучащихъ фразъ и безсознательное томленіе по французской цивилизаціи затверживалось наизустъ людьми, совершенно неспособными понять настоящій смыслъ современнаго движенія. Таковъ (при всѣхъ каррикатурныхъ и безподобно-смѣшныхъ преувеличеніяхъ, введенныхъ въ него авторомъ) Иванушка въ

французскаго журнала на Руси, le Caméléon litteraire, и, кажется, фаворитомъ императрицы,—наиболѣе выдающіеся примѣры. О Люсси—Pingaud, Les français en Russie et les russes en France, 1886, p. 22—24.

„Бригадирѣ“, побывавшій даже лично въ Парижѣ; таковъ одинъ изъ тогдашнихъ провинціальныхъ епископовъ, говорившій о себѣ при каждомъ удобномъ случаѣ: „я французъ, я французъ!“ Въ этомъ явленіи опять же нѣтъ спеціально русской уродливости; при однородныхъ обстоятельствахъ оно повторялось вездѣ; каждое движеніе имѣетъ своихъ хористовъ, послушно тянущихъ одну и ту же ноту, своихъ каррикатурныхъ исказителей. Если и въ двадцатыхъ годахъ девятнадцатаго вѣка Грибоѣдовъ счелъ необходимымъ разграничить положительное отъ мелкаго и пошлаго въ современномъ ему лагерѣ европейцевъ, и рядомъ съ Чацкимъ поставилъ секретныя совѣщанія Репетилова съ князь-Григоріемъ и его клубною братіею,—то изъ западной жизни можно привести рядъ такихъ же разновременныхъ примѣровъ. Въ Германіи успѣхи просвѣтительнаго направленія не разъ портились, благодаря не въ мѣру ревностнымъ дѣятелямъ его; впослѣдствіи пора знаменитаго „Sturm und Drang'a“ выродилась въ смѣшную растрепанность чувствъ и ухарство, покончившее со всякими законами въ поэзіи; до забавности заразительно дѣйствовали на подражателей-лиллипутовъ вертеризмъ и байронизмъ. Въ Англіи 17-го вѣка галломанія порождала такія же уродливыя явленія, какъ у насъ, — и если мы можемъ выставить типическій портретъ Иванушки, то комедія Уичерли The dancing master или Monsieur de Paris и различныя статьи сатирическихъ журналовъ рисуютъ совсѣмъ однородный характеръ, а въ слѣдующемъ столѣтіи Гольбергъ борется съ тѣмъ же зломъ въ датской обстановкѣ. Такъ это было и съ нашей галломаніей и такъ называемымъ волтерьянствомъ въ прошломъ вѣкѣ. Образецъ былъ совершенно неповиненъ въ томъ, что его портило и дѣлало смѣшнымъ грубое обезьянство. Насмѣшка русской сатиры и комедіи была въ этомъ отношеніи вполнѣ законной,—но замѣчательно, что и при этомъ не обошлось безъ постороннихъ указаній. Трудно представить себѣ, чтобъ на созданіе перваго же сколько-нибудь удачнаго сатирическаго портрета въ этомъ родѣ—фонвизинскаго Иванушки, осталась безъ вліянія комедія Гольберга, назвавшаго ее по герою своему „Jean de France“ и осмѣивающаго датское подобіе нашего изнѣженнаго брига-

дирскаго сынка.[1]) Ближайшее сличеніе обѣихъ пьесъ подтвердитъ эту догадку.

Но для успѣшнаго вліянія общественныхъ, литературныхъ и научныхъ теорій недоставало еще многаго и самаго существеннаго. Прежде и главнѣе всего, не было того прочнаго, основательнаго образованія, на которое съ пользою могли бы упасть сѣмена оживляющаго движенія. Составляя различные проекты „созданія новой породы людей“, не позаботились серьезно о томъ, чтобъ для нея было гдѣ учиться.[2]) Университетъ долго не выходилъ изъ-подъ ферулы соннаго педантизма, лишь по временамъ оживляясь благодаря случайно забредшей туда талантливой личности; собранныя теперь свѣдѣнія и воспоминанія о томъ, что дѣлалось въ гимназіяхъ, московской, казанской, говорятъ о порядкахъ почти допотопныхъ. Школы, созданныя въ Петербургѣ чудодѣйственной энергіей Новикова на общественныя средства и подъ общественнымъ контролемъ, были проникнуты инымъ духомъ,—но зато вызвали въ Екатеринѣ ревность и неудовольствіе. Наконецъ и о народномъ образованіи стали заботиться только тогда, когда Іосифъ II поставилъ его на первый планъ, и, чтобъ дать русскому крестьянину или мѣщанину школы, выписали казеннымъ способомъ изъ *Венгріи* серба Янковича... Надежды на домашнее образованіе, какъ всегда, оказались шаткими; благодаря комедіямъ и журналамъ, мы слишкомъ хорошо знаемъ, въ чьихъ рукахъ находилось оно тогда по бо̀льшей части. Потому-то многое изъ того, что воспринималось въ ту пору съ запада, усвоивалось дилеттантически, очаровывало, но не могло перейти въ плоть и кровь, не дало тѣхъ результатовъ, которые могло дать. Не *слишкомъ много* заимствовали и учи-

---

[1]) Это тѣмъ вѣроятнѣе, что Фонвизинъ смолоду интересовался произведеніями Гольберга и перевелъ его басни (въ 1761, „Бригадиръ“ же появился въ 1764).

[2]) Въ началѣ екатерининскаго царствованія посылали молодыхъ людей въ Геттингенъ, Лейпцигъ, Кенигсбергъ, Упсалу, Лейденъ. Дашкова воспитывала своего сына въ Эдинбургскомъ университетѣ (Немногимъ, вѣроятно, извѣстно, что тамъ онъ написалъ и напечаталъ латинскую диссертацію объ Аристотелѣ. Экземпляръ ея есть въ Британскомъ музеумѣ.— Этимъ указаніемъ мы обязаны Н. И. Стороженку). Впослѣдствіи эти оффиціальныя посылки смѣнились запрещеніями.

лись мы въ ту пору у нашихъ западныхъ сосѣдей (какъ это кажется инымъ), но слишкомъ мало и не такъ, какъ слѣдовало. Многаго и понять не смогли, мимо многаго важнаго прошли безъ вниманія. Неудивительно, что у перваго поколѣнія екатерининскихъ дѣятелей убѣжденія оказывались иногда необыкновенно шаткими. Фонвизинъ начинаетъ съ увлеченія новыми идеями, готовъ удариться въ крайность кощунства,— но достаточно случайнаго обстоятельства, встрѣчи съ суровымъ мистикомъ Тепловымъ, чтобъ пробудить въ немъ раскаяніе и угрызенія совѣсти, достаточно недовольства Екатерины на мнимую вольность его „Вопросовъ", чтобъ отважный сатирикъ совсѣмъ растерялся; когда же въ послѣдніе годы, разбитый параличомъ, онъ публично, въ церкви, указываетъ студентамъ на свое полу-мертвое тѣло, какъ на знакъ гнѣва небеснаго, покаравшаго его за грѣхи, онъ становится просто жалокъ. Да и не у него одного исчезъ потомъ слишкомъ легко пріобрѣтенный налетъ мнимо-усовершенствованнаго свободомыслія!

При такомъ дилеттантическомъ отношеніи къ дѣлу понятно, почему многія стороны движенія, передаваясь черезъ посредствующія звенья, такъ блѣднѣли и мельчали. Въ борьбѣ своей противъ предразсудковъ, въ проповѣди сближенія съ естественнымъ строемъ жизни, Руссо отвелъ важное мѣсто заступничеству за вѣротерпимость и свободу совѣсти, и въ своемъ „Савойскомъ священникѣ" (Vicaire savoyard) набросалъ симпатичный образъ честнаго и христіански-гуманнаго пастыря душъ, не знающаго различія людей по религіямъ; идя тѣмъ же путемъ, Лессингъ глубокими, художественными чертами осуществилъ принципъ свободы вѣры въ своемъ „Натанѣ", поставивъ среди враждующихъ исповѣданій представителя гонимой и презираемой расы, отвѣчающаго на преслѣдованія и насмѣшки величественнымъ въ своей простотѣ призывомъ людей къ братству и равенству всѣхъ религіозныхъ убѣжденій. Какимъ жалкимъ, въ сравненіи съ этимъ, является отзвукъ возбужденнаго интереса къ вопросамъ религіи въ каррикатурной фонвизинской проповѣди на Духовъ день сельскаго попа, едва грамотнаго духовнаго вождя полупьяныхъ крестьянъ! Личность бѣднаго попа взята изъ того

же комическаго альбома, гдѣ красуются Кутейкинъ съ Цыфиркинымъ, да бригадирша Акулина Тимоѳеевна, и самое большее, если авторъ имѣлъ въ виду напомнить, кому слѣдуетъ, что необходимо было бы нѣсколько пообучить и пастырей, и паству.

Съ теченіемъ времени подобное отношеніе къ дѣлу начало мѣняться; дилеттанты-начетчики (для иныхъ и это не совсѣмъ подходящій терминъ; orecchianti, такъ зовутъ въ Италіи безграмотныхъ пѣвцовъ, которые, не зная нотъ, поютъ цѣлыя оперы по слуху,—у насъ такого слова еще нѣтъ) начинаютъ смѣняться людьми образованными, убѣжденными, подготовленными къ просвѣтительной дѣятельности. Немногимъ удается воспитать себя для этой цѣли мѣстными, домашними средствами. За отсутствіемъ серьезнаго образованія въ Россіи, молодежь старается получить его за границей, особенно въ Германіи, и эти выходцы возвращаются дѣйствительно новыми людьми, съ жаждой полезнаго труда. Интересныя типическія лица—эти „новые люди“! Таковъ въ особенности лейпцигскій кружокъ Радищева; таковы безвѣстные поклонники энциклопедистовъ на юговосточныхъ русскихъ окраинахъ, даже въ Заволжьѣ и оренбургскихъ степяхъ,—для которыхъ умный авантюристъ Винскій, увидавшій въ изученіи и распространеніи новой философіи поправку своей безпорядочной жизни, дѣлалъ рукописные переводы классическихъ произведеній французскихъ мыслителей,—таковъ и самъ Винскій, фанатическій ихъ поклонникъ, и другой провинціальный любитель философіи Добрынинъ, авторъ „Записокъ“; такова группа изъ девятнадцати лицъ, образовавшаяся въ Москвѣ для изданія въ 1767 году „Переводовъ изъ Энциклопедіи“ подъ редакціею Хераскова, и, наряду съ нею ревностный и убѣжденный издатель и переводчикъ Вольтера, Рахманиновъ, съ умомъ и настойчивостью пропагандировавшій любимаго писателя, въ которомъ онъ видѣлъ не остроумца а искателя истины; [1]) таковы нерѣдкіе у насъ въ свое время искренніе

---

[1]) Въ предисловіи къ книгѣ Дюбуа „Извѣстіе о болѣзни и исповѣди г. Вольтера“ онъ беретъ подъ свою защиту смѣлый полетъ вольтеровской мысли. „Умствованія г. Вольтера, говоритъ онъ, стремились далѣе тѣхъ границъ, гдѣ всѣ изслѣдованія человѣка остаются недѣйствительными“, но дѣлаетъ раз-

поклонники американской борьбы за независимость, почитатели Вашингтонов и Франклиновъ, наконецъ, молодой Карамзинъ, съ грезами о швейцарской свободѣ, поклоненіемъ Канту, серьезнымъ взглядомъ на общественное призваніе литературы. Въ то время, какъ подобныя личности могли-бы предъявлять право на непосредственное участіе въ просвѣщеніи и общественныхъ реформахъ, другія являлись на западѣ посредниками между русскимъ обществомъ и главными дѣятелями европейскаго движенія. Таково значеніе кн. Д. А. Голицына, посла въ Парижѣ и Гагѣ, друга Дидро и главнаго устроителя его поѣздки въ Россію, литературнаго душеприказчика Гельвеція, издавшаго его посмертный трудъ „De l'homme“, — со временемъ значительно ослабѣвшаго въ своей культурной отзывчивости, но передавшаго ее дѣтямъ, особенно Д. Д. Голицыну, отрекшемуся отъ почета и блеска, чтобъ въ Америкѣ начать опытъ новой общинной жизни и въ качествѣ миссіонера-католика устроивать школы, основывать города, цивилизовать край.[1])

Но, словно по капризу судьбы, именно въ ту пору, когда для дѣла подготовлено было уже извѣстное число ревностныхъ и способныхъ работниковъ, въ нихъ не находили уже нужды, и, оставляя въ сторонѣ туземныя силы, призывали иногда совсѣмъ некстати и безполезно къ административной дѣятельности и экономическимъ реформамъ неумѣлыхъ иностранныхъ спеціалистовъ, въ родѣ Мерсье де ла Ривьера или Сенака де Мейльяна. Самое движеніе и горячій порывъ даровитой русской молодежи къ дѣятельности становятся предметомъ сильнѣйшей подозрительности со стороны власти; на юношески-страстное обращеніе въ Екатеринѣ Гердера, тогда еще рижскаго педагога и проповѣдника, отдававшаго всего себя

личіе между развязностью „мнимыхъ философовъ“, не умѣющихъ обосновать своихъ сомнѣній, и пріемами человѣка, имѣющаго „обширное понятіе о многихъ предметахъ и заслуживающаго не порицанія, а исправленія здравою критикой“.

1) Онъ докончилъ воспитаніе свое въ Балтиморской семинаріи, и затѣмъ сошелся съ высланными изъ Франціи монахами ордена св. Сульпиція. Клерикализмъ, повидимому, не игралъ большой роли въ его умственныхъ интересахъ. Память о немъ, какъ о филантропѣ, сохраняется въ Америкѣ до сихъ поръ. По его фамильному имени названъ городъ въ Аллеганахъ (Gallitzin). Его жизнь, похожая на романъ, пересказана была въ наше время Сарой Броунсонъ въ книгѣ „Князь-Священникъ“.

въ ея распоряженіе ради возможности участвовать въ реформахъ, не было обращено ни малѣйшаго вниманія. [1]) Само общество, еще недавно выслушивавшее рѣчи новыхъ людей съ благоговѣйнымъ удивленіемъ, отворачивается отъ нихъ, издѣвается надъ ними; общеніе съ западомъ подавлено въ ту минуту, когда становилось наиболѣе полезнымъ.

Въ неясномъ отношеніи правительственныхъ сферъ къ движенію заключается вторая существенная причина недостаточнаго его успѣха. Не говоря уже о томъ слишкомъ явномъ фактѣ, что покровительственный образъ дѣйствій прилагался въ сущности лишь въ теченіе самаго ранняго и непродолжительнаго періода, постепенно смѣняясь недовѣріемъ и попытками сдержать, осадить неумѣренные будто бы порывы,— необходимо уяснить себѣ, до какой степени двойственна была сама эта политика. Съ одной стороны она величаво рисовалась передъ всемірно-исторической ареной зрителей [2]) съ своимъ культомъ просвѣщенія, свободы мнѣній, смягченія нравовъ и понятій при помощи мудраго законодательства, — съ другой, она безмѣрно черствѣе и бюрократичнѣе выполняла свои задачи дома.

Безспорно, весьма интереснымъ эпизодомъ въ международной литературной исторіи являются разнообразныя сношенія Екатерины съ Вольтеромъ, Дидро, Даламберомъ и многими другими представителями современной мысли, предложенія гонимымъ на западѣ писателямъ ставить въ Петербургѣ свои пьесы и перепечатывать сожженныя свои книги, наконецъ, періодически возобновлявшіеся и все же (какъ это вскорѣ понялъ Дидро) совсѣмъ не серьезные переговоры о перенесеніи въ Россію (именно въ Ригу) изданія Энциклопе-

[1]) Гердеръ задумывалъ тогда большое сочиненіе о Россіи и насущныхъ для нея реформахъ („Ueber die Cultur eines Volkes und insonderheit Russlands“). Haym, „Herder“, I, 335.

[2]) Многіе изъ нихъ наивно увѣровали въ то, что въ Россіи насталъ золотой вѣкъ и открылся просторъ для всякихъ попытокъ перестроить и обновить жизнь. Молодой Бернарденъ де-Сенъ-Пьерръ полетѣлъ къ намъ въ надеждѣ основать *на берегахъ Аральскаго моря* что-то въ родѣ свободныхъ американскихъ общинъ 19-го вѣка, но его даже не поняли; одинъ изъ его покровителей, Вильбуа, подумавъ, что имѣетъ дѣло съ карьеристомъ, предложилъ ему, взамѣнъ филантропическихъ опытовъ, вступить на службу въ инженерное вѣдомство, а Орловъ, выслушавъ доводы его, счелъ его не вполнѣ нормальнымъ.— Arvède Barine, „Bernardin de St. Pierre“, p. 21—25.

діи; но эти сношенія, особенно когда они выражаются въ перепискѣ, гдѣ съ обѣихъ сторонъ непринужденно сверкаютъ искры ума, тонкой веселости или остроумія, входятъ во всякомъ случаѣ въ составъ чисто *личной* исторіи развитія. Это болѣе или менѣе откровенныя признанія или тонкая causerie человѣка, которому, несмотря на окружающій его блескъ, тягостно имѣть постоянно дѣло съ людьми ниже его уровня, и который съ увлеченіемъ отдаетъ часть дня своего на письменныя бесѣды съ умнѣйшими людьми Европы,—тѣмъ болѣе, что онъ убѣжденъ, что каждое сколько нибудь оригинальное и вѣское слово его, благодаря имъ, станетъ всеобщимъ достояніемъ и поддержитъ его міровую репутацію.

У Екатерины есть между ними свои кумиры въ родѣ Вольтера, съ которымъ она поспѣшила завязать сношенія (сначала при посредствѣ своего секретаря, женевца Пикте) вскорѣ по вступленіи на престолъ, — или Даламбера, намѣченнаго въ воспитатели Павла Петровича, но сразу охладившаго пылъ своей поклонницы рѣшительнымъ нежеланіемъ принять ея блестящія предложенія [1])—или Дидро. Она спрашиваетъ ихъ совѣта въ разныхъ сложныхъ русскихъ дѣлахъ, забывая, до какой степени они имъ незнакомы, и какъ она сама часто излагаетъ свои вопросы и затрудненія, придавая имъ произвольную окраску. Но отъ блестящей корреспонденціи до осуществленія затрогиваемыхъ ею вопросовъ было весьма далеко. [1]) Едва въ отвѣтахъ дѣло слишкомъ близко коснется внутренней политики,—и уже въ тонѣ отвѣтовъ *ученицы*, какъ она любила называть себя, слышится скрытое неудовольствіе на вторженіе непризванныхъ судей въ заповѣдную область. Неудивительно поэтому, если Вольтеръ, нарушившій ради привлекательныхъ сношеній съ Екатериной твердое рѣшеніе чуждаться дружбы правителей, оцѣненной имъ по достоинству послѣ разрыва съ Фридрихомъ, иной разъ прибѣгалъ къ своему старинному хитроумію, помогавшему ему ладить даже съ „философомъ изъ Санъ-Суси", — если онъ съ виду соглашался съ нѣкоторыми доводами и остановился, напримѣръ, въ нерѣшительности передъ вопросомъ о немедленномъ осво-

---

[1]) Переписка Даламбера съ Екатериной найдена и издана г. Непгу, а въ русскомъ переводѣ редакціею Историч. Вѣстника въ 1884 г.

божденіи крестьянъ, особенно когда толки о немъ сопровождались тревожными слухами объ успѣхахъ пугачевскаго возстанія. Болѣе же откровенные люди въ родѣ Дидро, пытавшіеся прямо въ глаза высказывать свои мысли и давать совѣты (быть можетъ, не всегда практическіе въ русскомъ смыслѣ, но все же осуществимые съ измѣненіями) видѣли скоро, что весь интересъ сосредоточивался только въ обмѣнѣ мыслей.[1]) Исторія поѣздки Дидро въ Петербургъ, состоявшейся послѣ долгихъ приглашеній, заискиваній, домогательствъ, вмѣшательства Дашковой, Дм. Голицына, и подробности пребыванія его при русскомъ дворѣ, гдѣ онъ былъ осыпанъ ласками, служилъ предметомъ любопытства и удивленія, могъ откровенно и отвергая всякій этикетъ высказывать Екатеринѣ свои убѣжденія, и все-таки возвратился въ Парижъ безъ всякаго успѣха, встрѣтивъ по многимъ вопросамъ вѣжливый отпоръ, — печальная судьба высоко-даровитаго Фальконета, чьему таланту предпочли чиновничье усердіе Бецкаго, и могли допустить творца Памятника Петру въ отчаяніи выѣхать изъ неблагодарной Россіи, тогда какъ его лавры пожиналъ благонамѣренный и завистливый чиновникъ, — непримиримо суровый взглядъ Екатерины на Руссо, въ которомъ она разгадала слишкомъ большую независимость, и всегда отзывалась о немъ пренебрежительно, не признавая его заслугъ даже въ реформѣ воспитанія, которой не могла, казалось, не сочувствовать, — эти эпизоды необыкновенно живо характеризуютъ всю систему дѣйствій.

Очевидно, для роли посредника между сѣверной Семирамидой и Европой всего удобнѣе были люди въ родѣ Гримма, этого ловкаго commis voyageur'а философіи, пролѣзшаго въ храмъ славы, цѣпляясь за полы кафтановъ своихъ великихъ друзей, готоваго на всевозможныя услуги; способнаго изъ лести сочинить даже новый символъ вѣры въ честь Екатерины (je crois en Cathérine, unique quoique seconde... et en sa bonté consubstantielle et incarnée avec elle... je crois aussi

---

[1]) Екатерина писала ободрительныя письма и къ вождю корсиканскаго возстанія, Паоли, зная, что онъ модный герой, что имъ интересуются всѣ порядочные люди въ Европѣ. Паоли былъ, конечно, изъ числа Пугачевыхъ, хотя и болѣе благоприличныхъ, — зато онъ былъ далеко, и платовизмъ былъ безопасенъ.

en son saint esprit etc., [1]) мастера собирать и передавать сплетни и слухи о литературѣ и большомъ свѣтѣ и держать своихъ корреспондентовъ на уровнѣ „послѣднихъ словъ“ Парижа. Его обширная переписка съ Екатериной, не прекратившаяся до самой ея смерти, [2]) его пріѣзды въ Россію, наконецъ его вступленіе въ русскую службу, показываютъ, до какой степени онъ былъ въ екатерининскомъ Петербургѣ persona grata...

Въ самомъ дѣлѣ, какая разница съ Дидро! Осмѣлиться требовать отъ преобразовательницы, пріостановившей навсегда свои реформы, послѣдовательности и выдержки въ гласно заявленномъ ею намѣреніи улучшить и просвѣтить свой народъ,—требовать объясненія, хочетъ ли она оставить за своимъ Наказомъ только значеніе благонамѣреннаго философско-юридическаго упражненія или же выполнить свои обѣщанія! Бесѣдовать запросто съ такимъ увлекательнымъ и краснорѣчивымъ ораторомъ, забывавшимъ въ пылу своихъ рѣчей все на свѣтѣ, поражая блескомъ и оригинальностью импровизацій, было необыкновенно интересно, — но что за докучныя напоминанія, что за непрошенное вмѣшательство въ домашнія, русскія дѣла?

Екатерина врядъ ли представляла себѣ, что настойчивая горячность Дидро внушена была нетолько гуманностью философа-космополита, но и живымъ интересомъ къ новой для него странѣ, возраставшимъ по мѣрѣ изученія ея. Если, еще живя въ Парижѣ, онъ считалъ наиболѣе неотложною русскою реформой освобожденіе крестьянъ и былъ непріятно пораженъ, услыхавъ отъ Дашковой возраженія и опроверженія этого взгляда, то, увидавъ вблизи положеніе крѣпостного народа, онъ еще глубже проникся прежнимъ своимъ убѣжденіемъ. Ему хотѣлось ближе узнать Россію, провинцію, Москву, но ему такъ и не пришлось ихъ видѣть; ихъ заслонилъ Петербургъ, т. е., по его словамъ, „дворъ, безсвязная смѣсь дворцовъ и избъ, большихъ баръ, окруженныхъ *мужиками* и подрядчиками“. Онъ всюду собиралъ свѣдѣнія о русской

---

[1]) Сборникъ Русск. Историч. Общества, томъ 45, стр. 3—4.

[2]) Анализъ богатаго и любопытнаго матеріала, заключающагося въ ней, сдѣланъ въ книгѣ Я. К. Грота „Екатерина въ перепискѣ съ Гриммомъ“, 1884.

жизни (сохранилась серія обстоятельныхъ вопросовъ, предъявленныхъ имъ президенту коммерцъ-коллегіи) и составилъ себѣ точное понятіе о нашихъ нуждахъ. Въ его „русскихъ“ проектахъ, составленныхъ или по собственному побужденію, или по предложенію Екатерины, на каждомъ шагу видно желаніе содѣйствовать развитію національныхъ силъ Россіи. Въ „Планѣ университета“, т. е. общей системѣ народнаго просвѣщенія, онъ стоялъ за развитіе народной школы и гимназій; тщательно разработавъ программы всѣхъ факультетовъ (не исключая богословскаго) и указавъ лучшіе методы и пособія, онъ съ особымъ вниманіемъ остановился въ университетскомъ курсѣ на предметахъ, наиболѣе способныхъ развить привязанность русскихъ къ отечеству; исторія, правдивая, чуждая всякихъ прикрасъ, должна вызывать въ потомкахъ уваженіе къ великимъ гражданамъ родной земли; увѣковѣченіе ихъ памяти—лучшая цѣль молодого русскаго искусства, свободнаго отъ изнѣженности и лести. То же высокое значеніе признавалъ онъ и за разработкой родного языка, которая должна опираться на знаніе церковно-славянскаго и привести къ свободному выраженію всѣхъ понятій, выработанныхъ новою культурой, къ созданію самостоятельной педагогической летературы, столь необходимой въ странѣ, лишенной школъ, и поэзіи, воспитывающей народъ въ духѣ свободы и нравственнаго достоинства. Призваніе иностранцевъ въ академію и университеты считалъ онъ временною и неизбѣжною мѣрой, и въ недалекомъ будущемъ видѣлъ, совсѣмъ по-ломоносовски, нашихъ собственныхъ „Платоновъ и Невтоновъ“. Это, конечно, мечты, которымъ могъ бы позавидовать искренній русскій народолюбецъ, но Дидро шелъ дальше ихъ; не было насущнаго для насъ вопроса, который онъ не принялъ бы подъ свою защиту. Онъ ратовалъ за полную вѣротерпимость, совѣтуя богословамъ-профессорамъ каждый курсъ свой заканчивать нѣсколькими лекціями о свободѣ совѣсти,—за политику мира, возставая противъ безцѣльныхъ и изнурительныхъ войнъ, доказывая Екатеринѣ, что „кровь тысячи враговъ не возвратитъ ей потери ни одной капли русской крови“, и совѣтуя всю энергію, шедшую на воинственныя начинанія, направить на реформы,—за развитіе обществен-

наго самоуправленія, привѣтствуя введенное Екатериной городовое положеніе,—высказываясь за право народа на участіе въ законодательствѣ, сочувствуя англійскому государственному устройству, — за широкое и свободное развитіе женскаго, и, въ частности, медицинскаго образованія въ Россіи. [1]) Но вмѣсто того, чтобъ воспользоваться живымъ интересомъ къ русскимъ дѣламъ и готовностью къ работѣ на пользу нашего народа, высказанными мыслителемъ и дѣятелемъ такой силы, за его мечтами и планами оставляли въ лучшемъ случаѣ значеніе красивыхъ бредней, чаще же попрекали ихъ непрактичностью; проекты клались „подъ сукно" и потому могли быть открыты въ Петербургѣ и изданы лишь въ наше время (преимущественно Морисомъ Турнэ),—наиболѣе же настойчивыя напоминанія о реформахъ (какъ наприм. мемуаръ, озаглавленный *De la commission* и развивающій мысль о необходимости обращенія къ странѣ) [2]) вызывали просто раздраженіе.

Совѣты Дидро о широкомъ развитіи просвѣщенія и соціальныхъ реформъ имѣли ту же участь, которая постигла дружный откликъ западноевропейской науки и экономической практики на вызовъ помочь рѣшенію такого насущнаго для Россіи вопроса, какъ освобожденіе крестьянъ. Когда Вольное Экономическое общество, основанное по образцу французскихъ обществъ того же рода, объявило конкурсъ на изысканіе лучшаго способа уничтоженія крѣпостного права, на вызовъ отозвалось 162 человѣка, изъ которыхъ только семь было русскихъ. Во многихъ изъ представленныхъ мнѣній и проектовъ были видны незнаніе русскихъ народныхъ условій, осторожность. склонность къ постепенности освобожденія, предоставленіе его иниціативѣ помѣщиковъ, предпочтеніе личнаго, безземельнаго освобожденія,—но изъ массы этихъ отвѣтовъ, во всякомъ случаѣ

[1]) Когда Екатерина предложила ему составить для Смольнаго монастыря педагогическіе планы, Дидро поставилъ въ нихъ на видномъ мѣстѣ преподаваніе анатоміи, для чего указалъ на замѣчательную спеціалистку въ этой наукѣ, m-lle Biheron, изъявившую готовность безвозмездно пріѣхать въ Россію, устроить преподаваніе анатоміи и подарить Смольному свои коллекціи. Предложеніе это осталось безъ результата. О „русскихъ проектахъ" Дидро подробности см. въ моей книгѣ „Этюды и характеристики", М. 1894, и у Бильбасова „Дидро въ Петербургѣ".

[2]) Diderot et Catherine II, ст. М. Турнэ, Le Temps, 4 сент. 1885.

сочувствовавшихъ эманципаціи (въ то время, какъ русскіе люди такого значенія, какъ Сумароковъ, неистово возставали противъ нея), выдѣлялись увѣнчанное преміею сочиненіе ахенскаго юриста Беардэ де-Лабэ, затѣмъ превосходившее его по смѣлости мнѣніе нантскаго ученаго Graslin'а, стоявшаго за земельный надѣлъ, — и примѣчательная работа недавняго нѣмецкаго студента, Полѣнова, написанная подъ сильнымъ вліяніемъ западнаго научно-гуманитарнаго движенія. Но книга Беардэ де-Лабэ и мнѣніе Граслена были напечатаны лишь по настоянію нѣсколькихъ либерально настроенныхъ членовъ общества; трудъ Полѣнова, два, три раза пересматривавшійся и сокращавшійся, найденъ былъ неудобнымъ къ печати и увидѣлъ свѣтъ лишь въ наше время; грандіозно задуманный опросъ Европы по крестьянскому дѣлу остался эффектнымъ, рѣдкимъ въ то время культурнымъ пріемомъ, совершенно не перешедшимъ въ жизнь. Пробывъ послѣ того нѣсколько времени на очереди въ московской комиссіи по составленію уложенія, вызвавъ въ ней пренія, по большей части крѣпостническаго характера, вопросъ объ освобожденіи замеръ до начала XIX вѣка. [1])

Наиболѣе свѣтлая пора екатерининскаго царствованія была по крайней мѣрѣ полна открытыхъ заявленій гуманныхъ принциповъ, неслыханныхъ дотолѣ въ оффиціальныхъ русскихъ сферахъ. За ними послѣдовалъ разливъ чиновничьей говорливости, варьировавшей эти принципы на разные лады; заговорили Бецкіе, Домашневы, Мелиссино и т. д.; какъ будто предпринимались приготовленія къ чему то хорошему и важному. Но наступили иныя заботы: дальніе раскаты французской революціи и тревоги пугачевщины поставили поверхъ всего инстинктъ самосохраненія, прежніе сборы къ просвѣтительной и преобразовательной дѣятельности остались *словами*, факты пошли съ ними вразрѣзъ, покровительница французскихъ идей предалась заботамъ о томъ, чтобъ не дать про-

---

[1]) Обстоятельная характеристика этого опроса и разборъ отдѣльныхъ мнѣній—у В. И. Семевскаго, „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой полов. XIX вѣка“, 1888, I, 45—94. Проекты Беардэ, Граслэна и двухъ нѣмцевъ были напечатаны въ Петербургѣ, 1768,—„Dissertation qui a remporté le prix sur la question proposée en 1766 etc“.

никнуть въ страну „французскимъ принципамъ", [1]) старые боги были покинуты и преданы порицанію, [2]) бюстъ Вольтера былъ сосланъ изъ кабинета царицы въ подвалъ, — и мыслящіе люди, заликовавшіе было при наступленіи золотого вѣка, доживали его втихомолку, съ постояннымъ трепетомъ за свою цѣлость, мучимые призракомъ Шешковскаго и видѣніями его пытокъ.

Какъ умѣстенъ былъ бы въ эти годы въ Петербургѣ тотъ памятникъ Вольтеру, который подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти великаго человѣка Екатерина сбиралась воздвигнуть, — но къ счастью, никогда не воздвигла! [3])

Нечего, кажется, вникать въ вопросъ, представлялась ли дѣйствительно какая-нибудь опасность со стороны оживавшей образованности. Мнѣнія, заявляемыя тѣмъ или другимъ лицомъ, могли быть иногда довольно смѣлыми, но оставались далеко позади того, чтó говорилось тогда на западѣ писателями вовсе не революціонными, — да и притомъ самой же Екатеринѣ хотѣлось отучить окружающее общество отъ старой привычки къ безгласности. Какая государственная опасность могла произтечь (какъ замѣтила это еще Дашкова) оттого, что нѣсколько сотъ человѣкъ въ многомилліонной и еще неграмотной странѣ прочли бы княжнинскаго *Вадима* съ его диѳирамбами свободѣ; что за бѣда была въ томъ, что новиковскіе сатирическіе журналы не вторили умѣренной и осторожной сатирѣ изданій, покровительствуемыхъ императрицей, и предпочитали называть вещи по именамъ, — въ томъ, что Фонвизинъ отважился сдѣлать нѣсколько скромныхъ вопросовъ, касавшихся аристократіи, судебной гласности, общественныхъ нравовъ, — что даже Радищевъ, какъ нахо-

---

[1]) На эти заботы, бросавшіяся въ глаза даже случайнымъ, стороннимъ наблюдателямъ, указывалъ, наприм., въ своихъ донесеніяхъ венеціанской синьоріи посолъ ея въ Петербургѣ, Гримани. — Ср. интересныя выдержки изъ его донесеній въ статьѣ М. М. Ковалевскаго „Послѣднія десять лѣтъ царствованія Екатерины въ донесеніяхъ венеціанскихъ пословъ", „Русск. Вѣдом.", 1895, №№ 210—213.

[2]) Всюду, даже въ дальней провинціи, наприм., въ Тамбовѣ, по приказу императрицы конфисковали собраніе сочиненій Вольтера, какъ вредныхъ и наполненныхъ развращеніемъ. — Д. Языковъ, „Вольтеръ въ русской литературѣ", 1879, с. 15.

[3]) Объ этомъ планѣ см. письма Гримма къ императрицѣ отъ 1778 (Сборн. Русск. Истор. Общества, т. XLV, ст. 21—22).

дили тогда современники, опоздалъ на какихъ-нибудь десять лѣтъ съ своей книгой, гдѣ касался вопросовъ, излюбленныхъ и давно намѣченныхъ самой Екатериной? Сфера дѣятельности всѣхъ подобныхъ заявленій была еще очень ограничена, въ рукахъ власти всегда нашлось бы достаточно силъ, чтобъ бороться съ послѣдствіями ихъ, еслибы они дѣйствительно стали слишкомъ сильны и безпокойны. Но ничего подобнаго на дѣлѣ не было,—и новые ростки, только было взошедшіе подъ вліяніемъ западнаго развитія, опять захирѣли и едва дожили до лучшихъ дней.

Такимъ образомъ мы видимъ, что, когда заходитъ у насъ рѣчь о воздѣйствіи европейскихъ идей на русскую среду прошлаго столѣтія, не принимаются во вниманіе тѣ обстоятельства, которыя не давали ему развиться въ ширь,—и что часто, основываясь лишь на одностороннихъ или слишкомъ скудныхъ, или невѣрно направленныхъ результатахъ этого воздѣйствія, произносится огульное осужденіе всей просвѣтительной поры. Еслибъ новая эпоха принесла вмѣстѣ съ тѣмъ съ собой и дѣйствительный просторъ знанію, еслибъ просвѣтительный вѣкъ въ Россіи былъ такимъ на дѣлѣ, а не на бумагѣ, и покрылъ всю Русь и высшими, и средними, и народными училищами, еслибъ принятъ былъ руководящимъ извѣстный уже намъ взглядъ Фридриха на литературу, или, по крайней мѣрѣ, покровительство удержалось на томъ же уровнѣ, не колеблемое несостоятельными политическими опасеніями,—не такихъ плодовъ могли бы потомки ждать отъ екатерининскаго вѣка и не повторили бы о многихъ показныхъ заявленіяхъ того времени горькаго гамлетовскаго приговора: Words! Words! Words!

Но, даже поневолѣ замкнувшись въ болѣе узкія рамки, западное вліяніе сумѣло принести великую пользу, и сколько ни старались потомъ его же непостоянные приверженцы издѣваться надъ нимъ, сколько разные семинарскіе мудрецы ни писали и ни переводили обличеній „Заблужденій Волтеровыхъ“ и т. п., какъ старое поколѣніе ни старалось сдѣлать „волтерьянство“ пугаломъ въ глазахъ порядочныхъ людей, какъ ни запрещали главныхъ сочиненій Руссо (*Эмиль* былъ запрещенъ 6 сентября 1763 г.), на которыя послѣ того всегда былъ

еще болѣе усиленный спросъ,—какъ ни отрекалась императрица отъ солидарности съ новыми экономическими ученіями, съ гуманной внутренней политикой Неккера, Тюрго (не говоря уже о Мирабо, который, по ея мнѣнію, былъ достоинъ нѣсколькихъ висѣлицъ), — живые отголоски воспринятыхъ идей не загибли, [1]) пережили трудныя времена и выразились во многихъ начинаніяхъ новаго времени. Не проникнуты ли всѣ добрыя намѣренія первыхъ лѣтъ александровскаго царствованія принципами либерализма прошлаго столѣтія; не подаютъ ли, въ лицѣ Радищева (при Александрѣ) съ его проектомъ введенія суда присяжныхъ и мечтами о крестьянскомъ освобожденіи съ землею, другъ другу руку гуманная молодежь восемнадцатаго вѣка и лучшіе люди двадцатыхъ годовъ, и не остался ли вплоть до пушкинскаго періода опорою и освященіемъ дѣятельности многихъ передовыхъ представителей образованности нашей тотъ запасъ идеализма, прямо ли политическаго, усвоеннаго изъ французскихъ источниковъ, или мечтательно-гуманнаго, широко-филантропическаго, перенятаго у нѣмцевъ, который давалъ этимъ людямъ возможность освѣжаться послѣ соприкосновенія съ дѣйствительностью и не падать духомъ! Исторія лучшихъ годовъ жизни Карамзина, Жуковскаго, Муравьева, Батюшкова, многихъ декабристовъ, даетъ тому немало примѣровъ.

---

1) Даже творенія самого зачинщика зла, Вольтера, продолжали и потомъ читаться и переводиться. Г. Полторацкій (Матеріалы для словаря русск. писателей, 1858, стр. 18) насчитывалъ до 140 переводовъ Вольтера на русскій языкъ, вышедшихъ въ восемнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкахъ. Вольтера издавали тогда даже въ провинціи (въ Козловѣ, или, вѣрнѣе, въ одной деревнѣ козловскаго уѣзда, гдѣ Рахманиновъ напечаталъ второе изданіе „Полнаго собранія всѣхъ до нынѣ перевед. на росс. языкъ соч. Вольтера", 1791). По словамъ митрополита Евгенія, „письменный Вольтеръ былъ тогда столько же извѣстенъ, какъ и печатный".—Что же касается печатныхъ изданій, оффиціальныя цензурныя свѣдѣнія за 1797 годъ показываютъ, что „сочиненія Вольтера ввозились тогда въ великомъ множествѣ и находились во всѣхъ книжн. лавкахъ". „Рус. Стар.", XIV, 467.—Точно также запрещеніе произведеній Руссо и послѣдовательное, неизмѣнное нерасположеніе императрицы къ женевскому философу не помѣшало усерднымъ его русскимъ почитателямъ поддерживать съ нимъ сношенія и звать его, бездомнаго, гонимаго и болѣзненно-мнительнаго, въ Россію. Такъ, гр. Орловъ приглашалъ Руссо поселиться на его мызѣ, въ Петербургской губерніи, а гр. Кириллъ Разумовскій—въ его малороссійскомъ имѣніи; въ это же время польскій магнатъ Тизенгаузъ радушно, но довольно эксцентрично предлагалъ ему для тихаго и безопаснаго житья... Бѣловѣжскую пущу. См. статью Д. Кобеко „Екатерина II и Ж. Ж. Руссо", „Истор. Вѣстн." 1883, іюнь.

Результаты даннаго движенія можно изучать въ двоякомъ направленіи. Съ одной стороны это результаты *общіе*,—итогъ новыхъ взглядовъ и принциповъ, которые были въ ту пору привиты нашей литературѣ и проведены въ общество;—съ другой стороны видимъ слѣды вліянія, оказаннаго на отдѣльныя личности, на направленіе и выработку таланта тѣхъ или другихъ нашихъ писателей

Чтобъ вполнѣ оцѣнить значеніе *общаго* мыслительнаго подъема, произведеннаго въ ту пору просвѣтительнымъ движеніемъ, стоитъ сличить темы, которыя завѣщала екатерининской литературѣ пора Ломоносовыхъ и Сумароковыхъ, съ позднѣйшей программой ея дѣйствій. Велика была служба, сослуженная родоначальниками новой словесности, но узка была еще сфера, въ которой они вращались. Философское изученіе и восхваленіе знанія, науки; радость при мысли о различныхъ успѣхахъ русской власти; порицаніе невѣжества и пошлости противниковъ просвѣщенія; частныя вылазки противъ сословій, борьба Кантемира противъ духовенства, Ломоносова противъ нѣмецкой касты, Сумарокова противъ „крапивнаго“ приказнаго сѣмени; небольшой рядъ трезво обсужденныхъ русскихъ практическихъ вопросовъ въ ломоносовскихъ разсужденіяхъ, — вотъ и весь наличный составъ темъ, перелагаемый на разные лады, въ стихахъ и прозѣ. Коснемся ли немедленно затѣмъ какого нибудь изъ произведеній нашей просвѣтительной поры, будетъ ли это екатерининскій „Наказъ“, статья сатирическаго журнала, рѣчь резонера въ комедіи, глава радищевскаго Путешествія, и мы тотчасъ же почуемъ иныя, болѣе глубокія ноты. Дѣло идетъ уже о высшихъ правахъ личности и народа, взвѣшиваются и опредѣляются обязанности правителей, устанавливаются человѣчныя отношенія къ низшей братіи, преступнику, рабу, дѣтямъ; выдвигается вопросъ объ освобожденіи крестьянъ; высшее дворянство и дворъ гнутся подъ ударами насмѣшекъ Державина и Фонвизина; темное и жестокое помѣщичество, вороватый судъ обличаются журналами; развивается широкая филантропическая и образовательная дѣятельность первоначальнаго масонства, которое видитъ передъ собой однихъ братьевъ, людей, тамъ, гдѣ прежде были лишь гос-

пода и холопы; сильно затронуты вопросы о свободѣ печати, гласности суда; литература пытается усвоить себѣ самостоятельность, даже оппозиціонность сужденій, живительно дѣйствовавшую тамъ, гдѣ все дышало однообразіемъ мнѣній; пробужденъ интересъ къ жизни народа, и бытовая стихія внесена на сцену; самъ Фонвизинъ пишетъ разсужденіе о необходимости образовать среднее сословіе изъ здоровыхъ и просвѣщенныхъ между-сословныхъ элементовъ, и проектъ организаціи представительства; близость къ жизни, серьезность призванія литературы раскрываются начинающеюся литературною полемикой, и, наконецъ, необходимость на дѣлѣ стать въ уровень съ современнымъ движеніемъ общечеловѣческой мысли выражается огромною массой переводовъ научныхъ и беллетристическихъ произведеній со всѣхъ языковъ, которая предпринимается уже не все по приказу свыше, а по энергическому частному почину.

Таковы стали любимыя темы и задачи преображенной литературы; ей не удастся вполнѣ осуществить ихъ; но важно то, что она все же твердо поставила ихъ себѣ идеаломъ. Если намъ покажутъ, что ихъ могла выдвинуть и выработать одна лишь русская дѣйствительность, съ своимъ слабымъ еще культурнымъ слоемъ, съ старой бурсой и университетомъ, гдѣ твердили Квинтиліана и Бургія, съ глубокими пластами невѣжества и жестокости нравовъ, и что пришлая стихія дала намъ только Иванушекъ, совѣтницъ, шевалье де-Мансонжей и Вральмановъ, то смертный приговоръ просвѣтительному времени будетъ произнесенъ. Пока же этого серьезно сдѣлать нельзя, заслуги просвѣтительнаго времени въ цивилизующемъ отношеніи, какъ бы онѣ ни были неполны и неглубоки, останутся всегда высоко цѣнными.

Но намъ необходимо взглянуть также и на частные результаты его вліянія, на слѣды его въ личной дѣятельности главныхъ писателей эпохи.

III.

Въ жизни и дѣятельности каждаго выдающагося писателя екатерининской поры отразилось въ частности то же освѣжающее вліяніе современнаго умственнаго движенія остальной Европы, — слѣды котораго можно наблюдать на общемъ оживленіи литературы. Всѣ эти писатели, какъ бы ни разошлись они потомъ между собою, пытаясь спеціализировать свое направленіе, одинаково исходили отъ могущественной поддержки западнаго образованія. Въ ряды его поклонниковъ приходится зачислить и такихъ открытыхъ приверженцевъ европеизма, какъ молодой Карамзинъ или Радищевъ, и одного изъ родоначальниковъ славянофильства, Болтина, и будущаго піэтиста Лабзина, и масона Лопухина. У многихъ изъ нихъ, своротившихъ потомъ съ избраннаго пути, пора горячихъ увлеченій новыми идеями такъ и осталась навсегда украшеніемъ ихъ біографіи, свѣтлой и примиряющей полосой. Видя, какъ тотъ же Лабзинъ, который при Александрѣ I могъ издавать мистическій „Сіонскій Вѣстникъ" и брататься съ двигателями реакціи, когда-то, въ дни молодости, переводилъ жгучія соціальныя комедіи Бомарше [1]) и въ предисловіи къ переводу пьесы Мерсье „Судья" утверждалъ, что „писатели обязаны содѣйствовать перевоспитанію общественному", — мы не можемъ не отмѣтить печальный примѣръ гнетущаго вліянія, которое оказали на человѣка способнаго мѣстныя условія. Да и въ жизни самого Карамзина, вспоеннаго и вскормленнаго философіей и поэзіей запада, отдавшаго всѣ свои молодые годы на грезы о свободѣ,

---

[1]) „Фигарова женитьба", изд. Типографич. Компаніи, 1787.

истинномъ просвѣщеніи и гуманности, не являются ли диссонансомъ его старческія нападки на „либералистовъ", оставшихся вѣрными идеямъ его молодости, и старанія во что бы то ни стало охранять и поддерживать исключительно національныя задачи!..

Велики и разнообразны обязательства западу у того писателя, который въ первые же годы является руководителемъ движенія и закрѣпляетъ свое имя за всѣмъ періодомъ, — именно у Екатерины. Несмотря на возраставшее сближеніе ея съ русской дѣйствительностью, факты которой ей приходилось подбирать мимоходомъ, во время поѣздокъ по Россіи, между церемоніалами и смотрами,—Екатерина навсегда осталась западной писательницей. Въ годы ея опалы при Елизаветѣ мыслители запада, на которыхъ указалъ ей впервые изъ состраданія къ ея безрадостной жизни заѣзжій культурный европеецъ (шведскій графъ Гилленборгъ) возродили ее, надолго опредѣлили ея вкусы и стремленія; усиленный приливъ любознательности, замѣтный у нея въ серединѣ пятидесятыхъ годовъ, привелъ ее къ внимательнѣйшему изученію „Духа Законовъ" и „Considérations" Монтескье, „Essai sur les moeurs" Вольтера и друг. классическихъ сочиненій [1]). Съ той поры она совсѣмъ вошла въ теченіе европейской мысли. Необъятная переписка ея съ западными дѣятелями литературы и науки, мелочная подробность тѣхъ литературныхъ сообщеній и сплетень, которыя доставляли ей въ своихъ письмахъ Гриммъ и madame Geoffrin, собиравшая ихъ изъ первыхъ рукъ въ своемъ салонѣ, бойкость и быстрота литературнаго репортерства „Correspondance littéraire", считавшей Екатерину одною изъ главныхъ своихъ подписчицъ, — все это давало ей возможность изъ Петербурга участвовать во всѣхъ начинаніяхъ парижскихъ писательскихъ кружковъ и жить съ ними одной жизнью (благодаря Дашковой, завязавшей во время своихъ путешествій по Англіи и Шотландіи связи съ Адамомъ Смитомъ, Фергюсономъ, Робертсономъ, Блэромъ, столь же свѣжія свѣдѣнія приходили и изъ англійскихъ культурныхъ слоевъ). Стародавніе пѣвцы былинъ часто брали для своихъ пѣсенъ „на-

---

[1]) Бильбасовъ. Исторія Екатерины второй. Спб. 1890, I, 296—301.

игрышъ" изъ Константинополя, и только „съигрышъ" изъ Кіева,—подобный же примѣръ видимъ повтореннымъ и въ дѣятельности Екатерины. Наигрышъ давала современная Франція; Вольтеръ, энциклопедисты, Фридрихъ II раньше насъ провозглашали освободительные принципы или слагали хвалебные гимны новому времени, которые затѣмъ быстро отдавались въ Эрмитажѣ и немногихъ петербургскихъ цивилизованныхъ гостиныхъ;—для русскаго же содержанія или съигрыша служили недуги современнаго русскаго законодательства, бытовыя черты, просившіяся въ сатиру. Откровенныя признанія, не разъ вырывающіяся у самой императрицы,—по поводу „Наказа" она доходитъ до сравненія себя съ „вороной въ павлиньихъ перьяхъ", [1])— подтверждаютъ взглядъ на ея дѣятельность, какъ на постоянную популяризацію чужеземныхъ соціально-литературныхъ движеній, и на собраніе ея сочиненій, какъ на богатую хрестоматію разнообразныхъ отголосковъ запада. Дѣйствительно, внимательный анализъ ея произведеній на каждомъ шагу побуждаетъ искать внѣшняго возбужденія. Наказъ законодательной комиссіи 1767 года естественно долженъ быть поставленъ здѣсь во главѣ, въ особенности если принять въ разсчетъ его первоначальную редакцію, показавшуюся ближайшимъ совѣтникамъ Екатерины настолько радикальною и опасною, что они, запугавъ составительницу страшной книги чуть не крушеніемъ всего государства, убѣдили Екатерину сократить, смягчить, сдѣлать ее возможно безвреднѣе [2]).

Завѣдомо для всѣхъ, даже въ ту пору, Наказъ представлялъ собой искусное сочетаніе гуманныхъ принциповъ, выставленныхъ великими учителями всего тогдашняго поколѣнія: Монтескье, [3]) Вольтеромъ, Локкомъ, Беккаріей; точныя вычисленія спеціалистовъ, изучавшихъ въ наше время „На-

---

[1]) Le corbeau de la fable qui se fit un habit des plumes du paon,—изъ письма Екатерины къ Фридриху.

[2]) „Наказъ" переизданъ былъ недавно г. И. Безгинымъ. Разборъ этого изданія сдѣланъ В. Н. Сторожевымъ („Книговѣдѣніе", 1894).

[3]) Его „Esprit des lois" Екатерина называла своимъ молитвенникомъ и прочитывала по утрамъ—въ видѣ напутствія—нѣсколько страницъ Монтескьё.

казъ“, [1]) показали, что до *ста* статей взято въ него изъ книги Беккаріи о „Преступленіяхъ и наказаніяхъ“, и болѣе *двухсотъ-пятидесяти* изъ „Духа Законовъ“. Европейское значеніе пріобрѣла эта книга уже по необычайности оффиціальнаго заявленія этихъ идей именно въ русской средѣ. Запрещеніе „Наказа“ во Франціи также придало ему не мало притягательной силы. Изреченія любимыхъ философовъ и юристовъ были сгруппированы талантливо, съ проблесками еще молодого энтузіазма, который они возбуждали въ составительницѣ сборника. Она провозглашаетъ, что „Россія есть страна европейская“, и что поэтому ничто живительное и полезное въ Европѣ не должно быть чуждо ей. Идя по слѣдамъ Вольтера, она борется съ клерикализмомъ; объ руку съ нимъ же, защитникомъ гонимыхъ „еретиковъ“, она готова широко понять вѣротерпимость; безпощадная суровость уголовныхъ наказаній, пытокъ, смертной казни, возбуждаетъ въ ученицѣ Беккаріи филантропическое негодованіе; она желала бы исправлять и спасать преступниковъ, а не мучить и казнить ихъ: крѣпостнымъ она какъ будто возвѣщаетъ близкое освобожденіе, а созданіе *третьяго сословія* (въ то время казавшагося необходимымъ противовѣсомъ привилегій высшихъ классовъ, чуть не оплотомъ свободы) озабочиваетъ ее наряду съ французскими политиками. Съ горячностью заявляетъ она свое уваженіе къ человѣческимъ правамъ своихъ подданныхъ и обѣщаніе служить имъ („мы сотворены для нашего народа, а не народъ для насъ“), разъясняетъ, что „вольность есть право все то дѣлати, что законы дозволяютъ“ (глава V, ст. 38), а „равенство всѣхъ гражданъ состоитъ въ томъ, чтобы всѣ подвержены были тѣмъ же законамъ“ (таже глава, ст. 34). Это категорическое изложеніе принциповъ можетъ быть сопоставлено лишь съ такимъ же заявленіемъ Фридриха Великаго, сдѣланнымъ задолго до „Наказа“, при вступленіи короля на престолъ, въ двухъ знаменитыхъ въ свое время книгахъ: „Anti-Machiavel, и Considérations sur l'état actuel du corps politique de l'Europe“.

---

[1]) А. Ѳ. Кистяковскій, „Изложеніе началъ уголовн. права по Наказу“, Кіев. университ. извѣст. 1864 г.

Разладъ между словомъ и дѣломъ, Наказомъ и ближайшею къ нему по времени внутренней политикой, всегда останется характеристической чертой оффиціальной благонамѣренности той поры; его сознавали не одни только свободомыслящіе сторонніе наблюдатели въ родѣ Дидро. Но, даже въ искаженномъ видѣ, съ недомолвками и пропусками, Наказъ сослужилъ большую службу освободительному движенію; всюду, въ дальніе закоулки, онъ занесъ опредѣленно изложенный, скрѣпленный внушительной санкціей, сводъ такихъ основныхъ положеній разумной гражданской жизни, за сочувствіе которымъ еще недавно вырывали ноздри или сѣкли кнутомъ. Практика разошлась съ теоріей, но идеи были заронены, и въ повсемѣстномъ ихъ распространеніи Наказу принадлежитъ значительная роль.

Если въ государственныхъ и личныхъ, семейныхъ заботахъ Екатерины немалое значеніе имѣлъ вопросъ о водвореніи здравыхъ педагогическихъ воззрѣній и созданіи при помощи подростающихъ поколѣній, еще не зараженныхъ пороками и предразсудками старшей генераціи, *новой породы людей*, то взгляды императрицы на воспитаніе—это взгляды Монтаня, Локка, [1]) Дидро, новыхъ нѣмецкихъ педагоговъ. Они развиваются у нея въ разнообразныхъ формахъ, воспитательныхъ инструкціяхъ, правоучительныхъ сказкахъ, обличеніи ложнаго воспитанія, и, какъ эхо, отдаются въ рѣчахъ и проектахъ Бецкаго. Дидро поручается составленіе системы народнаго образованія; заводятся сношенія съ увлекавшимъ тогда всѣ чувствительныя души въ Германіи Базедовомъ, и успѣхъ его знаменитаго *Филантропина*, который долженъ былъ произвести въ широкихъ размѣрахъ опытъ разумнаго воспитанія, живо интересуетъ императрицу; она содѣйствуетъ своимъ взносомъ осуществленію этого опыта, какъ будто собирается даже призвать къ себѣ Базедова и получаетъ отъ него обѣщаніе открыть со временемъ въ честь ея новую школу, Catharineum, откуда бы могли выходить образованныя и нравственныя женщины, стоящія на уровнѣ своего вѣка. [2])

---

[1]) Трактатъ Локка „О воспитаніи дѣтей“ былъ изданъ въ переводѣ Поповскаго еще въ 1760 г.

[2]) Я. К. Гротъ, „Заботы Екатерины II о народномъ образованіи“, Записки академ. наукъ, томъ 36-й, кн. I.

Даже въ вопросѣ о народной школѣ, стоявшемъ на второмъ планѣ въ ряду нововведеній, она не могла, какъ мы уже говорили, обойтись безъ помощи опытныхъ австро-славянскихъ педагоговъ, и усердный, но мало знавшій русскую жизнь Янковичъ де-Миріево нетолько открывалъ школы, но и надѣлялъ ихъ самодѣльными учебниками. [1])

Когда же Екатеринѣ приходилось въ обличительныхъ статьяхъ, комедіяхъ и очеркахъ бичевать невѣжество или варварски-дикое воспитаніе, выводя длинный рядъ безграмотныхъ птиметровъ, съ господиномъ Фирлюфюшковымъ во главѣ, или тупоумныхъ недорослей, процвѣтающихъ подъ заботливымъ покровомъ госпожъ Чудихиныхъ или Ханжахиныхъ,—то и въ этомъ случаѣ, идя по слѣдамъ англійской и нѣмецкой сатирической журналистики, она служила распространенію положительныхъ воспитательныхъ идеаловъ такую же службу, какую Аддисоны, Стили, Рабенеры и Геллерты сослужили идеямъ Локка, Базедова или Кампе, очищая Авгіевы конюшни невѣжества.

Скрывъ свое живое участіе (раскрытое Пекарскимъ) въ первомъ же вліятельномъ сатирическомъ журналѣ прошлаго вѣка, во „Всякой Всячинѣ“, и приблизивъ къ себѣ его редактора, Козицкаго, Екатерина тѣмъ самымъ признала себя вполнѣ солидарною съ направленіемъ этого обличительнаго органа. Программа его была заимствована изъ Аддисонова „Spectator'a“, и самъ Козицкій, много путешествовавшій по Европѣ и близко знакомый съ новымъ литературнымъ движеніемъ, [2]) считалъ особою гордостью указывать время отъ времени въ различныхъ статьяхъ своего журнала на единомысліе его съ западными образцами. И на многочисленныхъ сатирическихъ статьяхъ, принадлежащихъ Екатеринѣ,

---

[1]) А. С. Вороновъ, „Матеріалы для исторіи просвѣщ. въ Россіи въ XVIII вѣкѣ. Ф. И. Янковичъ де-Миріево“, 1858.

[2]) Еще въ „Трудолюбивой Пчелѣ“ Сумарокова, 1759 года, онъ помѣщалъ свои переводы изъ Свифта, напр. „О естествѣ, пользѣ и необходимой потребности войны и ссоры“. Быть можетъ, имъ же переведены были въ Миллеровыхъ Сочиненіяхъ и перевод. къ пользѣ и увесел. служащихъ, 1758, знаменитыя „Письма съ предсказательствами“ Бикерстаффа (Свифта). Переводы изъ Свифта были безсмѣннымъ украшеніемъ русской журналистики прошлаго вѣка. Такъ мы встрѣчаемъ ихъ даже въ позднѣйшихъ новиковскихъ журналахъ, напр. въ Московскомъ Изданіи „Разговоръ Бикерштафа съ своимъ духомъ хранителемъ“.

какъ въ этомъ журналѣ, такъ и въ позднѣйшемъ „Собесѣдникѣ". лежитъ отпечатокъ тѣхъ пріемовъ, которые въ тотъ вѣкъ успѣли стать рутинными у журнальныхъ сатириковъ запада. Различіе лишь въ томъ, что тонъ насмѣшки гораздо мягче, и сама она имѣетъ менѣе опредѣленный характеръ, бичуетъ слабости общечеловѣческія;—недаромъ „Всякая Всячина" подверглась ожесточеннымъ нападкамъ со стороны болѣе радикальной новиковской группы сатирическихъ журналистовъ (Екатерина не разъ сѣтовала поэтому на излишнее размноженіе „сатирическихъ листковъ"). Но вѣдь мы видѣли уже немало примѣровъ, какъ полное жизненныхъ силъ умственное движеніе могло ослабѣть, даже обезличиться въ русской общественной средѣ.

Англійскіе литературные образцы руководили Екатериной не на одномъ только сатирическомъ поприщѣ; ихъ вліяніе замѣтно въ наиболѣе своеобразныхъ ея драматическихъ произведеніяхъ,—въ ея историческихъ и былинныхъ драмахъ. Она признается въ подражаніи Шекспиру, хотя попытки ея кажутся ей слишкомъ слабыми („вольное, но слабое подражаніе Шакеспиру", читаемъ мы даже въ заглавіи передѣланныхъ ею „Виндзорскихъ Кумушекъ"); она учится у него умѣнью превращать историческое прошлое въ живые художественные организмы, высвобождается изъ-подъ классической ферулы, вступая въ борьбу съ „обыкновенными ѳеатральными правилами", —и русская сцена, какъ бы повинуясь указанію Шекспира, населяется отечественными Олегами, Игорями, Рюриками, даже новгородскими богатырями; русская старина оживаетъ на ней, но не затянутая въ сумароковскомъ жеманномъ убранствѣ, а разцвѣченная народными пѣснями, обрядными играми и плясками. Чужой примѣръ научалъ пользоваться національнымъ элементомъ; весь серьезный отдѣлъ драматическихъ произведеній Екатерины сложился подъ этимъ вліяніемъ, тогда какъ для реальности бытовыхъ картинъ въ комедіяхъ ея могъ служить возбуждающимъ примѣромъ неподдѣльный комизмъ „Виндзорскихъ Кумушекъ" (передѣланныхъ ею для русской сцены подъ названіемъ „Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье"), этой единственной истинно *англійской* бытовой пьесы, рѣзко выдѣ-

ляющейся изъ комическихъ произведеній Шекспира. Мы не станемъ останавливаться на обычныхъ указаніяхъ важности этой ранней оцѣнки шекспировскаго генія. О необходимости сближенія съ шекспировскимъ театромъ (которое облегчили переводы, французскій—г-жи Дасье, и нѣмецкій—Каспара Борка) давно (въ тридцатыхъ годахъ прошлаго вѣка) уже говорили французскіе англоманы, аббатъ Прево въ своемъ журналѣ „Pour et Contre", Вольтеръ въ своихъ „Философскихъ письмахъ",—говорила новая нѣмецкая критика, талантливый предшественникъ Лессинга, Іоганнъ-Эліасъ Шлегель (въ 1741, въ своей параллели между Андреемъ Грифіусомъ и Шекспиромъ: Vergleichung von Andreas Gryphius mit Schakspeare), Николаи, даже вожди швейцарской школы, наконецъ самъ Лессингъ, проповѣдовавшій шекспироманію почти за двадцать пять лѣтъ до появленія первыхъ екатерининскихъ пьесъ, внушенныхъ Шекспиромъ. Наконецъ (не говоря уже о томъ, что „Гамлетъ", хотя и перепначенный Сумароковымъ, написанъ былъ еще въ 1747 г.) въ Россіи первый переводъ изъ Шекспира (именно отрывокъ изъ „Ромео и Юліи") появился за четырнадцать лѣтъ до этихъ пьесъ (въ новиковскихъ „Вечерахъ" 1772 года), и сами онѣ почти одновременны съ карамзинскимъ „Юліемъ Цезаремъ". [1]) Для насъ въ данномъ случаѣ не столько важна возможность признать за Екатериной честь открытія цѣлаго невѣдомаго міра, сколько важенъ фактъ оживленія ея драматургической дѣятельности подъ вліяніемъ западной стихіи.

Такимъ образомъ и въ публицистическихъ работахъ, и въ педагогическихъ своихъ взглядахъ, какъ обличительная писательница и какъ авторъ историческихъ драмъ и бытовыхъ комедій, Екатерина оставалась вѣрною указаніямъ европейскихъ образцовъ, и если ей выпала, по мнѣнію ближайшаго потомства, не только роль плодовитаго и благонамѣреннаго литератора, но и значеніе руководящаго вождя, то этимъ она обязана именно сильной поддержкѣ со стороны западной литературы. Чѣмъ раньше застаемъ мы ее съ пе-

---

[1]) Напеч. въ Москвѣ, 1786; перев. „Ричарда III" изданъ былъ въ 1783 въ Нижнемъ-Новгородѣ"; монологъ „Быть или не быть" впервые переведенъ былъ, какъ говоритъ Новиковъ, И. И. Шуваловымъ.

ромъ въ рукахъ, когда живы ея связи съ этой литературой, тѣмъ содержательнѣе ея произведенія, тѣмъ полнѣе отражаются въ нихъ важнѣйшіе вопросы, волнующіе современность, тѣмъ живѣе сказывается реформаторскій порывъ; въ ту пору ей настойчиво хотѣлось какъ можно болѣе пересадить къ намъ полезныхъ сочиненій,—и, не довольствуясь своей ролью популяризатора западной мысли, она создала было цѣлое Общество переводчиковъ, въ рядахъ котораго видимъ даже Радищева. Возьмемъ ли мы вслѣдъ затѣмъ работы ея послѣдней поры, когда даже воспоминаніе о прежнемъ энтузіазмѣ постепенно задергивалось густою пеленой, она довольствуется безсодержательными бездѣлками, повтореніемъ старыхъ обличительныхъ темъ, мелкими выходками противъ придворныхъ чудаковъ (наприм. Нарышкина), пародіями на Густава III, [1]) превращавшагося нѣсколько разъ въ ея сочиненіяхъ и письмахъ изъ друга въ балаганнаго шута и, наконецъ, въ усерднаго союзника, презрительными обличеніями такихъ книгъ о современной Россіи, какъ описаніе путешествія аббата Шаппа, далеко не лишенное правдивыхъ и цѣнныхъ наблюденій. Наконецъ, она почти совсѣмъ отрекается отъ служенія литературѣ, — и тогда ея двигатели, богобоязненный филантропъ Новиковъ, умѣренный, хотя и бойкій па языкъ Фонвизинъ, идеалистъ Карамзинъ,—кажутся ей опаснѣйшими вольнодумцами.

Автора „Бригадира“ и „Недоросля“ мы привыкли считать оригинальнымъ сатирикомъ. Человѣкъ, сумѣвшій живьемъ перенести на сцену помѣщичью и городскую среду своего времени, коснуться самыхъ больныхъ мѣстъ общества и привить комедіи непринужденную реальность,—проникавшійся съ годами нетерпимою національною гордостью и осыпавшій незаслуженною бранью лучшихъ людей и наиболѣе свѣтлыя стороны современной Европы, дѣйствительно долженъ бы, казалось, обладать большою самостоятельностью. Но, чтобъ провѣрить степень оригинальности его пріемовъ, стоитъ со-

[1]) Густавъ III не остался въ долгу; въ числѣ его произведеній есть полная юмора комедія изъ русской жизни „Alexis Mikhaïlowitch“. Levertin, Gustaf III som dramatisk foerfattere (Les oeuvres dramatiques de Gustave III.) P. 1895.

брать воедино различныя разоблаченія сдѣланныхъ имъ заимствованій; рядъ указаній на нихъ, начинающійся еще съ двадцатыхъ годовъ, [1]) особенно обогащенъ былъ изслѣдованіемъ кн. Вяземскаго, [2]) и какъ увидитъ читатель, не перестаетъ разростаться и до сихъ поръ. Цѣлыми періодами черпалъ Фонвизинъ свои „наблюденія“ надъ соціальнымъ положеніемъ современной Франціи изъ книги Дюкло: „Considérations sur les moeurs de ce siècle“, 1752 года, изъ посредственной статейки нѣмецкаго журнала „Literatur und Völkerkunde“, отчасти изъ „Философскихъ мыслей“ Дидро. Лабрюйеръ, Дюкло, Дюфрени, Вольтеръ, Ларошфуко, даже невинный словарь синонимовъ Жирара подверглись такому же опустошительному набѣгу для „Недоросля“, и спивная работа вставлена именно тамъ, гдѣ читатель всего скорѣе ожидаетъ оригинальныхъ комическихъ штриховъ, наприм., въ экзаменѣ Митрофанушки изъ географіи, гдѣ извѣстный отвѣтъ Простаковой взятъ изъ вольтеровской повѣсти (Jeannot et Colin). Въ „Выборѣ гувернера“ одна изъ остроумнѣйшихъ выходокъ взята изъ размышленій Ла-Бомелля; „Коріонъ“ переложенъ на русскіе нравы изъ Грессе. Къ этому длинному списку мы прибавимъ съ своей стороны высказанную уже нами выше догадку о возможности вліянія на созданіе „Бригадира“ (и въ особенности на обрисовку характера Иванушки) комедіи Гольберга, Jean de France, [1]) и затѣмъ ука-

[1]) Вѣстн. Европы, 1829, № 15.

[2]) 1847; вновь перепечат. въ пятомъ томѣ Собранія сочиненій кн. Вяземскаго, изд. гр. Шереметева, 1880.

[3]) Въ содержаніи и нѣкоторыхъ подробностяхъ обѣихъ пьесъ много точекъ соприкосновенія. У Гольберга (см., наприм., современный ему нѣмецкій переводъ его пьесы въ „Dänische Schaubühne, geschrieben von dem Freiherrn Ludw. v. Holberg“, Copenhagen, 1756, томъ четвертый) точно также являются два старика, между собою рѣшившіе поженить своихъ дѣтей; дочь одного изъ нихъ въ ужасѣ отъ перспективы выйти замужъ за вертопраха, побывавшаго въ Парижѣ, и сама любитъ молодого человѣка, котораго до поры, до времени ея отецъ чуждается (эта блѣдная личность, соотвѣтствующая Добролюбову русской пьесы, и называется весьма сходно съ нимъ, по-нѣмецки *Liebhold*). Навязанный ей женихъ былъ въ Парижѣ всего пятнадцать недѣль, но считаетъ себя настоящимъ парижаниномъ, сыплетъ французскими фразами (наприм., je m'en moque, что говоритъ и Иванушка, вызывая отвѣтъ отца: „что это за манмокъ?“) и ругательствами. Мать отъ него въ восторгѣ, хотя, какъ и бригадирша, подчасъ ничего не понимаетъ изъ его словъ. Отца онъ не слушается, съ будущимъ тестемъ затѣваетъ ссору, даже драку; подобно Иванушкѣ, онъ не хочетъ признавать повиновенія старшимъ и находитъ, что

жемъ на новый, совершенно случайно бросившійся въ глаза примѣръ явнаго плагіата: одно изъ украшеній сатирическаго журнала „Стародумъ или другъ честныхъ людей", задуманнаго Фонвизинымъ въ годы его размолвки съ Екатериной и потому неразрѣшеннаго администраціей, — Переписка между дѣдиловскимъ помѣщикомъ Дурыкинымъ и Стародумомъ о прінсканіи учителя для помѣщичьихъ дѣтей,—въ главныхъ своихъ чертахъ, и даже во многихъ выраженіяхъ, взято изъ „Сборника сатирическихъ сочиненій" любимаго въ прошломъ вѣкѣ нѣмецкаго сатирика Рабенера, [1]) съ передѣлкой именъ

„если старые люди впадаютъ въ дѣтство, то съ ними обращаться нужно, какъ съ дѣтьми". Родителей онъ старается выставить въ смѣшномъ видѣ; мать заставляетъ танцовать минуэтъ, а отца пѣть (въ Бригадирѣ, IV, 4,—„матушка, пропойте-ка вы намъ какой-нибудь эръ"). Его сопровождаетъ слуга, который вмѣстѣ съ субреткой Дорой и ея товарищемъ Михелемъ являются, на первый взглядъ, лишними въ датской пьесѣ сравнительно съ русскою; однако, въ той роли, которую должна играть Дора. есть опять точки соприкосновенія. У Гольберга, правда, нѣтъ прямого *pendant* къ совѣтницѣ, но взамѣнъ ея введенъ очень сходный пріемъ. Субретка, желая помочь своей барышнѣ, переряживается и выдаетъ себя за madame La Flèche, только что пріѣхавшую изъ Парижа, слѣдомъ за своимъ милымъ Жаномъ. Хотя онъ никогда не видалъ ея, это льститъ его самолюбію, онъ быстро влюбляется, — и такимъ образомъ мы получаемъ какъ-бы отдаленный первообразъ любовныхъ сценъ между Иванушкой и совѣтницей. Въ рѣчахъ субретки такъ-же осмѣянъ жаргонъ тогдашнихъ модныхъ щеголихъ, влюбленный съ такимъ же ужасомъ признается въ своемъ отвращеніи къ ожидающему его браку, такъ-же мечтаетъ бѣжать съ дамой своего сердца въ Парижъ и т. д., какъ Иванушка. Можно было бы привести еще нѣсколько мелкихъ образчиковъ сходства (наприм., въ обѣихъ пьесахъ одинъ изъ стариковъ обращается съ другимъ покровительственно, какъ-бы снисходя къ нему; у Гольберга онъ, по старому обычаю, говоритъ съ нимъ въ третьемъ лицѣ,— въ „Бригадирѣ": „я началъ уже со всѣми вами обходиться безъ чиновъ", I, 1),— но достаточно и *общаго* сходства. Указывая на него, мы тѣмъ не менѣе признаемъ у Фонвизина большія отклоненія отъ первообраза, много оригинальныхъ и остроумныхъ чертъ, и въ особенности значительную близость къ русской дѣйствительности (въ разсказахъ бригадира и его жены о военномъ бытѣ, совѣтника о старомъ судействѣ). Русская пьеса вообще гораздо бойчѣе, но зато рѣзче впадаетъ въ каррикатурность. — Въ письмахъ Фонвизина есть указаніе на близкое знакомство съ датской комедіей: „по крайней мѣрѣ не могутъ мнѣ импозировать наши *Jean France*", писалъ онъ сестрѣ въ апрѣлѣ 1778 года.— Относительно возможности вліянія Гольберга на пьесу Фонвизина была, какъ мы узнали уже послѣ напечатанія нашихъ статей въ „Вѣст. Европы", высказана догадка Н. С. Тихонравовымъ въ приготовленномъ къ печати, но не выпущенномъ Словарѣ питомцевъ Московскаго университета. — Подлинная комедія Гольберга была переведена по-русски И. Елагинымъ („Французъ русской"), потомъ передѣлана Хвостовымъ, подъ названіемъ „Русскій Парижанецъ" (при чемъ главное дѣйствующее лицо получило характерическое имя Франколюба).

[1]) Sammlung satyrischer Schriften, Leipzig, Johann Gottfr. Dycks, 1752, третья часть, стр. 10—25. Мы имѣемъ въ виду двѣ статьи: 1) Schreiben eines von Adel an einen Professor, in welchem einen guten Hofmeister zu wählen gebeten, und gesagt wird, was man von ihm für Fähigkeiten verlange и 2)

на русскій ладъ,—и все это несмотря на категорическое заявленіе Фонвизина въ предисловіи къ своему журналу, гдѣ говорится прямо, что „переводы изъ сего періодическаго творенія вовсе исключаются“, что „ни одно сочиненіе, гдѣ нибудь напечатанное, въ сей книгѣ мѣста имѣть не можетъ, словомъ, что *всѣ сочиненія будутъ совсѣмъ новыя*“. И притомъ именно тѣ черты сатирической картины, которыя мы склонны были бы считать отпечаткомъ русской дѣйствительности,—домашняя обстановка помѣщика, лакейство набивающихся къ нему учителей, ироническія замѣчанія насчетъ новой странной моды учить русскихъ дѣтей по-русски,—все это оказывается точнымъ оттискомъ съ нѣмецкой сатиры, рисовавшей прямо съ натуры... Если же мы къ этимъ *скрытымъ* займамъ прибавимъ многое множество *явныхъ* переводовъ и переложеній, сдѣланныхъ Фонвизиномъ изъ разнообразнѣйшихъ писателей, изъ Гольберга, Гесснера, Битобе, Арно, Буасси, Вольтера [1]) и т. д., и съ полной достовѣрностью предположимъ, что остающіяся еще не напеча-

---

Antwort des Professors, nebst zwo Taxen von einem geschickten und eilf ungeschickten Hofmeistern. Обѣ статьи значительно сокращены (такъ изъ одиннадцати экземпляровъ плохихъ учителей оставлено пять). Вотъ нѣсколько мѣстъ для сличенія: „Цезуркивъ, ремесломъ піита, желаетъ также имѣть мѣсто у г. Дурыкина... обѣщаетъ каждый разъ для именинъ его превосходительства сводить въ стихахъ своихъ всѣхъ боговъ съ Олимпа, проситъ по копѣйкѣ за стихъ, да къ святкамъ кафтана съ плеча его превосход., хотя и довольно поношеннаго. Онъ весьма забавнаго нрава и шутитъ такъ умно, что въ домѣ дурака не надо: ни на кого не сердится, развѣ только кто стихи его похулитъ. (N. seines Handwerks ein Poet, erbietet sich ohne Besoldung zu dienen, wenn ihm für eine jede Gratulation von zweihundert Versen baar vier Groschen gegeben werden... Er verlangt alle Weihnachten ein abgesetztes Kleid, es mag so alt seyn, als es wolle... Er ist auch witzig, und satyrisch, man möchte sich vor Lachen ausschütten. Böse wird er nicht leicht, man muszte denn seine Verse tadeln).—„Господинъ Кераксинъ знаетъ по гречески, по еврейски, но не знаетъ по русски, что, кажется, для дѣтей его превосход. и не нужно. Нынѣ, къ сожалѣнію, многіе изъ русскихъ дворянъ хотятъ дѣтей своихъ учить по русски“. (N. N. redet lateinisch und griechisch, kann aber kein Deutsch. Desto besser schickt er sich zu einem Informator in ein adliches Haus. Es ist ewig zu bejammern, dasz man itzt anfangen will.. von dem Adel zu verlangen, dasz sie... deutsch lernen sollen). Мелкія черты сходства разбросаны повсюду. Красоткинъ убирается какъ кукла, берется причесывать дѣтей, выводитъ пятна, вскружилъ голову женѣ профессора (geputzt wie eine Puppe, erbietet sich die junge Herrschaft zu frisieren, macht Dintenflecke aus der Wäsche, gefällt meiner Frau).

[1]) Новые варіанты къ переводамъ *Альзиры* и *Sidney* (Коріона) — въ „Матеріалахъ для полнаго собр. сочин. Фонвизина“, посмертномъ трудѣ Н. С. Тихонравова, 1894.

танными или же не отысканныя политическія разсужденія Фонвизина (о вольности французскаго дворянства и о пользѣ третьяго чина, [1]) и политическій меморандумъ для Павла Петровича) были также построены по иностраннымъ образцамъ, съ частыми переводами изъ нихъ, подобно дошедшему до насъ „разсужденію о торгующемъ дворянствѣ“ (перев. изъ книги аббата Coyer), то получимъ точку зрѣнія на нашего писателя, весьма отличающуюся отъ общепринятой. Богато одаренный отъ природы, но непостоянный и легкомысленный, плохо образованный и потому способный въ лучшіе свои годы (по мѣткому выраженію Вяземскаго) „только-что не гласнымъ образомъ, а отрицательными умствованіями *проповѣдывать выгоду невѣжества*“, и осыпать въ своихъ заграничныхъ письмахъ бранью лучшихъ мыслителей Европы, этотъ человѣкъ былъ обязанъ западному вліянію вообще и порожденному имъ въ Россіи обновляющему движенію лучшими сторонами своей писательской дѣятельности, всею программой своихъ сатирическихъ нападокъ. Осмѣивая фальшивое французское воспитаніе, онъ шелъ по пути, проложенному до него; добиваясь поднятія нравственнаго достоинства человѣка независимо отъ усиленія образованности, [2]) онъ раздѣлялъ иллюзію западныхъ филантроповъ своего времени; испещряя своего „Недоросля“ упованіями на вмѣшательство власти, онъ вторилъ господствующей теоріи о „просвѣщенномъ деспотизмѣ“, въ

[1]) Было высказано предположеніе, что напечатанное въ Архивѣ кн. Воронцова, т. XXVI, с. 315—324, безыменное „Краткое изъясненіе о вольности франц. дворянства и о пользѣ третьяго чина“ принадлежитъ Фонвизину (В. И. Семевскій, Крестьян. вопросъ въ Рос. и т. д., I, 172). Главные выводы этого трактата: „въ Россіи надлежитъ быть, 1) дворянству совсѣмъ вольному, 2) третьему чину совсѣмъ освобожденному и 3) народу упражняющемуся въ земледѣльствѣ, хотя не совсѣмъ свободному, но по крайней мѣрѣ имѣющему надежду быть вольнымъ, когда будутъ они такими земледѣльцами или такими художниками, чтобы со временемъ привести въ совершенство деревни или мануфактуры господъ“.

[2]) Замѣтимъ кстати, что резонеры, которыхъ онъ дѣлалъ глашатаями своихъ положительныхъ взглядовъ, отживали тогда свой вѣкъ на западѣ, откуда онъ ихъ взялъ, и что надъ стародумами тамъ уже смѣялись. „Человѣкъ можетъ быть развитъ и не говорить сентенціями, замѣчалъ еще Spectator (1712, № 4), — точно также онъ доказываетъ своими движеніями, что умѣетъ танцовать, хотя и не дѣлаетъ постоянно антраша“.—Пристрастіе Фонвизина къ сценической проповѣди при посредствѣ резонеровъ, по всей вѣроятности, развилось подъ вліяніемъ Гольберга, которому онъ такъ много былъ обязанъ. На обиліе добродѣтельныхъ лицъ у „датскаго Мольера“, какъ на отличительную его черту, указываетъ Брандесъ въ своей книгѣ „Ludwig Holberg und seine Zeitgenossen“, 1885, 128.

недошедшемъ до насъ проектѣ преобразованій, составленномъ имъ во вкусѣ панинскаго оппозиціоннаго кружка, требовалъ коренного измѣненія русскаго строя, введенія самоуправленія и постепеннаго освобожденія крестьянъ, и опирался на практику шведскихъ государственныхъ учрежденій; [1]) даже въ мелочахъ, какъ мы сейчасъ видѣли, онъ часто не позволялъ себѣ отступать отъ чужихъ указаній и, чтобъ бороться съ русскими Цезуркиными и Красоткиными, спрашивался у нѣмцевъ. Степень оригинальности его творчества значительно понижается, и несомнѣннымъ его достояніемъ остается бойкій, неистощимо насмѣшливый умъ (способный невзначай создать истинно-трагическій характеръ Простаковой), искреннее стремленіе къ роли обличителя, стража общественной совѣсти, [2]) много наблюдательности и еще болѣе пересмѣшничанья, не отступающаго ни передъ какими излишествами, способнаго даже издѣваться надъ тѣмъ, что создало его, какъ писателя, и вложило въ его созданія живую душу...

Сопоставляя съ Фонвизинымъ его заклятаго соперника Лукина, мы не можемъ не признать, что послѣдній, безмѣрно уступая ему въ талантливости, превосходилъ его добросовѣстностью пріемовъ. Дарованій у него было мало, любовь къ театру была большая; чутье необходимости національной сцены, понятной простому, необразованному народу, не давало ему покоя,—онъ пошелъ въ науку къ французамъ и, не смущаясь презрительными отзывами корифеевъ литературы и журнальныхъ рецензентовъ (даже критиковъ и авторовъ стихотворныхъ пародій въ новиковскомъ *Трутнѣ*) о его работѣ, принялся за драматическія передѣлки, видя въ нихъ переходную ступень къ оригинальному творчеству. Пьесы Детуша, Реньяра, Кампистрона, Буасси, превращаются подъ его руками въ картинки русскихъ нравовъ, иногда довольно удачныя. Соревнованіе съ французскими авторами укрѣп-

---

[1]) Объ этомъ проектѣ свѣдѣнія сообщены въ запискахъ М. Фонвизина, Русская Старина, 1884.

[2]) „Таковая свобода, каковою нынѣ пользуется Россія, говорилъ онъ, поставляетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага“... „Писатели имѣютъ долгъ возвысить громкій голосъ противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству“ и т. д.

ляло въ немъ рѣшимость добиться созданія самобытнаго русскаго репертуара. Онъ старался пока обрусить передѣлываемыя пьесы, вводилъ въ нихъ бытовыя сценки, и въ своихъ предисловіяхъ горячо и искренно защищалъ свою завѣтную идею. Этотъ ученикъ французовъ выучился у нихъ любить свое родное, [1]) и его пророческое предсказаніе о великой пользѣ *народнаго* театра, „сего для народа весьма полезнаго и потому великія похвалы достойнаго упражненія", которое современемъ „произведетъ у насъ и зрителей, и писцовъ" (т. е. драматурговъ), до сихъ поръ, несмотря на нѣсколько попытокъ устройства постоянныхъ народныхъ сценъ и усиливающееся за послѣдніе годы движеніе въ пользу этого вопроса, остается благимъ пожеланіемъ. [2]) Скромная дѣятельность Лукина производитъ поэтому симпатичное впечатлѣніе, хотя (за исключеніемъ его *Мота*, драматизованнаго эпизода изъ жизни автора, впрочемъ, не безъ подражанія *Dissipateur'у* Детуша) она сводилась на переработку чужого матеріала; слишкомъ очевидно, что онъ искалъ готовыхъ и испытанныхъ рамокъ, въ которыя могло бы войти русское бытовое содержаніе.

Совершенно такъ-же смотрѣли на этотъ вопросъ многіе изъ нашихъ сатирическихъ журналистовъ прошлаго вѣка. Въ ту пору передъ ними и ихъ западными собратьями возносился увлекательный успѣхъ англійской журнальной сатиры; подражать ей стремились всѣ. Нѣмецкая правоучительная журналистика возникла подъ вліяніемъ Стиля и Аддисона. Первый нѣмецкій журналъ этого рода „Der Vernünftler" (выходилъ въ 1713—14 г. въ Гамбургѣ) снабженъ былъ впослѣдствіи, въ изданіи отдѣльною книгой, откровеннымъ при-

---

[1]) Его идеаломъ всегда оставалась самостоятельная русская комедія. „Французы, англичане, нѣмцы и прочіе народы, театры имѣющіе, держатся всегда своихъ образцовъ, коихъ они и изображаютъ, а чужихъ изрѣдка, да и то побочно вводятъ; для чего же намъ не своихъ держаться?" (Предисловіе къ „Награжденному постоянству". Соч. Лукина, изд. Ефремова, стр. 116).

[1]) Въ высоко интересной секціи, посвященной народному театру на выставкѣ московскаго комитета грамотности во время всероссійскаго сельскохоз. съѣзда 1895 г., можно было видѣть карту Европейской Россіи съ обозначеніемъ на ней тѣхъ городовъ и деревень, въ которыхъ временно или постоянно существуютъ народныя сцены. За послѣднія 25 лѣтъ довольно значителенъ успѣхъ движенія, хотя большія пространства, особенно замѣтныя на картѣ, остаются въ сторонѣ отъ него; если же вспомнить, что пожеланія Лукина высказаны были почти полтора вѣка назадъ, прогрессъ покажется черепашьимъ.

знаніемъ, что онъ просто „ein deutscher Auszug aus den engländischen Moral-Schriften des Tatler und Spectator". [1]) Къ 1760 году въ Германіи насчитывали 180 подражаній „Зрителю". Лессингъ разсказывалъ о своемъ другѣ Миліусѣ, много работавшемъ въ журналахъ, что часто приходилось заставать его за писаніемъ сатирической статейки, причемъ онъ обложенъ былъ англійскими книжками, развернутыми на самыхъ удачныхъ страницахъ. Бесѣдуя съ нѣмецкимъ читателемъ о нѣмецкихъ же домашнихъ дѣлахъ, Миліусъ сначала прочитывалъ подходящую къ случаю статью изъ Spectator'a или Tatler'a и затѣмъ развивалъ свою мысль по готовому шаблону; главныя темы осмѣянія были указаны и повторялись съ небольшими измѣненіями, такъ какъ задачи, преслѣдуемыя приверженцами просвѣтительнаго направленія, были приблизительно однѣ и тѣ же.

Начиная съ „Journal littéraire", выходившаго въ Гагѣ въ 1713 г. и помѣщавшаго большіе переводы изъ „Зрителя", французская сатирическая журналистика, въ особенности „Spectateur français" Мариво, также шла на буксирѣ за англійскою,—и въ своемъ „Siècle de Louis XIV" Вольтеръ, опираясь на факты, призналъ, что „писательскіе пріемы Аддисона—превосходный образецъ для всѣхъ странъ".

То же явленіе повторилось у насъ. Если иные журналы, какъ напр. „Полезное съ пріятнымъ" (1769) и „Смѣсь" жили главнымъ образомъ переводами и переложеніями, то другіе, болѣе самостоятельные, все же научались на иностранныхъ образцахъ, какъ искуснѣе и бойчѣе осмѣивать домашнія уродства. Бойко написанный очеркъ замоскворѣцкихъ старинныхъ суевѣрій, съ которыми авторъ сталкивается на каждомъ шагу, попадая изъ одной бѣды въ другую (*Всякая всячина*, стр. 17—21), имѣетъ всѣ признаки рисунка съ натуры,—а между тѣмъ онъ расположенъ по канвѣ такого же разсказа въ англійскомъ „Зрителѣ" (I, № 7) и такъ искусно приближенъ къ русскимъ нравамъ, что читается съ удовольствіемъ, какъ вполнѣ оригинальное произведеніе. [2])

---

[1]) K. Jacoby. Die ersten moralischen Wochenschriften Hamburgs am Anfange des 18. Jahrh. 1888.

[2]) Вѣроятно, первымъ у насъ переводомъ изъ „Spectator'a" слѣдуетъ счесть

Вообще сатира екатерининской „Всячины“ почти исключительно пробавлялась обрусѣніемъ аддисоновскаго юмора, столь ловко производившимся, что и во время полемики съ нею противники не попрекнули ее развязностью литературныхъ пріемовъ. [1]) Англійскіе образцы дали намъ, кромѣ того, разнородныя формы сатирическихъ статей: у насъ завелась въ журналахъ комическая переписка щеголей и щеголихъ, дневники провинціала въ столицѣ, личныя обращенія отъ издателя къ публикѣ или вымышленныя посланія ея къ нему, попытки беллетристическихъ набросковъ и характеристикъ въ родѣ знаменитыхъ аддисоновскихъ созданій,—стараго баронета Роджера де-Коверлэй съ его друзьями, Андрью Фрипортомъ, Уиллемъ Гоникомбомъ и т. д.,—обезпечившихъ „Зрителю“ вліяніе на развитіе англійскаго романа. Но не только въ транскрипціяхъ и передѣлкахъ (несовсѣмъ чуждыхъ и новиковскимъ журналамъ) выражалось тѣсное общеніе съ образцами. Большинство нашихъ журналистовъ прошлаго вѣка старалось итти въ ногу съ англійскими своими собратьями въ преслѣдованіи задачъ сатиры *общечеловѣческой*; по примѣру Аддисона, они также научали гуманности, осмѣивали варварское воспитаніе, рисовали портреты невѣжественныхъ педагоговъ, суевѣрныхъ ханжей, судей-взяточниковъ. Своихъ, кровно-*русскихъ* недуговъ они рѣдко осмѣливались касаться,— и эта робость давно поставлена имъ была въ вину Добролюбовымъ [1]); они въ состояніи были съ увлеченіемъ отдаваться литературной перебранкѣ, въ то время какъ отовсюду выступали передъ ними жгучіе вопросы: крестьянское рабство, чиновничье хищничество, гнетъ сословности. Но это

хранящійся въ рукописи въ библіотекѣ Академіи Наукъ, fol. 138, переводъ „Изъ книги называемыя Спектаторъ (смотритель) сравненіе между Людовикомъ XIV и Петромъ Алексѣевичемъ, росс. Императоромъ, въ разсужденіи славы“, принадлежащій перу Тредьяковскаго. Пекарскій, Истор. Ак. Наукъ, II, 26. Первое же упоминаніе о журналѣ Аддисона встрѣтилось намъ подъ 1725 г. въ упомянутомъ уже дневникѣ Петра Апостола, Кіевск. Старина 1895, VII, 126; затѣмъ въ Примѣчан. къ Спб. Вѣдомостямъ 1729 года перечислены „моральческіе понедѣльные письма“, и въ числѣ ихъ Аспектаторъ.

[1]) Указаніе на обильныя заимствованія „Всячины“, сдѣланное въ первомъ изданіи настоящей книги, развито и подкрѣплено было впослѣдствіи В. Солнцевымъ, „Всякая Всячина и Спектаторъ“, Спб. 1892.

[2]) Русская сатира въ вѣкъ Екатерины (Современникъ, 1859, X; Собр. Соч. Доброл., I).

воздержаніе отъ злобы дня не всегда было добровольнымъ,— и въ ту же взятую съ запада журнальную рамку публицистъ съ силой воли и выдержкою Новикова, рѣшившійся выйти изъ круга общихъ сатирическихъ темъ, терпимыхъ и узаконенныхъ примѣромъ Екатерины, ввелъ подлинную дѣйствительность со всѣми ея запросами и нуждами. Его „Живописецъ", по заглавію уже напоминающій такія изданія, какъ „Discurse der Maler",[1]) „Der Maler der Sitten" и т. д., требовалъ простора для просвѣщенія народа, „ибо науки любятъ свободу, и тамъ болѣе распространяются, гдѣ свободнѣе мыслятъ". Крестьянскій вопросъ получилъ въ его журналахъ выдающееся значеніе; наряду съ знаменитыми (быть можетъ, принадлежавшими перу самого Новикова) „Отрывками изъ путешествія" въ деревню, своимъ правдивымъ изображеніемъ положенія крѣпостного люда возбудившими сильное недовольство, журналы Новикова проводили поучительныя параллели съ болѣе гуманнымъ отношеніемъ къ крестьянству на западѣ, въ Германіи, Англіи. Закрытіе послѣдняго сатирическаго листка Новикова, „Кошелька", вызвано было, говорятъ, жалобою французскаго посла на оскорбленія, будто бы наносимыя чести Франціи, тогда какъ насмѣшка направлена была на уродливыя стороны модной переимчивости и на двусмысленныхъ иностранныхъ авантюристовъ, эксплоатировавшихъ ее,—и это закрытіе сдѣлало для Новикова дальнѣйшую обличительную дѣятельность невозможною. Несмотря на это навсегда удержалась въ немъ склонность къ ней, ярко характеризующая его молодые, свѣжіе годы,—и въ позднѣйшихъ его изданіяхъ слѣды ея постоянно замѣтны. „Письмо Сенеки къ Луцилію о томъ, что должно поступать благосклонно съ рабами", и стихотвореніе „Быль" въ *Вечерней зарѣ* продолжали проповѣдь гуманныхъ отношеній къ крестьянамъ.

Лучшій до сихъ поръ историкъ русской сатирической журналистики, Аѳанасьевъ [2]) имѣлъ право поставить Новикова въ

---

[1]) Журналъ швейцарскихъ противниковъ Готтшеда,—Брейтингера и Бодмера, выходилъ сначала подъ назв. „Discourse der Mahlern" (1721), а впослѣдствіи „Die Mahler oder Discourse von den Sitten der Menschen".

[2]) Русскіе сатирическіе журналы, М. 1859, стр. 183.

образецъ новѣйшимъ народолюбцамъ; онъ, дѣйствительно, „не щадилъ темныхъ сторонъ русскаго быта, ни тѣхъ, какія наслѣдованы отъ до-петровской старины, ни тѣхъ, какія возникли вслѣдствіе слѣпого пристрастія къ чужеземнымъ обычаямъ: нападая на ложь условныхъ приличій и неразборчивость при выборѣ иностранныхъ гувернеровъ, онъ съ чувствомъ полнаго уваженія относился къ европейской наукѣ и ея представителямъ“. Это уваженіе сохранилъ Новиковъ до конца своей общественной дѣятельности; не пройдя правильной школы, не зная ни одного иностраннаго языка и знакомясь съ европейскою мыслью изъ переводовъ и литературныхъ заимствованій, онъ съ большою проницательностью отдѣлялъ существенныя и развивающія начала европейской цивилизаціи отъ мишуры, — и эта тщательная разборчивость замѣтна даже въ тѣ періоды, когда у него какъ будто брала верхъ національная исключительность. Въ „Словарѣ россійскихъ писателей“ Вольтеръ названъ славнымъ европейскимъ писателемъ, и наряду съ нимъ поставлены Дидро, Локкъ, Руссо, Шекспиръ. „Живописецъ“ считаетъ вполнѣ естественнымъ и законнымъ, чтобъ народъ, выходящій изъ тьмы невѣдѣнія и жестокосердія, заимствовалъ свое просвѣщеніе у племенъ культурныхъ. [1]) „Утренній Свѣтъ“ старается воспитывать вкусъ читателей искуснымъ подборомъ произведеній древнихъ и новыхъ европейскихъ авторовъ, и передаетъ изъ „Персидскихъ писемъ“ Монтескье притчу о Троглодитахъ (Ут. Св., часть IV), прославляющую гражданскія доблести, духъ братства и солидарности въ воображаемой „аравійской“ республикѣ. Въ „Московскомъ Изданіи“ 1781 г. переведена изъ Энциклопедіи руководящая статья *о философѣ* (принадлежащая Вольтеру); въ „разговорѣ Аспазіи съ Аристиппомъ“ требуется для женщинъ одинаковое воспитаніе съ мужчинами; „Покоющійся Трудолюбецъ“ высказывается за свободу печати. Эти примѣры, къ которымъ можно бы прибавить не мало однородныхъ, [2]) кажется, вполнѣ подтверждаютъ сознательный европеизмъ Новикова.

---

[1]) Живописецъ, годъ II, стр. 223

[2]) Подробный анализъ содержанія новиковскихъ повременныхъ изданій — въ книгѣ проф. Незеленова „Н. И. Новиковъ, издатель журналовъ“, 1875.

Стѣсненный въ открытомъ служеніи общественному дѣлу, Новиковъ нашелъ исходъ своей отзывчивости къ страданіямъ и нуждамъ людей въ такомъ умственномъ движеніи, которое, придвигаясь къ Россіи съ отдаленной европейской окраины, затопляло тогда своими волнами Францію, Германію, Австрію. Гуманная сторона масонства подѣйствовала на него столь же обаятельно, какъ дѣйствовала она на непримиримо реалистическую натуру Лессинга, предававшагося въ своихъ „Масонскихъ разговорахъ" грезамъ о всемірномъ союзѣ „вольныхъ каменщиковъ" съ цѣлью нравственнаго совершенствованія, на Николаи, Фихте и многихъ другихъ литературныхъ и научныхъ дѣятелей, оставшихся равнодушными къ мистической сторонѣ масонскаго ученія. Съ 1732 года, во всякомъ случаѣ съ 1741 г., когда генералъ Джемсъ Кейтъ, состоявшій въ то время на русской службѣ, впослѣдствіи извѣстный, какъ храбрый сподвижникъ Фридриха Великаго, назначенъ былъ гросмейстеромъ для Россіи, и масонство было организовано у насъ по англійской системѣ,[1])—начинается исторія русскаго масонскаго движенія. Почти всѣ системы и ритуалы, выработавшіеся на западѣ (англійскіе, шотландскіе, нѣмецкіе, французскіе) были съ теченіемъ времени привиты на русской почвѣ; тѣсныя связи заключались дважды съ лондонской Великой Ложей; въ союзѣ нѣмецкихъ масонскихъ обществъ Россія подъ конецъ значилась, какъ подчиненная провинція. Обширная литература, оригинальная и переводная, составленныя въ наше время коллекціи доспѣховъ и утвари, наглядно напоминающія о вѣрованіяхъ и обрядности таинственно привлекательной и необыкновенно живучей средневѣковой секты, готовящейся перейти и въ двадцатое столѣтіе, остались наслѣдіемъ нѣкогда сильнаго возбужденія умовъ, захватившаго собою большую полосу литературной дѣятельности прошлаго вѣка. Оно является однимъ изъ наиболѣе замѣтныхъ результатовъ западнаго вліянія въ ту пору, какъ бы ни были разнородны значеніе составныхъ элементовъ масонства и степень пригодности его для русской жизни.

---

[1]) По мнѣнію нѣкоторыхъ масонскихъ писателей, масонство въ Россіи еще древнѣе и восходитъ будто бы къ петровскому времени, когда Гордонъ и Лефортъ познакомили съ нимъ самого царя.—Русск. Старина, сентябрь, „Къ исторіи масонства въ Россіи", стр. 533—34.

Алхимическія бредни и теософія масоновъ, конечно, кажутся теперь психопатическою забавой, [1]) но въ свое время онѣ удовлетворяли такому же стремленію познать тайны природы, какое въ 16-мъ вѣкѣ вело къ изученію Луцидарія и астрологическихъ альманаховъ, въ 18-мъ вѣкѣ, несмотря на успѣхи естествознанія въ Европѣ, манило къ месмеризму, лабораторно-алхимической пачкотнѣ и общенію съ невидимыми и грозными силами, въ 19-мъ влечетъ къ спиритизму. Этому отклоненію пригодныхъ для общаго дѣла силъ въ дебри мистицизма и суевѣрій должно бы, конечно, противодѣйствовать серьезно поставленное естествознаніе,—но гдѣ искать его слѣдовъ въ русской жизни прошлаго столѣтія?..

Пусть, однако, эта сторона масонства (не безусловно необходимая въ символѣ его вѣры, — такъ какъ современные намъ западные масоны совсѣмъ порвали съ нею) такъ и останется болѣзненнымъ извращеніемъ филантропическаго дѣла, возникшаго когда-то изъ нехитрыхъ рабочихъ союзовъ взаимопомощи и сумѣвшаго широко развить въ себѣ человѣколюбіе. Въ русской жизни прошлаго вѣка успѣхи масонства всегда будутъ цѣнными благодаря этой второй и важнѣйшей, человѣчной его сторонѣ. Если соціально-политическіе запросы родного края, въ силу принципіальнаго воздержанія масоновъ отъ вмѣшательства въ политику, были чужды имъ, то широко понятая забота о помощи *людямъ*, безъ различія національности и общественнаго положенія, помощи нравственной и матеріальной, дружно сплачивающей всѣ силы братства для одной цѣли, раскрывала въ иниціативѣ масонства начало общественной самопомощи, въ которомъ такъ нуждалась страна, слишкомъ привыкшая къ опекѣ. Старый сословно-кастовый строй общества сталъ уступать вліянію уравнивающаго, братскаго духа, отводившаго въ ложѣ равныя права вельможѣ и плебею,—и еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ масонствѣ считалось особою заслугой поддержаніе этой

---

[1]) Любопытный образецъ этихъ бредней представленъ въ статьѣ А. Н. Пыпина, „Homunculus. Эпизодъ изъ алхиміи и изъ исторіи русской литературы“ (Починъ, сборникъ Общ. люб. слов. на 1896 г.),—это, напоминающее извѣстную сцену изъ второй части гетевскаго Фауста, наставленіе, какъ химически, при помощи майской росы, мужской и женской крови и т. д. создать человѣчка.

традиціи братства. [1]) Забвеніе національной розни, которое сближало русскихъ масоновъ съ нѣмецкими, англійскими, впослѣдствіи польскими, и не спрашивало страдающаго или бѣднаго человѣка, какого онъ племени, какой вѣры, не могло не смягчать общепринятыхъ понятій, — хотя дряхлому Новикову едва не пришлось снова вытерпѣть гоненія за то, что въ 1812 году онъ одинаково сердобольно ходилъ за русскими, французами и ихъ союзниками въ бѣдной деревенской больницѣ, при чемъ доносчики обвиняли его чуть не въ измѣнѣ...

Не лишена, конечно, интереса исторія разнообразныхъ сношеній нашего масонства съ западомъ, особенно съ Германіею, посылки делегатовъ на конвентъ въ Вильгельмсбадѣ, основанія и развитія всѣхъ „Астрей", „Пламенѣющихъ звѣздъ", „Нептуновъ", „Трехъ Мечей" и т. д., но, повторяемъ, выше этихъ учащавшихся личныхъ и общихъ сближеній съ западноевропейской жизнью стоитъ въ масонствѣ исторія пропаганды человѣчности, усвоенной въ томъ же источникѣ, широко развитой благодаря энергіи и самоотверженію такихъ людей, какъ Новиковъ и его друзья. Для „простого народа" эти масоны, обязанные быть космополитами, въ лучшемъ смыслѣ слова, являлись спасителями во время голода, учили (еще въ петербургскихъ безплатныхъ школахъ) и лечили его отъ болѣзней, гдѣ могли, давали ему дешевое или совсѣмъ безплатное чтеніе, заступались за свободу его совѣсти (какъ это дѣлалъ впослѣдствіи, при Александрѣ, для духоборцевъ Лопухинъ), хотя бы и не сочувствовали ученію того или другого религіознаго толка. Когда, въ началѣ гоненій на Новикова, онъ посланъ былъ на испытаніе правовѣрія къ архіепископу Платону, и тотъ, побесѣдовавъ съ нимъ, далъ самый сочувственный отзывъ о немъ, какъ истинномъ христіанинѣ и лучшемъ украшеніи паствы, это признаніе нравственнаго достоинства въ человѣкѣ, который въ дѣлахъ догмата и обрядности могъ быть названъ вольнодумцемъ, характеризовало и духъ вѣка, и обоихъ собесѣдниковъ, опаснаго масона и кра-

[1]) Похвалы этому уравнивающему вліянію масонства слышалъ въ Петербургѣ въ 1805 году Рейнбекъ и записалъ ихъ въ своей статьѣ „Die Maurerei im Orient von Russland, въ Zeitschr. f. Freimaurerei", 1829.—Пыпинъ. Русское масонство до Новикова, Вѣстн. Евр. 1868, VI.

снорѣчиваго оратора, часто навлекавшаго на себя опалу Екатерины и, какъ свидѣтельствуетъ человѣкъ, близко его знавшій, [1]) въ келіи своей читавшаго Вольтера, Гельвеція, Руссо...

Многіе изъ масоновъ, даже изъ новиковскихъ друзей, сначала заплатили дань увлеченію модой, ударившись въ скептицизмъ на французскій ладъ. Въ молодые годы Лопухинъ всю усадьбу свою застроилъ различными монументами и фантастическими храмами въ честь Вольтера и Руссо; потомъ, сознавъ, что на этомъ пути они не удовлетворятъ пробудившемуся въ нихъ стремленію къ филантропической и общественной дѣятельности, они сгруппировались подъ покровомъ масонства. Но культурные интересы молодости уберегли многихъ отъ чрезмѣрнаго увлеченія его мистической стороной,— и, создавъ „Дружеское Ученое Общество“ и „Типографическую Компанію“, московскій масонскій кружокъ сталъ вмѣстѣ съ тѣмъ важнымъ общественнымъ и литературнымъ центромъ.

Если передъ судомъ исторіи на одной сторонѣ станутъ наивные русскіе адепты отсталаго берлинскаго розенкрейцерства, перенимавшіе отъ него вмѣстѣ съ различными „теоретическими градусами“ и реакціонное отношеніе къ умственному прогрессу современности, съ другой же московскіе просвѣтители,—незначительный вредъ, принесенный масонами обскурантами екатерининскаго времени, затмится великими заслугами масоновъ-носителей культуры.

Сочувствіе новой европейской литературѣ и наукѣ, въ особенности нѣмецкой, — нерѣдкое явленіе въ избранныхъ, особенно московскихъ, масонскихъ кружкахъ. Трансильванскій нѣмецъ, бывшій гувернеръ Гагариныхъ, Шварцъ, своею неутомимой просвѣтительной дѣятельностью въ московскомъ университетѣ, и руководствомъ издательскою работой обѣихъ новиковскихъ типографскихъ фирмъ является звеномъ между

---

[1]) Графъ Ѳедоръ Головкинъ, въ молодости замѣтное лицо при дворѣ Екатерины, одно время посланникъ въ Неаполѣ, снова выдвинувшійся при Павлѣ, большую часть жизни проведшій за границей, гдѣ и родился (въ Гагѣ). Онъ обладалъ большимъ собраніемъ документовъ, касавшихся прошлаго вѣка. Нѣкоторые изъ нихъ были изданы въ Швейцаріи: Lettres diverses recueillies en Suisse par le comte Fédor Golowkin. Génève, 1821. Характеристика Платона сдѣлана имъ въ неизданныхъ „замѣткахъ“, приведенныхъ впервые въ выдержкахъ изъ рукописи въ статьѣ Lucien Perey, Catherine II et le prince de Ligne, Revue de Paris, 1895, 15 juin.

европейской культурой, русскимъ масонствомъ, молодежью, искавшею настоящей науки, и обществомъ, нуждавшимся въ притокѣ развивающихъ и облагораживающихъ началъ. То знакомя студентовъ (впервые на Руси) съ ученіями Канта, [1]) то вступая въ философскихъ своихъ лекціяхъ въ борьбу съ французскимъ матеріализмомъ, то основывая при университетѣ педагогическую, затѣмъ переводческую семинарію, и Собраніе университетскихъ питомцевъ, читая рядъ полезныхъ общихъ и приватныхъ, домашнихъ курсовъ и дѣйствуя на умъ и вкусъ молодежи, онъ внесъ въ дремотную жизнь университета духъ энергической научной пропаганды; въ выборѣ и направленіи переводной дѣятельности Новикова Шварцу принадлежала, конечно, немалая роль. *Такой* масонъ былъ бы желаннымъ членомъ того идеальнаго братства вольныхъ каменщиковъ, о которомъ мечталъ Лессингъ. Шварцъ поддерживалъ изъ Москвы постоянныя связи съ нѣмецкой литературною жизнью. Эти связи еще болѣе скрѣпились, когда у масоновъ завелся въ лицѣ даровитаго и рано сгубленнаго меланхоліею Кутузова, постоянный агентъ при нѣмецкомъ масонскомъ конвентѣ. Живя въ Берлинѣ, онъ сблизился съ главнѣйшими нѣмецкими поэтами, боготворилъ Клопштока, удивляясь таинственнымъ красотамъ его „Мессіады“, которую перевелъ съ наслажденіемъ, и ставилъ на ряду съ нею развѣ только „Ночи“ Юнга (Night thoughts), также переложенныя имъ по русски. [2]) Когда мы вспомнимъ, что Кутузовъ былъ въ то же время однимъ изъ близкихъ людей къ Радищеву и къ его лейпцигскому кружку, что ему посвящено было радищевское „Путешествіе“, мы увидимъ, какъ могло иногда соприкасаться масонство съ политическимъ западничествомъ въ искреннихъ своихъ стремленіяхъ обновить русскую жизнь.

Стоитъ перечитать длинные списки книгъ, изданныхъ Новиковымъ въ московскій періодъ его дѣятельности, чтобъ убѣдиться, сколько пользы принесла она для поднятія уровня чи-

---

[1]) На это указываетъ, наприм., неизвѣстный авторъ нѣмецкаго письма о русскомъ масонствѣ XVIII вѣка (Русск. Архивъ, 1874, IV)

[2]) Плачъ Юнга или нощныя размышленія о жизни, смерти и безсмертіи, М. 1780.

тающей массы. Десятки специально-масонскихъ заглавій на первый разъ отпугнутъ насъ, но промежъ ихъ длинныхъ рядовъ мы встрѣтимъ переводы цѣлаго ряда классическихъ произведеній всѣхъ народовъ: тутъ и „Юлій Цезарь“ Шекспира, и Лессингова „Эмилія Галотти“, „Потерянный рай“ (распространявшійся, замѣтимъ кстати, еще съ 1745 года въ рукописномъ переводѣ барона А. Г. Строгонова) и „Мессіада“, любимый изстари въ набожной Англіи *Pilgrim's Progress* Джона Бэніана, моральныя произведенія Геллерта, имѣвшія въ свое время сильное вліяніе на умы въ Германіи, аллегорическая повѣсть одного изъ немногихъ политическихъ нѣмецкихъ писателей прошлаго вѣка, Фридриха Карла Мозера „Даніилъ во рвѣ львиномъ“ (Daniel in der Löwengrube), гдѣ въ лицѣ Даніила, смѣлаго совѣтника и обличителя при дворѣ Дарія, изображенъ былъ самоотверженный министръ-реформаторъ, проповѣдникъ просвѣтительныхъ идей. [1]) Книги этого рода вмѣстѣ съ разнообразными періодическими изданіями, съ священнымъ писаніемъ на славянскомъ и даже на нѣмецкомъ языкѣ и т. д. распространялись быстро по всей Россіи. 448 названій книгъ представляютъ собой блестящій итогъ новиковскаго издательства; число типографій, явныхъ, а иногда и тайныхъ, умножалось не только въ Москвѣ и провинціальныхъ городахъ, но и въ большихъ селахъ, и въ книжную торговлю введена была стройная организація, придавшая еще одну рельефную сторону заслугамъ Новикова. Но, если никто не станетъ отрицать у него большой предпріимчивости и издательской энергіи еще въ петербургскую его пору, все-таки несомнѣнно, что главный разцвѣтъ его издательства

---

[1]) Мозеръ знаменитъ своей книгой „Der Herr und der Diener“ (Господинъ и слуга), гдѣ подвергнутъ былъ осужденію обычный въ то время даже въ мелкихъ нѣмецкихъ государствахъ взглядъ правителей на всѣхъ государственныхъ чиновниковъ, какъ на своихъ личныхъ слугъ, и установленъ принципъ ихъ отвѣтственности передъ народомъ. Авторъ поплатился за свои теоріи изгнаніемъ изъ Гессена и долгими годами нужды. Нелицемѣрное служеніе идеѣ передавалось въ его семьѣ изъ поколѣнія въ поколѣніе. Его отецъ, не менѣе знаменитый въ свое время юристъ Іоганнъ Якобъ Мозеръ, за свою книгу о земскомъ самоуправленіи и за порицаніе дѣйствій фаворитовъ при виртембергскомъ дворѣ былъ на шестидесятомъ году брошенъ въ крѣпостную тюрьму и выдержалъ тамъ пять лѣтъ въ самомъ тяжкомъ заточеніи. Разсказы о его судьбѣ возмущали потомъ молодого Шиллера. Minor, Schiller, sein Leben u. seine Werke, 1890, I.

и широкихъ книгопродавческихъ операцій относится къ той порѣ, когда онъ вошелъ въ общеніе съ главными двигателями книжнаго дѣла въ Германіи. Достовѣрно извѣстно, что Шварцъ, еще до пріѣзда въ Россію слышавшій о примѣчательной издательской дѣятельности Новикова, во время поѣздки въ Германію по масонскимъ дѣламъ имѣлъ отъ него порученіе завязать прямыя сношенія съ книжными фирмами и изучить всю постановку дѣла. Это порученіе было исполнено, и главныя связи завязаны были, какъ говорятъ, съ Лейпцигомъ, — что не замедлило отразиться на образцовомъ устройствѣ новиковскаго издательства. Но кромѣ Лейпцига и тогдашнихъ магнатовъ книжнаго дѣла, кажется, можно было бы предположить вліяніе выдвигавшагося тогда новаго нѣмецкаго культурнаго центра, Берлина, и именно первостепеннаго берлинскаго издателя, Николаи. Между Новиковымъ и Николаи, какъ дѣятелями по распространенію книгъ въ народной массѣ, много сходства; въ то же время и писатель, и книгопродавецъ, и журналистъ, основывавшій одно изданіе за другимъ, пока не зародилась его *Всеобщая Нѣмецкая Библіотека*, прожившая цѣлыхъ полъ-столѣтія, онъ такъ же смотрѣлъ съ идеалистической точки зрѣнія на свое дѣло, группировалъ около себя молодые таланты, интересовался образовательной пропагандой и шелъ долго объ руку съ Лессингомъ и Мендельсономъ. Знать объ оживленной дѣятельности этого настойчиваго, энергическаго человѣка было легко Новикову (кромѣ общихъ связей съ Германіей) благодаря Кутузову, — и врядъ ли мы ошибемся, приписавъ этому ободряющему примѣру извѣстную долю вліянія на широкій размахъ новиковской предпріимчивости.

Только полное непониманіе основныхъ принциповъ масонства могло навязывать ему политическую программу и смѣшивать его представителей, мартинистовъ и, въ особенности, розенкрейцеровъ съ убѣжденными сторонниками политическаго прогресса и радикальныхъ общественныхъ реформъ. Если трудно разграничить въ прошломъ столѣтіи опредѣленныя литературныя направленія и партіи, такъ что изслѣдователь, поставившій это себѣ цѣлью, потративъ много усилій

на обособленную характеристику ихъ, призналъ въ концѣ своей книги, что направленія тогда „нетолько шли параллельно, но и сталкивались между собою, иногда — враждебно, чаще— сближаясь и даже сливаясь одно съ другимъ“, и что „одни и тѣ же писатели совмѣщали въ своихъ произведеніяхъ разныя начала“, [1]) то всего замѣтнѣе, конечно, раздѣльная линія между масонами и прогрессистами-политиками. Сознаніе, что дольше жить въ старомъ порядкѣ съ его несправедливостями, произволомъ, загрубѣлостью, нельзя,—общая отправная точка для тѣхъ и другихъ, но одни искренно убѣждены, что путь къ разумному и справедливому строю заключается только въ нравственномъ совершенствованіи, другіе видятъ его столько же и въ коренныхъ преобразованіяхъ и улучшеніяхъ гражданскаго быта, экономическихъ условій, въ свободѣ науки. И тѣ, и другіе искали поддержки у западной мысли, но для прогрессистовъ восьмидесятыхъ годовъ авторитетами являлись уже не предтечи общественнаго движенія 18-го вѣка, Вольтеръ, Монтескье, открывшіе новые горизонты для предшествующаго поколѣнія русскихъ интеллигентныхъ людей, но Гельвецій, Мабли, Руссо и послѣдовавшая за нимъ школа проповѣдниковъ глубокаго переустройства жизни. Свободнѣе знакомиться съ подобными ученіями можно было, конечно, внѣ Россіи, — и зарожденія новаго оттѣнка западниковъ нужно искать среди заграничныхъ русскихъ студентовъ.

Все число молодыхъ людей, которые подъ конецъ царствованія Екатерины шли въ европейскіе, особенно нѣмецкіе, университеты, ища прямого общенія съ современной наукой, трудно опредѣлить, но оно несомнѣнно было велико. Когда вслѣдствіе указа Павла Петровича, запретившаго русской молодежи посѣщать заграничные университеты, составлялись списки тѣмъ, кто находился въ ту пору въ Германіи, — въ Лейпцигѣ и Іенѣ насчитано было до семидесяти человѣкъ. Эта молодежь, застигнутая врасплохъ и разсѣянная указомъ, была прямымъ потомствомъ того кружка, который въ концѣ шестидесятыхъ годовъ собрался въ Лейпцигѣ, вокругъ Радищева.

---

[1]) Незслеповъ. Литературныя направленія въ екатерининскую эпоху, 1889, стр. 314.

Дружной гурьбой изъ двѣнадцати товарищей, дѣйствительно искусно выбранныхъ (преимущественно изъ даровитѣйшихъ учениковъ пажескаго корпуса), заняли они вскорѣ въ Лейпцигѣ выдающееся положеніе среди студенчества,—особенно послѣ того, какъ, набушевавшись вдоволь и отдавъ дань тому привольному волокитству, которое процвѣтало въ шумной и людной сутолокѣ Лейпцига, они предались наукѣ. Много лѣтъ спустя, лучшій ея представитель, профессоръ Платнеръ, отзывался о Радищевѣ, какъ о замѣчательно талантливомъ студентѣ. Въ школѣ такихъ людей, какъ Платнеръ или Геллертъ, невозможно было не отдаться серьезному изученію науки, и при томъ не ради нея только, но для служенія народу. Платнеръ съ горячностью громилъ съ каѳедры общественныя несовершенства, неравенство, рабство; Геллертъ казался и студентамъ, и многочисленнымъ читателямъ его басенъ, романовъ, журнальныхъ статей воплощеніемъ гуманности,—и десятки трогательныхъ по своей наивности анекдотовъ сохранили до сихъ поръ память о довѣрчивыхъ обращеніяхъ къ нему его поклонниковъ за совѣтами въ трудныя минуты. Но еще важнѣе было самообразованіе въ русскомъ студенческомъ кружкѣ, изученіе важнѣйшихъ явленій въ современной, особенно французской, наукѣ, составленіе рефератовъ, переводовъ, обсужденія и споры. Извѣстный разсказъ Гримма, проѣзжавшаго случайно черезъ Лейпцигъ, о томъ, какъ въ кружкѣ зачитывались Гельвеціемъ (именно его книгой „De l'esprit") и всесторонне обсуждали его идеи,—разсказъ, доставившій нѣсколько пріятныхъ минутъ узнавшему о томъ философу,—могъ бы на первый взглядъ вызвать впечатлѣніе юношеской забавы моднымъ матеріализмомъ, такой забавы, которая отдалитъ ихъ со временемъ отъ тяжелой борьбы съ застоемъ и невѣжествомъ, ожидающей ихъ на родинѣ. На дѣлѣ мы видимъ совершенно другое. Если изъ лейпцигскаго кружка, просуществовавшаго сплоченною массой цѣлыхъ четыре года, впослѣдствіи выбыли нѣкоторые менѣе убѣжденные и слабые духомъ члены, зато онъ выставилъ изъ своей среды такихъ людей, какъ Ѳедоръ Ушаковъ (хоть и рано умершій), Радищевъ, Яновъ, Челищевъ, настоящихъ, созна-

тельныхъ работниковъ, подготовлявшихъ себя при помощи европейской науки для общенароднаго русскаго дѣла [1]).

Изъ любопытнаго автобіографическаго мѣста въ радищевскомъ „Житіи Ѳ. Вас. Ушакова“ видно, съ какою жаждой полезной дѣятельности возвращались друзья въ Россію послѣ многолѣтняго отсутствія,—и какъ тяжело перенесли они ожидавшее ихъ разочарованіе. Радищевъ живо рисуетъ восторгъ, когда „они узрѣли межу, Россію отъ Курляндіи отдѣляющую... Если кто, понимая, что есть изступленіе, скажетъ, что не было въ насъ таковаго, и что не могли бы мы тогда жертвовать жизнью для пользы отечества, тотъ, скажу, не знаетъ сердца человѣческаго. Признаюсь, что послѣдовавшее по возвращеніи нашемъ жаръ сей въ насъ гораздо умѣрило“.

Въ русской жизни не нашлось никакого дѣла ему по плечу. Широкое образованіе, всю жизнь развивавшееся (сорока лѣтъ онъ выучился по англійски и могъ читать Шекспира и Мильтона въ подлинникѣ), [2]) казалось, обрекало его на изолированное положеніе въ обществѣ. Несмотря на мерцавшій еще тогда у насъ отблескъ просвѣтительнаго вѣка, мало было людей, способныхъ вполнѣ понять складъ ума и убѣжденій Радищева. Небольшой кружокъ, въ которомъ видимъ нѣсколькихъ лейпцигскихъ товарищей, въ особенности друга и (какъ въ свое время думали) сотрудника его по знаменитому „Путешествію“, Челищева, [3]) Козодавлева, затѣмъ Крылова съ Рахманиновымъ и немногими представителями мелкой прессы,—гостепріимный и оппозиціонно настроенный

---

[1]) Даже второстепенный членъ лейпцигскаго кружка, впослѣдствіи значительно возвысившійся въ оффиціальномъ мірѣ, Козодавлевъ, вспоминалъ съ благодарностью о той пользѣ, которую принесло для его службы отечеству пребываніе въ лейпцигскомъ университетѣ. Въ письмѣ къ Фонъ-Тюммелю, напечатанномъ въ „Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten u. anderen Sachen“, 1786, сент., стр. 871, онъ говоритъ о томъ, „какъ въ качествѣ пажа императрицы онъ былъ посланъ съ нѣсколькими товарищами въ Лейпцигъ, въ университетъ, и тамъ, благодаря щедротамъ ея величества, пріобрѣлъ всѣ знанія, помогшія ему въ настоящей его службѣ ревностно и съ признательностью исполнять свое дѣло. Судите же, съ какими чувствами я смотрю на милости ея величества, благодаря которымъ мое отечество становится все просвѣщеннѣе“!

[2]) Алекс. Никол. Радищевъ по воспоминаніямъ сына. Русск. Вѣстн. 1858, декабрь, I, 402.

[3]) Архивъ кн. Воронцова, томъ XIII, стр. 200; см. въ томъ же сборникѣ т. XI, 96, намекъ на прикосновенность Дашковой и Воронцова къ плану написать „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“.

салонъ Дашковой и ея брата Воронцова,—вотъ единственная среда, гдѣ онъ могъ встрѣчать поддержку и сберегать свою независимость. Одно время, казалось, на него обратили вниманіе и включили въ число членовъ общества переводчиковъ, задуманнаго Екатериной (на него возложенъ былъ переводъ книги Мабли „Observations sur l'histoire de la Grèce), но серьезныхъ послѣдствій этотъ призывъ не имѣлъ. Для остального общества онъ былъ просто сенатскимъ протоколистомъ, потомъ таможеннымъ чиновникомъ, занятымъ прозаическимъ дѣломъ очистки корабельныхъ грузовъ пошлиной. Но и въ интеллигентной средѣ и въ дѣловомъ мірѣ сказывались въ немъ черты *новаго* человѣка, воспитавшагося въ странѣ цивилизованной. Зрѣлище общей безнравственности и крестьянскаго рабства наполнило его честнымъ негодованіемъ; не умѣя скрывать своихъ мыслей, онъ горячо проповѣдывалъ, гдѣ только могъ, о необходимости гласности, законности, коренныхъ реформъ. Примкнувъ къ редакціи крыловской „Почты духовъ", онъ въ одной изъ лучшихъ статей этого журнала [1]) заступился за право подобныхъ глашатаевъ правды возвѣщать ее безбоязненно всѣмъ, „говорить истину царямъ", но не съ улыбкой, по Державински, а безъ прикрасъ, наголо, съ опасностью опалы или изгнанія. Пусть зрѣлище пороковъ „учинитъ ихъ суровыми, унылыми и задумчивыми", пусть ихъ честятъ именемъ мизантроповъ, враговъ рода человѣческаго; въ любимомъ имъ мольеровскомъ героѣ, мнимомъ мизантропѣ Альцестѣ, онъ видѣлъ воплощеніе непризнанной, неоцѣненной людьми любви къ человѣчеству, заступничество за святѣйшія права гражданъ, борьбу съ пороками, низостью, произволомъ, и считалъ бы счастливымъ то общество, въ которомъ было бы нѣсколько такихъ „мизантроповъ". Годъ спустя послѣ этой журнальной статьи, онъ снова, въ „Путешествіи", развилъ ту же мысль, воздавая хвалу Мольеру за глубоко вѣрное истолкованіе характера и значенія независимыхъ личностей въ ихъ борьбѣ съ обществомъ, — и въ этихъ чертахъ воспроизводя свой собственный портретъ [2]).

---

[1]) „Почта духовъ," 17?9, письмо четвертое.

[2]) Болѣе подробный анализъ вліянія „Мизантропа" на Радищева—въ моихъ

Но и въ служебномъ дѣлѣ онъ остался вполнѣ своеобразнымъ. Всѣ дошедшіе до насъ разсказы рисуютъ его рыцаремъ неподкупности, о которомъ скоро всѣ заговорили въ торговомъ мірѣ; милліонная выгода его не соблазнила; иностранцы съ удивленіемъ смотрѣли на человѣка, у котораго дѣло вершилось на строгомъ основаніи закона, и когда его постигла кара, они единодушно горевали. Съ своей нравственной чистоплотностью и изысканнымъ благородствомъ, этотъ лейпцигскій студентъ, превратившійся въ таможеннаго досмотрщика, производилъ такое же впечатлѣніе диковиннаго явленія, какъ въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія будущіе декабристы, надворный судья Пущинъ или членъ палаты уголовнаго суда Рылѣевъ, составившіе себѣ не только въ свѣтскихъ кругахъ, но и въ простонародьѣ репутацію высокой честности и безкорыстія.

Все, что привелось этому зоркому и страстному наблюдателю подмѣтить въ окружавшей его жизни, всѣ идеальныя требованія, которыя онъ могъ предъявить къ ней подъ вліяніемъ видѣннаго и передуманнаго на западѣ, все это составило сущность его многострадальной книги. И тутъ, по собственному его показанію, главными его руководителями опять же были писатели западные. Для оригинально выбранной формы разсказа, которая довершаетъ иллюзію путешествія дѣленіемъ вмѣсто главъ на станціи и обрисовкой серьезныхъ темъ различными дорожными сценами и картинками, послужила прототипомъ Sentimental Journey Стерна Радищевъ увлекся этой книгой, прочитавъ ее сначала въ нѣмецкомъ переводѣ. [1]) Глубокій юморъ и чувствительность, за которую Стернъ готовъ былъ отдать всѣ свои дарованія, поразили Радищева. Смѣхъ Стерна, который, по выраженію Карлейля, часто печальнѣе слезъ, не только нашелъ отголосокъ у Радищева,—

„Этюдахъ о Мольерѣ“ (Мизантропъ, М. 1881), и въ „Этюдахъ и характеристикахъ“, 1894.

[1]) Русскій переводъ явился лишь въ 1793 году. Наибольшей извѣстности среди русской публики Стернъ достигъ въ началѣ 19 вѣка, когда изданы были даже „Красоты Стерна или собраніе лучшихъ его патетическихъ повѣстей и отличнѣйшихъ замѣчаній на жизнь“ (М. 1801), явились многочисленныя подраженія (чувствительныя путешествія Измайлова, Шаликова и друг.), и наконецъ, какъ отпоръ крайностямъ сентиментализма, комедія Шаховскаго „Новый Стернъ“.

въ этомъ отношеніи предшественника Гоголя съ его невидимымъ міру внутреннимъ смѣхомъ,—но получилъ еще болѣе глубокое развитіе. Стернъ въ состояніи былъ неожиданно, послѣ непринужденной веселости, отдаться печальнымъ мыслямъ при видѣ оборваннаго нищаго, вьючнаго осла, павшаго отъ непосильной работы на дорогѣ, птички, бьющейся въ клѣткѣ, какъ узникъ въ своей темницѣ, но онъ далеко не прочь подчасъ свѣтло посмотрѣть на жизнь и людей; онъ принимается разсказывать читателю свою встрѣчу съ проѣзжей красоткой, какую нибудь bonne aventure. Онъ характеризовалъ однажды свою книгу „мирнымъ странствіемъ сердца въ поискахъ за природой и тѣми ощущеніями, которыя она порождаетъ, заставляя насъ любить другъ друга и весь свѣтъ болѣе, чѣмъ мы это дѣлаемъ". Однимъ словомъ, Стернъ гуманная, сострадательная натура, соединяющая нервную чувствительность, рѣдкій художественный реализмъ, врожденную вражду къ дрязгамъ политики, и вспышки эпикурейства. Радищевъ пошелъ безконечно дальше своего англійскаго собрата; въ остроумной стерновской классификаціи путешественниковъ,—инквизиторовъ, хвастуновъ, ипохондриковъ, лжецовъ, вертопраховъ и т. д., онъ вмѣстѣ съ Стерномъ, конечно, принадлежалъ къ числу „сентиментальныхъ" странниковъ, чья воспріимчивость возбуждается малѣйшимъ житейскимъ фактомъ, уноситъ ихъ въ безбрежное море мыслей, сближеній, выводовъ, сочувствій и протестовъ. Но безчисленныя встрѣчи на пути, иногда слишкомъ кстати подобранныя, лишь бы провести передъ читателемъ разнообразные типы, оттѣнки нравовъ и общественныхъ условій,—описанныя съ мастерствомъ, часто напоминающимъ Стерна, и полнымъ неожиданныхъ переходовъ отъ бойкости и юмора къ негодованію или паѳосу, возбуждаютъ въ читателѣ протестъ противъ гнета и развращенности и взываютъ къ коренной реформѣ.

Радищевъ не разъ заимствовалъ у своего образца, но взятое имъ насыщалъ реальнымъ русскимъ содержаніемъ. Изображеніе покинутой и больной Мэри [1]) не осталось безъ вліянія на радищевское заступничество за безпомощность кресть-

---

[1]) Sentimental journey through France and Italy, by mr. Yorick, L., 1796, 180 и сл.

янской дѣвушки; въ пѣвцѣ духовныхъ стиховъ, растрогавшемъ Радищева въ Клину, есть черты стараго францисканскаго монаха, отца Лоренцо, плѣнившаго Стерна въ Кале первобытною простотой и задушевностью,—странникъ такъ же обмѣнивается съ нимъ подаркомъ, и на возвратномъ пути также узнаетъ о смерти своего бѣднаго друга; въ обрисовкѣ положительной личности, „Крестецкаго дворянина" съ его культомъ благородства и независимости, много сходства съ кавалеромъ свят. Людовика, встрѣченнымъ Стерномъ въ Версалѣ. Размышленія англійскаго писателя при видѣ птички въ клѣткѣ о рабствѣ и обращеніе къ „божественной свободѣ" должны были повліять на искренній лиризмъ радищевскаго гимна къ вольности, заканчивающаго собою главу *Тверь*. Но стоитъ сличить эти мѣста у обоихъ писателей, чтобъ увидать, у кого изъ нихъ горячѣе бьется сердце сочувствіемъ къ народнымъ горестямъ.

Съ путешествіемъ Стерна, въ ряду образцовъ, способствовавшихъ выработкѣ радищевскаго направленія, можетъ соперничать сочиненіе иного характера, наполовину научное, историческое, даже философское, на половину литературное, съ вставными, эпизодическими разсказами, большими чувствительными отступленіями и пышными декламаціями на гуманныя темы. По словамъ Радищева, въ 1780 или 1781 году, среди „коммерческихъ книгъ", которыя онъ изучалъ для обогащенія своихъ свѣдѣній о торговлѣ, необходимыхъ на таможенной службѣ, онъ напалъ на „Философскую и политическую исторію колоній и торговли европейцевъ въ обѣихъ Индіяхъ", аббата Рейналя, [1]) и увлекся ею. Смерть жены и печальное настроеніе, захватившее его потомъ слишкомъ на два года, заставили его прервать чтеніе этой книги, но онъ снова къ ней вернулся и испыталъ сильное ея вліяніе. Иначе и быть не могло. „Исторіею Индіи" Рейналя тогда зачитывались всѣ, ее считали въ теченіе двухъ десятилѣтій евангеліемъ. Радищевъ увидѣлъ ее и въ Россіи „общечитаемою", — красующіеся во всѣхъ уцѣлѣвшихъ до сихъ поръ частныхъ библіотекахъ прошлаго вѣка, даже въ даль-

---

[1]) Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. A La Haye, 1774.

ней провинціи, экземпляры Рейналя подтверждаютъ это. Гриммъ предсказывалъ „Исторіи Индіи“ безсмертіе наряду съ „Духомъ законовъ“; вождь возстанія вестъ-индскихъ рабовъ, Тусенъ-Лувертюръ, съ трудомъ разбирая ее, приходилъ отъ нея въ умиленіе [1]. Впослѣдствіи Робеспьеръ отстоялъ осужденнаго на смерть за обличеніе террористовъ Рейналя, напомнивъ конвенту, что передъ нимъ—авторъ великой „Исторіи обѣихъ Индій.“

Радищевъ не могъ не поддаться сильному впечатлѣнію проповѣди человѣчности и освобожденія, съ которою чувствительный аббатъ обращался ко всему цивилизованному міру подъ вліяніемъ видѣнныхъ имъ во время службы въ колоніяхъ жестокостей и самоуправства плантаторовъ и несчастій измученныхъ рабовъ. Индійскія бытовыя картины слишкомъ близко подходили къ повседневнымъ сценамъ русскаго крѣпостничества, чтобы протестъ Рейналя, несмотря на избытокъ декламаціи, подходившей, впрочемъ, къ вкусу вѣка, не возбудилъ въ немъ страстнаго желанія выступить съ такимъ же обличеніемъ противъ крѣпостного права. Съ другой стороны не мало привлекало свойственное и французскому писателю, наряду съ Стерномъ, сочетаніе противоположныхъ элементовъ, сентиментализма и точныхъ жизненныхъ картинъ. Такъ назрѣло у Радищева желаніе въ легкой, доступной, чисто-литературной формѣ, подъ предлогомъ путешествія изъ одной столицы въ другую, раскрыть передъ безпечнымъ читателемъ, не сознающимъ, сколько зла и горя гнѣздится въ окружающемъ его быту, всю ихъ ужасающую силу.

На первомъ планѣ сталъ, конечно, крестьянскій вопросъ, обставленный и иллюстрированный взятыми прямо съ натуры сценами деревенской дѣйствительности; многолѣтняя (еще съ Лейпцига) подготовка къ его изученію и рѣшенію внушила русскому автору мысли, далеко опередившія его первоначальный образецъ, и прежде всего мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землею. Заимствованія, цитаты, переложенія изъ Рейналя (въ главахъ *Чудово*, *Хотиловъ* и т. д.) являются фономъ русской бытовой картины, постепенно переходящей

[1]) О значеніи книги Рейналя см John Morley. „Diderot and the encyclopedists“, 1880.

въ проектъ крестьянскаго освобожденія [1]). Касаясь другихъ сторонъ жизни, Радищевъ выбиралъ иные авторитеты; такъ многія данныя для историческаго очерка цензуры, въ главѣ „Торжокъ", онъ взялъ у Гердера. Вліяніе Руссо сказывается во многихъ разсужденіяхъ на нравственныя темы; акад. Сухомлиновъ находитъ отраженіе взглядовъ любимаго Радищевымъ профессора Платнера въ защитѣ вѣротерпимости; ссылки на словарь Бэйля, на англійскихъ деистовъ, Бэкона, Вольтера, Аддисона (въ его „Смерти Катона") и т. д. дополняютъ впечатлѣніе, производимое „Путешествіемъ", какъ трудомъ сознательнаго и разносторонне начитаннаго западника и въ то же время народолюбца.

Екатерина, порицая вольномысліе Радищева, обозначила такой складъ ума прозвищемъ „французскаго заблужденія" и приписывала его происхожденіе „разнымъ полумудрецамъ сего вѣка, какъ-то: Руссо, аббе Рейналь и тому гипохондрику подобные"; правда, она тутъ же называетъ Радищева и „мартинистомъ", подозрѣвая, безъ всякаго основанія, связи его съ масонскимъ движеніемъ. Но негодованіе заставляетъ ее утверждать далѣе, что имъ руководила только „любовь распространять гипохондрическія и унылыя мысли", кромѣ того „необузданная амбиція и нетерпѣніе желчи" отъ недостиженія „вышнихъ степеней". Поступокъ Радищева, полный безстрашной отваги и нетолько рискованный, но по условіямъ времени, прямо предназначенный къ суровой карѣ, получалъ такимъ образомъ значеніе мелкой эгоистической отместки честолюбца-неудачника, а его завѣтныя мысли становились брюзжаньемъ меланхолика, передъ которымъ все живое и благородное окутывается погребальнымъ флеромъ... Между тѣмъ эти мысли пережили вѣкъ Радищева, перешли въ наслѣдіе послѣдующимъ поколѣніямъ; иныя уже осуществились, вошли въ жизнь, другія стали неотъемлемой принадлежностью

1) Въ разныхъ мѣстахъ „Путешествія" встрѣчаются выраженія и мысли, воспроизведенныя Радищевымъ почти дословно изъ Рейналя („Духъ свободы такъ искореняется въ рабахъ, что не только не желаютъ они прекратить свои страданія, но еще тягостно имъ зрѣть другихъ свободными".—„Ужели мало, что страждетъ мой согражданинъ? Да и въ томъ нѣтъ нужды. Онъ человѣкъ, вотъ мое право, вотъ вѣрющее письмо".—Любимый въ былые годы эпизодъ о Едровской Анютѣ, идеализованной крестьянской дѣвушкѣ, несомнѣнно написанъ подъ

всякой прогрессивной программы, [1]) и эта живая, мѣстами почти современнымъ намъ языкомъ написанная, книга должна бы выйти наконецъ изъ подъ вѣкового запрета, поддерживаемаго только безотчетной пугливостью.

Въ „Повинной“ Радищева, конечно, видны и смущеніе и болѣзненная подавленность духа, вызванныя пристрастнымъ допросомъ Шешковскаго, строгимъ заключеніемъ, жуткимъ ожиданіемъ неизвѣстной и страшной развязки,—но и въ эти минуты, когда онъ уже почти не владѣлъ собой, приверженность къ идеаламъ, усвоеннымъ съ ранней молодости, брала порою верхъ. Онъ нѣсколько разъ повторяетъ, что думалъ принести пользу, надѣялся на свободомысліе Екатерины, полагая, „что говоритъ доброе“ и сочувственное ей; ужъ потому онъ „не хотѣлъ сдѣлать возмущеніе, что *народъ нашъ книгъ не читаетъ*, — а можетъ ли мыслить о семъ, кто общниковъ не имѣетъ?“ Гроза разразилась и привела въ содроганіе его сторонниковъ; [2]) ссылка въ Илимскій острогъ замѣнила собой смертную казнь. Но Радищевъ и въ Сибири сохранилъ прежніе интересы и стремленія; возвратъ силъ и покой среди семьи даже оживили ихъ. Въ трактатѣ „О человѣкѣ, о его смертности и безсмертіи“, написанномъ въ Илимскѣ, видны прежняя возбужденность мысли, стремящейся рѣшать насущные вопросы человѣчества, и разносторонняя начитанность, свободно опирающаяся па авторитетныя философскія и естественно-научныя сочиненія (въ особенности Локка, Руссо, Ньютона). Въ ссылкѣ онъ продолжалъ самообразованіе, слѣдилъ (благодаря Воронцову) за новой западной литературой,

---

вліяніемъ вставныхъ въ исторію Рейналя повѣстей, превозносившихъ душевную чистоту и силу любви дикарей.

[1]) По показаніямъ сына Радищева, въ программу его входили освобожденіе крестьянъ, свобода совѣсти, свобода печати, судъ присяжныхъ, отмѣна подушной подати, равенство передъ закономъ и т. д. Русск. Вѣстн. 1858, дек., I.

[2]) „Quelle sentence et quel adoucissement pour une étourderie!“—писалъ тогда Сем. Романовичъ Воронцовъ:—que fera-t-on pour un crime et pour une révolte en forme? *Cela fait frémir!* Архивъ кн. Воронцова, томъ 9-й, 1867, стр. 181.—Нашлись однако люди, и не въ Россіи, а за границей, которые удивлялись великодушію, смягчившему приговоръ. Сравнивая этотъ образъ дѣйствій съ политикой правительства Бернскаго кантона по отношенію къ мятежнымъ жителямъ pays de Vaud, тогда еще подвластнаго Берну, одинъ изъ швейцарскихъ корреспондентовъ гр. А. Р. Воронцова, Сожи, восторгался Екатериной и воспользовался первымъ случаемъ, чтобъ разсказать о судьбѣ Радищева Неккеру. Арх. Воронц., кн. XXVII, 1883, 20.

интересовался всѣми текущими явленіями французской политической прессы (наприм. извѣстнымъ *Père Duchesne*, который ему доставляли воронцовскіе курьеры), гамбургскими газетами и русскими журналами, и, хотя, вступая въ предѣлы Сибири, онъ грустно повторялъ извѣстную надпись надъ входомъ въ Дантовъ Адъ, „lasciate ogni speranza voi ch'entrate“ (одна изъ рѣдкихъ въ прошломъ вѣкѣ у насъ цитатъ изъ Данта), онъ старался и для этого края принести посильную пользу, изслѣдовалъ его производительныя силы, лечилъ инородцевъ, изучалъ ихъ бытъ и религію, написалъ проектъ о торговлѣ съ Китаемъ и т. д. Онъ возвратился въ Россію, столь же убѣжденный въ необходимости коренныхъ преобразованій, какъ и прежде.

Первымъ его дѣломъ по пріѣздѣ въ калужскую деревню было бы освободить крестьянъ, но указъ 23 ноября 1796 г., возвратившій ему только половинныя права, не могъ допустить такой мѣры,—и въ „Описаніи моего имѣнія“ отразилось то состояніе нравственной пытки, которое испытывалъ вернувшійся изгнанникъ, бродя по полямъ своего Нѣмцова во время работъ, и со стыдомъ размышляя о томъ, какъ всѣ эти изнуренные жаромъ жницы и косцы напрягаютъ всѣ силы свои для поддержанія зажиточной жизни его одного. Когда же снова стало вольнѣе дышать при Александрѣ, мы опять видимъ Радищева за дѣломъ въ Петербургѣ, среди молодежи, рвущейся къ реформамъ, однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ „комиссіи о составленіи законовъ“; онъ вырабатываетъ проекты, подаетъ „мнѣнія“, [1]) съ юношеской горячностью отстаиваетъ свои взгляды во время преній, непріятно поражая неисправимостью своею старшихъ сочленовъ, исполнявшихъ обязанности реформаторовъ скорѣе по приказу, чѣмъ по убѣжденію; по свидѣтельству его сына, у него были столкновенія даже съ Сперанскимъ, чьи планы частичныхъ улучшеній и поправокъ его не удовлетворяли. Радищевъ разработалъ проектъ судебной реформы, основанной на вве-

[1]) Образцомъ этихъ „мнѣній“, заявленныхъ имъ въ комиссіи, могутъ служить напечатанныя въ книгѣ акад. Сухомлинова „А. Н. Радищевъ, авторъ Путеш. изъ Петербурга въ Москву“, 1883, мнѣнія „о цѣнахъ за людей убіенныхъ“, и о правѣ подсудимыхъ отводить судей и выбирать себѣ защитниковъ.

деніи суда присяжныхъ; самоубійство, вызванное острымъ припадкомъ меланхоліи, прервало эту неутомимую дѣятельность во время приготовленій къ поѣздкѣ въ Англію для изученія на мѣстѣ института присяжныхъ.

Такъ вся жизнь этого единственнаго, быть можетъ, въ прошломъ вѣкѣ истиннаго *западника* съ первыхъ же шаговъ на русской землѣ и до старости ушла на служеніе самымъ насущнымъ нуждамъ народа; его неразрывная связь съ европейскимъ умственнымъ движеніемъ не отдалила его отъ Россіи, а сроднила его съ нею, указала цѣли и способы ихъ достиженія. Тотъ же завѣтъ передалъ онъ своимъ сверстникамъ и немногимъ молодымъ своимъ ученикамъ. Его лейпцигскій товарищъ Петръ Челищевъ, быть можетъ, дѣйствительно помогавшій ему при изданіи книги, но удачно выгороженный при слѣдствіи, спустя полъ-года послѣ грозы, разразившейся надъ Радищевымъ, предпринялъ изъ любознательности,—вѣроятно, также и изъ осторожности, побуждавшей на время скрыться съ глазъ,—путешествіе на сѣверъ Россіи [1]). Съ замѣчательной обстоятельностью и тонкимъ вниманіемъ изучалъ онъ положеніе народа, состояніе его промысловъ, духовныя его нужды и запросы, естественныя богатства и полную заброшенность дальняго сѣвернаго края. У него не было радищевскаго таланта, но минутами онъ напоминаетъ смѣлый обличительный тонъ своего друга, нетолько раскрывая злоупотребленія, но бичуя ихъ сарказмомъ или поражая виновниковъ рѣзкими укоризнами въ видѣ патетически-приподнятыхъ, по тону напоминающихъ Рейналя и Радищева, обращеній и воззваній („Духовные начальники! Когда-бъ заведены были порядочныя у васъ школы, былъ ли бы этотъ человѣкъ принужденъ искать убѣжища въ сихъ страшныхъ жилищахъ волковъ и медвѣдей?“ — „Увы, надменные ушельцы въ кабинеты ваши! Почто вы просыпаете въ нихъ жизнь, толиками способами снабденную къ славѣ отечества, къ пользѣ государя и къ блаженству народному?“ — „Смотрите: повсюду бѣдность, праздность, скука; повсюду малая при-

---

1) Описаніе его, сохранившееся въ рукописи библіотеки графа Шереметева, издано акад. Л. Н. Майковымъ,—„Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 году, дневникъ П. И. Челищева“, 1886 (изд. Общества Древн. Письмен.).

былъ, а величайшій трудъ".—„Чувствительность моя не терпитъ сихъ упущеній, и кровь сихъ несчастныхъ преступниковъ брызнула даже до моего сердца!"). Путешественникъ благоговѣйно относится къ Петру Великому, ставитъ собственными руками кресты и скромные памятники всюду, гдѣ что либо напомнитъ ему о преобразователѣ; Ломоносовъ и для него, какъ для Радищева, является лучшимъ выразителемъ народной самодѣятельности, направленной на встрѣчу европейскому просвѣщенію,—и во славу Ломоносову онъ тоже поставилъ памятникъ. Эксплоатація русскихъ силъ иноземцами ему столь же ненавистна, какъ привлекательно свободное наше соревнованіе съ ними. Издатель „Дневника" тонко подмѣтилъ во многихъ его мѣстахъ вліяніе идей Платнера, помогавшихъ Челищеву разбираться среди противорѣчій и несовершенствъ русской жизни [1]).

Молодые ученики и послѣдователи Радищева ратовали за тѣ же убѣжденія. Пнинъ (которому преданіе приписываетъ оду на вольность, включенную въ „Путешествіе") издавалъ въ концѣ вѣка „Санктпетербургскій Журналъ", знакомившій съ европейской публицистикой, задумывалъ *Народный* Вѣстникъ, впослѣдствіи организовалъ отпоръ нетерпимому славянофильству „Бесѣды", а въ примѣчательномъ для своего времени и тогда же запрещенномъ „Опытѣ о просвѣщеніи относительно къ Россіи" (Спб., 1804) заступался за „сословіе земледѣльческое, которое находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладѣльцамъ, поступающимъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ съ скотами". Въ этомъ заступничествѣ за народъ слышится отголосокъ убѣжденій старика-Радищева.

Въ сочувственныхъ стихотвореніяхъ, вызванныхъ смертью Радищева у его поклонниковъ (элегія Борна), въ рѣчахъ, которыми почтило его память петербургское Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ, въ глубо-

---

[1]) Во время путешествія ему не разъ вспоминался Радищевъ; въ Архангельскѣ онъ встрѣтилъ его брата Моисея, у котораго жили старшіе сыновья изгнанника, а въ Бѣлозерскѣ записалъ сонъ, въ которомъ увидалъ себя снова съ товарищами молодости, Ѳедоромъ Ушаковымъ, Кутузовымъ и Радищевымъ „въ одномъ домѣ, изъ котораго Радищевъ и Кутузовъ бѣжали, и якобы ихъ опять поймали" и т. д. (с. 244).

кой симпатіи такого убѣжденнаго патріота и націоналиста, какъ извѣстный Сергѣй Николаевичъ Глинка, къ западнику-вольнодумцу, въ которомъ онъ видѣлъ искреннюю любовь къ русскому дѣлу [1]), — во всѣхъ этихъ проявленіяхъ сочувствія, исходившихъ изъ противоположныхъ лагерей литературы, сказывается признаніе глубокой связи радищевскаго европеизма съ сознаніемъ великихъ обязанностей по отношенію къ родной странѣ.

Но то же сочетаніе принциповъ замѣтно и въ зарождавшемся въ концѣ прошлаго вѣка движеніи, которое предвѣщало позднѣйшее славянофильство. Оно замыкалось пока въ области исторической науки. Послѣ такихъ предшественниковъ, какъ Татищевъ, изслѣдователи-труженики Миллеръ и Шлецеръ, дилеттантъ - фантазеръ Елагинъ, оба главные представители исторіографіи въ вѣкъ Екатерины, Болтинъ и Щербатовъ, водворяли національно патріотическое направленіе въ наукѣ. Изъ желанія дать отпоръ историческимъ и политическимъ взглядамъ на исторію Россіи, высказаннымъ въ легковѣсныхъ работахъ западныхъ борзописцевъ, въ родѣ Николая Леклерка, Болтинъ выступилъ на аренѣ науки. Оскорбленная народная гордость и коренное чувство правдивости, побуждавшее во что бы то ни стало бороться съ ложью, сдѣлали Болтина писателемъ, — а смѣлая, нѣкогда привлекавшая Татищева, мечта дать русскому народу достойную его исторію сосредоточила его разысканія на отдаленномъ русскомъ прошломъ. Охранительный тонъ его произведеній и полемическій жаръ, который онъ вносилъ въ нихъ, ревностно отстаивая отъ западныхъ и русскихъ своихъ противниковъ національную самобытность, привели къ тому, что Болтина иные до сихъ поръ считаютъ одностороннимъ, нетерпимымъ и нѣсколько старомоднымъ консерваторомъ, въ родѣ Шишкова. Различныя данныя, добытыя біографомъ Болтина [2]) и изслѣдователями его вліянія на русскую историческую мысль, [3]) воз-

---

1) По свидѣтельству сына Радищева, Павла Алекс., Глинка принадлежалъ къ числу „величайшихъ его поклонниковъ“.

2) Сухомлиновъ, Исторія россійской академіи, выпускъ пятый. Спб. 1880, стр. 62—296.

3) Милюковъ. Главныя теченія русской исторической мысли. Рус. Мысль, 1893, V.

становляя въ правдивомъ свѣтѣ его ученый и публицистическій методъ, рисуютъ намъ совсѣмъ иную личность. Болтинъ исходилъ отъ непосредственнаго знакомства съ западной наукой, но не для того, чтобы, воспользовавшись имъ, потомъ отречься и откреститься отъ Европы,—во всѣхъ своихъ произведеніяхъ онъ пользовался западными источниками и высоко цѣнилъ нѣкоторыхъ любимыхъ имъ авторовъ. Онъ увлекался тѣмъ же скептикомъ Бэйлемъ, которому съ ранней молодости поклонялся Радищевъ; Вольтеръ, Монтескье [1]), Руссо были въ его глазахъ великими авторитетами; говоря даже о русскихъ домашнихъ дѣлахъ, онъ ссылается на Руссо, какъ на тонкаго наблюдателя и истиннаго друга человѣчества. Взглядъ Вольтера на свободу и независимость научныхъ изслѣдованій онъ признаетъ вполнѣ разумнымъ и совершенно не противорѣчащимъ христіанству; тотъ же писатель встрѣчаетъ въ немъ большое сочувствіе, когда утверждаетъ, „что гражданская свобода есть залогъ политической силы и независимости“ [2]).

Идея закономѣрности, внесенная Болтинымъ въ историческую науку, въ частности ученіе о вліяніи природныхъ условій, особенно климата, усвоена была не только у Монтескье, но, какъ думаютъ теперь, и у писателя XVI вѣка, Бодена [3]); наконецъ непосредственно повліялъ на Болтина такой предшественникъ, какъ Татищевъ, чье произведеніе могло возбудить въ немъ серьезные ученые интересы и вмѣстѣ съ тѣмъ уваженіе къ европейской наукѣ. Сущностью взглядовъ Болтина была дѣйствительно вѣра въ русскую самобытность, но не самодовольную, исключительную и насквозь проникнутую нетерпимостью; Болтинъ исходилъ отъ взгляда „Наказа“ на Россію, какъ на *государство европейское*. Принимая послѣдствія, истекающія изъ этого положенія, хотя и порицая излишнюю

---

[1]) Есть преданіе, что Радищевъ переводилъ книгу Монтескье о величіи и паденіи римлянъ.

[2]) У Болтина начатъ былъ переводъ „Энциклопедіи“, доведенный до буквы К.

[3]) Въ его книгѣ „Methodus ad facilem historiarum cognitionem“, которая въ переводѣ съ общедоступной французской передѣлки (La physique de l'histoire etc., Amsterdam, 1755) была издана по русски въ 1794 г. подъ названіемъ „Физика исторія или всеобщія разсужденія о первонач. причинахъ тѣлеснаго сложенія и природнаго характера народовъ“.

поспѣшность петровской реформы, онъ отстаивалъ отъ западныхъ притязаній *равноправность* русскаго міра съ остальными племенами Европы, въ своихъ отзывахъ о фактахъ текущей или прошлой жизни европейскихъ племенъ относился къ нимъ, какъ равный къ равнымъ, а не какъ робкій ученикъ, не смѣющій имѣть своего сужденія, пытался внести историческое объясненіе темныхъ сторонъ русской жизни, считая ихъ переходнымъ зломъ; онъ напоминалъ противникамъ, что и у нихъ, въ дни феодализма, господствовалъ еще худшій порядокъ вещей, который потомъ уступилъ мѣсто иному строю подъ вліяніемъ новыхъ идей. Того же ждалъ Болтинъ и отъ будущности русской земли; онъ не отстаивалъ крѣпостного права, а напротивъ рисовалъ мрачныя картины его и требовалъ, чтобъ оно отмѣнено было повсемѣстно, лишь съ соблюденіемъ извѣстной постепенности и съ соразмѣрнымъ усиленіемъ народной образованности, чтобъ оправдался совѣтъ Руссо — освободить и *души*, сдѣлать ихъ способными пользоваться свободой. Такимъ образомъ преобразовательный элементъ входилъ въ значительной степени и въ эту охранительную программу; любя родное, Болтинъ не обрекалъ его на застой или на поворотъ назадъ. Въ одномъ изъ любопытнѣйшихъ мѣстъ своихъ „Примѣчаній на Леклерка“ онъ высказываетъ, по поводу толковъ о необходимости крестьянскаго освобожденія, мысль, что на свѣтѣ существуютъ „многообразныя вольности, одна другой больше или меньше съ названіемъ своимъ несходствующія,“ и что изъ нихъ „надобно намъ избрать такую, которая бы сообразна была нашему настоящему физическому и нравственному состоянію“. „Земледѣльцы наши, — говоритъ онъ далѣе, прусской вольности не снесутъ, германская не сдѣлаетъ состоянія ихъ лучшимъ, съ французскою помрутъ они съ голоду, а англинская низвергнетъ ихъ въ бездну погибели“. [1]) Участіе русской народной стихіи въ общекультурномъ движеніи человѣчества, обезпечивающее притомъ племенную индивидуальность, не можетъ быть, конечно, характеристичнѣе выражено, и опредѣленно обрисовываетъ нашего перваго убѣжденнаго „руссофила“.

---

[1]) Примѣчанія на Леклерка, II, 235.

Даже у сотоварища Болтина по направленію, хотя и соперника его по методу и научнымъ пріемамъ, Щербатова, несмотря на скорбный или негодующій тонъ отзывовъ его „Поврежденія нравовъ“ о новой, послѣ-петровской Руси и ея главныхъ дѣятеляхъ, несмотря на приторность картинъ старорусской жизни, изображаемой *сплошь* счастливой, богатой, богобоязненной, нравственной, уваженіе къ европейскому просвѣщенію остается основнымъ, неизмѣннымъ тезисомъ. Петровскій переворотъ, какъ мы уже видѣли, и онъ считалъ неизбѣжнымъ, личность Петра выгораживалъ изъ развращающаго вліянія новаго порядка вещей, соболѣзнуя о томъ, что добрыя намѣренія преобразователя искажались его безнравственными клевретами, хищниками и циниками. Еслибъ реформа сберегла ту чистоту нравовъ, которая грезилась Щербатову въ далекой старинѣ, и тотъ строй, въ которомъ родовитая знать была первенствующею, онъ ничего не имѣлъ бы противъ такихъ результатовъ петровской политики, какъ „знаемость Россіи въ Европѣ и вѣсъ въ дѣлахъ“, какъ военная слава, и „процвѣтаніе наукъ, художествъ и ремеслъ“. Таковъ Щербатовъ, какъ политикъ - моралистъ; какъ ученый, историкъ, философъ, онъ находился въ такой же зависимости отъ главнѣйшихъ западныхъ авторитетовъ, какъ Болтинъ; въ его „Разсужденіяхъ о правленіи“ открыты обильныя заимствованія изъ „Духа законовъ“, а въ „Размышленіяхъ о смертной казни“ слѣды внимательнѣйшаго чтенія и критическаго разбора книги Беккаріи.

Такое же усвоеніе европейской мысли и творчества происходило въ небольшихъ кружкахъ и группахъ, стоявшихъ нѣсколько поодаль отъ главныхъ литературныхъ направленій. Это — кружокъ Крылова и Рахманинова, кучка друзей Львова (Державинъ, Хемницеръ, Капнистъ), группа драматурговъ съ Княжнинымъ во главѣ. Тамъ, гдѣ имѣли вѣсъ и вліяніе вольтерьянецъ Рахманиновъ и Радищевъ, замѣчательно даровитый и полуобразованный самородокъ Крыловъ не могъ устраниться отъ вліянія просвѣтительныхъ идей,—и на его журналахъ, въ особенности на *Почтѣ духовъ*, при всѣхъ ихъ шаблонныхъ нападкахъ на шарлатановъ-гувернеровъ, птиметровъ и т. д., лежитъ отпечатокъ культурныхъ запросовъ вѣка; первые наброски ба-

сенъ зарождаются подъ воздѣйствіемъ Лафонтена,—а таинственная до сихъ поръ исторія юношескихъ „заблужденій“ Крылова, едва не подвергшихся карѣ, которая, вѣроятно, связана была съ гоненіемъ на Радищева, осталась навсегда для него воспоминаніемъ о томъ, какъ и онъ заплатилъ когда-то дань увлеченіямъ передовой молодежи. Инымъ, сознательнымъ европеизмомъ проникнута была дѣятельность кружка, сходившагося въ гостепріимной гостиной Львова. Хемницеръ внесъ въ этотъ кружокъ основательное знакомство съ нѣмецкой поэзіей, знаніе современной Европы, изученной имъ вблизи въ ранней молодости, въ семилѣтнюю войну въ Пруссіи, и въ зрѣлые годы во время путешествія въ Парижъ, изученія на мѣстѣ важнѣйшихъ философскихъ сочиненій и поклоненія любимымъ авторамъ, особенно Руссо. Нѣмецкіе баснописцы, Лихтверъ, Геллертъ, Лессингъ, наряду съ Лафонтеномъ указали ему пути и пріемы сатиры, когда всѣ противорѣчія и несовершенства жизни побудили болѣзненно чуткаго наблюдателя взяться за перо для заступничества за просвѣщеніе и добродѣтель. Капнистъ явился представителемъ французскаго оттѣнка вкуса и образованія; поклонникъ Мольера, онъ положилъ въ основу „Ябеды“, одной изъ немногихъ въ европейской литературѣ „судебныхъ комедій“, ведшей подкопъ подъ старое продажное судопроизводство, мотивъ изъ „Мизантропа“, надѣливъ Прямикова чисто альцестовскимъ культомъ справедливости и готовностью на неудачѣ своего собственнаго процесса показать современникамъ устрашающій примѣръ постояннаго нарушенія справедливости. Наконецъ и Державинъ, располагая только однимъ нѣмецкимъ языкомъ, искалъ въ германской поэзіи образцовъ, которые поддержали бы его самородное и мало воздѣланное дарованіе; переводя и перелагая философскія стихотворенія Фридриха Великаго, онъ написалъ свои „Читалагайскія оды“; у Галлера, Гагедорна, Клейста, Клопштока (впослѣдствіи даже у Шиллера) заимствовалъ то религіозное и умозрительное содержаніе своей поэзіи, то легкую, анакреонтическую манеру; туманность образовъ и любовь къ сѣверной миѳологической обстановкѣ, проявляющаяся въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ, привились къ его поэзіи, благодаря вліянію „Оссіановыхъ пѣсенъ“; его любимыя мораль-

ныя темы, развиваемыя въ сатирическихъ одахъ,—нравственное достоинство человѣка, истинное благородство, основанное не на клочкахъ пергамента, а на служеніи человѣчеству и добрыхъ дѣлахъ, и т. д., — были задолго до него ходячими сюжетами въ нѣмецкой просвѣтительной литературѣ, [1]) вообще довольно близко ему знакомой.

Зависимость Державина отъ западныхъ образцовъ вообще заходила, кажется, при всей его самобытности, дальше, чѣмъ это принято думать. На нашъ взглядъ, напр., нѣмецкій или французскій переводъ аддисонова *Зрителя*, попавъ въ руки стихотворца, внушилъ ему, по всей вѣроятности, первую мысль о внѣшней формѣ *Видѣнія Мурзы*. Два раза (въ NN[оо] 159 и 604) Аддисонъ возвращается къ аллегоріи въ восточномъ вкусѣ, носящей названіе The vision of mirza. Державинъ заставилъ явиться къ себѣ Фелицу вмѣсто таинственнаго генія, выведеннаго Аддисономъ, шире развилъ жгучій для него въ ту пору вопросъ объ условіяхъ творчества въ современномъ обществѣ, и въ сильной степени внесъ въ свою оду русское содержаніе. Но у обоихъ писателей та-же цѣль— изобразить при помощи фантастической обстановки свѣтлую, духовную сторону жизни, и, въ видѣ контраста, неисходное ничтожество людского эгоизма, погоню за мелкими интересами, и ненависть къ человѣку, который осмѣлится говорить правду. [2]) Въ прошломъ столѣтіи многіе истинные цѣнители, напр. Бэрнсъ, называли аддисоново „Видѣніе мирзы“ однимъ изъ украшеній *Зрителя*.

Развивая моральныя темы въ примѣненіи къ русской обстановкѣ и разнообразя ихъ мѣстными примѣрами, Державинъ искусно обрусилъ ихъ,—подобно тому, какъ въ легкія свои вещицы, первоначально сплошь подражательныя, онъ со временемъ научился вводить народныя черты, придавая имъ непринужденный, простой, бытовой тонъ, который казался привлекательнымъ даже пушкинскому поколѣнію.

---

[1]) Онѣ развиваются, напримѣръ, весьма часто въ произведеніяхъ Фридриха,—а разъясненію высокаго призванія дворянства посвятилъ особую книгу (Vom Adel) любимый въ прошломъ вѣкѣ публицистъ баронъ von Loen; въ его аргументаціи немало сходныхъ чертъ со взглядами Державина.

[2]) The Spectator, twelfth edit., I, 284 и слѣд., VIII, 186—8. — „Видѣніе мирзы“ было переведено въ журналѣ Новикова „Утренній Свѣтъ“, 1777, ч. III.

Театръ екатерининскихъ временъ, менѣе богатый талантами, чѣмъ другіе роды литературы, въ своей спеціальной сферѣ старался такъ же честно дѣлать общее имъ всѣмъ дѣло просвѣтительной пропаганды и изученія русской жизни. Съ одной стороны стояли послѣдователи европейской, преимущественно французской, драмы, пользовавшіеся сценой, какъ каѳедрой, съ другой бытовики и народники, также избравшіе себѣ эту спеціальную программу дѣйствій, слѣдуя примѣру западной литературы.

Княжнинъ въ своихъ трагедіяхъ, опираясь на Вольтера, Метастазіо, Де-Беллуа, Мерэ, выступалъ защитникомъ просвѣтительныхъ идей и (въ *Вадимѣ*) даже политической свободы, и въ свои произведенія, несмотря на иноземные часто сюжеты ихъ, вводилъ изображеніе русскихъ общественныхъ условій, отголоски взглядовъ „Наказа", педагогическихъ теорій Бецкаго [1]). Николевъ, французъ по воспитанію, насытилъ либеральнымъ лиризмомъ, во вкусѣ парижскихъ политическихъ трагедій, свою *Сорену*, строго запрещенную московскими властями, потомъ, въ минуту великодушія (это происходило еще въ 1785 году), выпущенную на волю Екатериной. Въ то же время переводчики новыхъ соціальныхъ *драмъ*,—Пушниковъ, поставившій въ Москвѣ въ 1770 году „Евгенію" Бомарше, тонкій истолкователь „Свадьбы Фигаро" Лабзинъ [2]) и двое другихъ переводчиковъ этой пьесы, чьи труды остались въ рукописи, перелагатели „Севильскаго цирюльника", „Школы злословія" Шеридана, [3]) „Судьи" Мерсье, могли только поддержать и ободрить нашихъ драматурговъ въ ихъ попыткахъ вносить на сцену общественныя нужды и противорѣчія. Даже второстепенный видъ драматическихъ произведеній, комическая опера, благодаря Княжнину, пыталась вставить свое слово въ проповѣдь человѣчности и про-

---

[1]) Новѣйшая работа о Княжнинѣ, имѣющая цѣлью раскрыть связь его трагедій съ просвѣтительнымъ движеніемъ XVIII вѣка, принадлежитъ Юрію Веселовскому: „Изъ прошлаго русской драмы. Я. Б. Княжнинъ и его трагедіи", „Артистъ", 1894, VIII.

[2]) Лэнтильякъ въ своей біографіи Бомарше (1887, стр. 407) приводитъ письмо директора театра Бибикова къ автору Свад. Фигаро; онъ выпрашиваетъ для Петербурга *primeur* этой пьесы и извѣщаетъ, что *Севильскій цирюльникъ* выдержалъ 50 представленій.

[3]) Любопытныя свѣдѣнія о постановкѣ и распредѣленіи ролей въ пьесѣ Шеридана — въ „Архивѣ дирекціи императ. театровъ", Спб. 1892, отд. III, 177—8.

свѣщенія. Княжнинъ въ своихъ комедіяхъ и оперныхъ либретто беретъ основу у Мольера, Бомарше, Детуша, Брюйэ, сплетаетъ заимствованную фабулу съ бытовыми картинами, обличающими иногда даже крѣпостное право, — и вмѣстѣ съ самоучкой Аблесимовымъ [1]) дѣлается основателемъ *народнаго*, деревенскаго комическаго и опернаго репертуара, представляющаго собой одно изъ наиболѣе характеристическихъ явленій въ русскомъ театрѣ прошлаго вѣка.

Говорить ли о множествѣ другихъ слѣдовъ европейскаго вліянія въ тогдашней литературѣ, о мастерскихъ подражаніяхъ Дмитріева баснямъ и стихотворнымъ сказочкамъ (contes) Лафонтена, выводившихъ иногда снова, послѣ обширнаго промежутка, передъ русскимъ читателемъ старознакомые сюжеты (въ основѣ *Модной жены* лежитъ обработанное французскимъ баснописцемъ странствующее сказаніе), — о Psyché того же Лафонтена, превратившейся въ „Душеньку“ Богдановича, нѣкогда считавшуюся чудомъ изящества и граціи, — или (чтобъ примѣры вышли совсѣмъ разнородные) о такой оригинальной хрестоматіи всякаго, стараго и новаго, русскаго и западнаго, повѣствовательнаго и анекдотическаго, матеріала, какъ достопамятный кургановскій „Письмовникъ“? Двигатели главныхъ школъ и направленій, и съ другой стороны добровольцы литературы, служившіе ей внѣ какихъ либо группъ или кружковъ, сходились въ томъ же трудѣ усвоенія и переработки европейскаго творчества.

Въ немногочисленныхъ, еще только зарождавшихся, кружкахъ послѣдователей западной науки связи съ европейскимъ умственнымъ движеніемъ были не менѣе живыми. Муравьевъ, одинъ изъ воспитателей Александра и первый руководитель Батюшкова, поклонялся античной поэзіи и итальянскимъ классикамъ; научнымъ своимъ образованіемъ онъ обязанъ былъ изученію шотландскихъ философовъ. Широкое развитіе поддерживало его въ смутные конечные годы прошлаго вѣка, и онъ принесъ александровской порѣ

---

[1]) Зная малограмотность Аблесимова, приходится объяснить себѣ соприкосновеніе (хоти бы въ общемъ замыслѣ) двухъ *оперъ*, „Мельника-Колдуна“ и „Le Devin du village“ Руссо, заимствованіемъ изъ вторыхъ рукъ, съ чужого пересказа.

нетронутый юношескій идеализмъ. Для людей такого закала наука была неприкосновенной святыней,—и, увлекаясь Руссо, они рѣшительно протестовали противъ парадокса о вредѣ ея для нравственности. Всѣ прочли, конечно, дважды изданный переводъ его первой „диссертаціи“, [1]) но остались при своемъ мнѣніи, и русская дѣйствительность, напоминавшая на каждомъ шагу не объ избыткѣ, а о скудости научнаго развитія, укрѣпляла ихъ въ этомъ взглядѣ. Философы деизма, помогавшіе вѣрующимъ людямъ подниматься надъ мелкими догматическими спорами и уходить отъ нихъ въ сферу высшей, „естественной“ религіи, доставляли истинное наслажденіе для молодого поколѣнія, учившагося въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ [2]). Евгеній Болховитиновъ, будущій митрополитъ и ученый изслѣдователь, спасся отъ гнета семинарской схоластики единственно благодаря подобному чтенію и увлекался лекціями Шадена въ московскомъ университетѣ, гдѣ раскрывалась передъ нимъ теорія нравственности Шефтсбэри и философскіе взгляды Дидро и Даламбера. Товарищи Евгенія по академіи раздѣляли его вкусы; одинъ изъ нихъ, будучи уже священникомъ, не могъ никогда разстаться съ Жанъ-Жакомъ Руссо, который умѣлъ *трогать* его душу,—и авторъ біографіи митрополита Евге-

---

[1]) „Разсужденіе, удостоен. награжденія отъ академіи дижонской въ 1750, на вопросъ, предложенный сею академіею, что возстановленіе наукъ и художествъ способствовало-ли къ исправленію нравовъ?“ Перев. Павелъ Потемкинъ. Втор. изд. напечатано было Новиковымъ (Типографич. комп.) 1787. Переводу предпослано предисловіе, полемизирующее съ „страннымъ“ мнѣніемъ философа. Учитель Фонвизина, Рейхель, выступилъ также въ рѣчи на актѣ московск. университета въ 1762 году противъ Руссо; его рѣчь, переведенная Фонвизинымъ, напечат. въ Первомъ полномъ собран. сочин. Фонвизина, М. 1888.

[2]) Правда, у насъ съ особенной легкостью признавали тогда философскими звѣздами первой величины любого изъ этихъ писателей. Такъ чествовали Попа за его „Опытъ о человѣкѣ“, переведенный профессоромъ Поповскимъ. Его считали даже вольнодумцемъ, и изъ-за этого перевода возникли клерикальныя пререканія; архіепископъ Амвросій вычеркивалъ изъ него наиболѣе опасныя мѣста, замѣняя ихъ строками своего сочиненія, или выдержками изъ французскаго переложенія поэмы. Въ Германіи гораздо раньше разгадали дилеттантизмъ подобной философіи, переложенной въ стихи изъ салонныхъ разглагольствій покровителя Попа, Болингброка. „Pope ein Metaphysiker?“ такъ въ вопросительной формѣ озаглавилъ молодой Лессингъ свой отвѣтъ на предложенную берлинской академіею конкурсную задачу, и съ большой ироніею характеризовалъ всю странность научнаго отношенія къ философской забавѣ стихотворца.—Въ новѣйшее время старинная знаменитость Попа введена въ надлежащія скромныя рамки Лесли Стифеномъ (біографія Попа въ English men of letters и статья „Pope as a moralist“ въ Hours in a library, 1874).

нія [1]), сближая эти черты, взятыя изъ жизни, съ одною изъ мастерски написанныхъ страницъ въ радищевскомъ Путешествіи, гдѣ приведены жалобы семинариста, бредущаго пѣшкомъ въ столицу учиться, на умственное коснѣніе въ бурсѣ и на неудовлетворенную жажду просвѣщенія, — имѣлъ основаніе признать живую вѣрность этой жанровой картинки.

Если же такому бурсаку выпадала завидная доля докончить образованіе на западѣ, не читать изподтишка умныя книжки, не блуждать по-ломоносовски по столбовой дорогѣ въ погонѣ за слабой и тщедушной русской наукой, изъ него выходилъ бодрый научный работникъ, съ новыми взглядами и свободными убѣжденіями. Десять семинаристовъ, посланныхъ въ 1765 г. въ Оксфордъ и Кембриджъ съ цѣлью образовать изъ нихъ профессорскій персоналъ богословскаго факультета въ Москвѣ, пробывъ въ Англіи отъ семи до девяти лѣтъ, возвратились на родину полезными и развитыми дѣятелями [2]). Троицкій семинаристъ Десницкій, довершивъ образованіе въ Шотландіи, вернулся въ Москву, гдѣ передъ нимъ открылась профессура въ университетѣ, проповѣдникомъ освободительныхъ идей. Относясь сочувственно къ принципамъ, выставленнымъ Екатериною въ „Наказѣ“, онъ шелъ дальше, и въ образецъ русскимъ реформамъ ставилъ Англію съ ея учрежденіями, культомъ законности, [3]) свободой мысли. Но онъ имѣлъ въ виду не одно только преобразованіе русскаго законодательства на гуманныхъ началахъ; въ самую жизнь хотѣлъ бы онъ вдохнуть бодрый духъ самодѣятельности, который удивлялъ его въ англичанахъ, „завоевавшихъ себѣ вольность долгой выдержкой въ борьбѣ“, — уваженіе къ человѣческому достоинству, признаніе женской равноправности, за которую онъ чуть ли не первый на Руси замолвилъ слово.

---

[1]) Кіевскій митрополитъ Евгеній Болховитиновъ, статья Н. С. Тихонравова, Русск. Вѣстникъ, 1868, № 5.

[2]) „Изъ жизни русскихъ студентовъ въ Оксфордѣ въ царств. Екатерины II“, ст. проф. Александренко, Журн. мин. нар. просв. 1893, янв.; также Вѣстн. Европы, 1873. Проектъ богослов. факультета въ московск. университетѣ при Екатеринѣ.

[3]) Любопытно, что вымышленный семинаристъ, выводимый Радищевымъ, необыкновенно высоко ставилъ переведенную Десницкимъ книгу англійскаго юриста Блекстона: „Истолкованіе англійскихъ законовъ“, и желалъ бы, „чтобъ судьи имѣли эту книгу вмѣсто святцевъ и чаще заглядывали въ нее, чѣмъ въ календарь“.

Пока складывалась, развивалась и потомъ постепенно гасла въ охладѣвшей атмосферѣ дѣятельность всѣхъ вспомянутыхъ нами писателей и ученыхъ просвѣтительной поры, миссія восемнадцатаго вѣка приходила къ концу; наиболѣе живой отголосокъ дальнихъ бурь, — книга Радищева, — былъ заглушенъ среди общаго равнодушія, и какой-то злорадный свидѣтель (по преданію, Державинъ) напутствовалъ ироничеcкой эпиграммой несчастнаго собрата-сатирика, отправлявшагося въ свое безконечное искупительное путешествіе. Но и самъ Державинъ за оду „Властителямъ и судіямъ" сочтенъ былъ якобинцемъ. Противъ Новикова уже скоплялись тучи, и общество впадало въ прежнюю запуганную безучастность. Оно стало бояться прежнихъ своихъ любимцевъ, зная теперь, къ чему неминуемо приводитъ ихъ ученіе („вы, господа французы, падали все ниже, отъ вольтерьянства въ жанъ-жакизмъ, потомъ въ рейналізмъ, и, наконецъ, въ мираболизмъ, что хуже всего," говорилъ Суворовъ Ланжерону) [1]. Давно ли, при одной вѣсти о парижскомъ переворотѣ 1789 года, въ Петербургѣ началось такое ликованіе, что, казалось, взята была не чужая, а русская Бастилія и мы были наканунѣ великихъ событій [2], давно ли, разлившись по всей Европѣ, вызвавъ восторги столь разнородныхъ дѣятелей, какъ Клопштокъ и Кантъ, Бёрнсъ и Питтъ, Эразмъ Дарвинъ, Пристлей и Шиллеръ, энтузіазмъ къ французскому освобожденію передался и на берега Невы? Вскорѣ все затихло, какъ будто испугавшись недавней смѣлости, а оффиціальная печать, сохранившая исключительное право направлять общественное мнѣніе, ежедневно пугала его парижскими ужасами, выставляя главныхъ дѣятелей злодѣями, браня Лафайэтта и Мирабо, —хотя было время,

---

[1]) Изъ неизданныхъ до сихъ поръ мемуаровъ Ланжерона въ парижск. Націон. Библіотекѣ; Larivière, Catherine II et la révolution franç., 1895, p. 105. Екатерина до извѣстнаго времени все-же старалась хоть сколько-нибудь снять вину съ философовъ, доказывая, напр., въ письмѣ Гримму, въ 1793 г., что они заблуждались, думая, что проповѣдуютъ добрымъ и честнымъ людямъ.

[2]) Сегюръ (Mémoires ou souvenirs et anecdotes, 1826) былъ свидѣтелемъ, какъ въ Петербургѣ и русскіе, и иностранцы, „встрѣчаясь на улицѣ, радостно обнимались и поздравляли другъ друга, какъ-будто ихъ освободили отъ слишкомъ тяжкой цѣпи, угнетавшей ихъ". Для самой Екатерины парижскія событія были поразительной неожиданностью. За годъ съ небольшимъ до взятія Бастиліи, 19 апр. 1788, она писала Гримму, что „не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ, кто думаетъ будто мы наканунѣ важной революціи".

когда Екатерина увлекалась американской экспедиціей Лафайэтта и предлагала ему перейти въ русскую службу, а съ Мирабо велись тайные переговоры посломъ Симолиномъ. Не могли разомъ остыть и заглохнуть молодыя еще силы, успѣвшія развиться при сравнительномъ привольѣ предшествующей поры; имъ суждено было пережить порывы негодованія, презрѣнія къ обществу, стремленія вырваться изъ оковъ; въ нихъ развились донельзя чуткая нервность, быстрые переходы отъ восторговъ къ унынію и отъ слезъ къ вызывающему смѣху. Это былъ ихъ способъ борьбы съ рутиной, способъ ребяческій, дышащій незнаніемъ жизни, — но вѣдь его принимали же за что-то великое нѣмецкіе юноши конца прошлаго вѣка, въ этомъ „Sturm und Drang'ѣ", въ сущности не сдвигавшемся съ мѣста, видѣли же они цѣль своего протестующаго существованія! И на Руси тоже не обошлось безъ своего Sturm und Drang'a, хотя длился онъ недолго, не предавался бурнымъ излишествамъ и не можетъ выставить ни одного крупнаго, созданнаго имъ, произведенія подстать къ гетевскому „Гетцу" или шиллеровскимъ „Разбойникамъ".

Карамзинъ, его другъ Петровъ, и небольшой, но тѣсный московскій кружокъ ихъ, группировавшійся около семьи Плещеевыхъ, прониклись идеями такого именно либеральнаго лиризма. Чувствительность Карамзина, унаслѣдованная отъ матери и непомѣрно развитая еще въ дѣтствѣ чтеніемъ множества переводныхъ романовъ (которое онъ даже впослѣдствіи, въ „Рыцарѣ нашего времени", признавалъ прекраснымъ педагогическимъ средствомъ противъ растлѣвающей прозы житейской) удачно встрѣтилась съ мефистофелевскимъ сарказмомъ Петрова. Нѣмецкая начитанность перваго дополнялась англійскими литературными вкусами его друга, а идеи братства и человѣчности, усвоенныя въ новиковскомъ кружкѣ, нашли для себя подготовленную почву въ свободолюбивыхъ мечтаніяхъ бывшаго ученика Шадена, никогда не забывшаго, какъ старый педагогъ приходилъ къ нимъ бывало въ классъ съ ликующимъ видомъ и съ бюллетенемъ въ рукахъ о побѣдахъ Вашингтона. Но у кружка была непосредственная связь съ школой „Бурныхъ стремленій". Послѣ болѣзненнаго,

безумнаго соперничества съ Гете, лихорадочно напряженнаго творчества во всевозможныхъ родахъ литературы, вызвавшаго въ немъ неизлечимую душевную болѣзнь, доживалъ свои послѣдніе дни въ Москвѣ лифляндецъ Ленцъ, нѣкогда одинъ изъ блестящихъ участниковъ кружка Гете. Вполнѣ владѣвшій умственными силами лишь въ полосы просвѣтовъ, онъ все же былъ живымъ свидѣтелемъ и участникомъ важнаго періода въ новой нѣмецкой поэзіи, корреспондентомъ многихъ ея дѣятелей, занимательнымъ, хоть и эксцентричнымъ разсказчикомъ о людяхъ и дѣлахъ недавняго прошлаго. Втихомолку онъ не переставалъ писать, — и искры прежняго таланта сверкали иногда въ его произведеніяхъ, на которыхъ все же лежала печать душевной боли,— пока смерть не положила конецъ его грустному существованію, и прежній баловень судьбы одиноко угасъ гдѣ-то въ окрестностяхъ Москвы. [1])

Въ кружкѣ сначала боготворили Руссо, рвались на волю и въ одиночество, поэтизировали американскую войну и предвѣстія французской революціи, швейцарскую свободу; Карамзинъ считалъ своими любимыми героями Франклина и

---

[1]) Время его жизни въ Россіи до сихъ поръ образуетъ пробѣлъ во всѣхъ его біографіяхъ. Въ одной изъ лучшихъ, принадлежащей Эриху Шмидту („Lenz und Klinger. Zwei Dichter aus der Geniezeit", Berl., 1878), оно вспомянуто, напр., лишь въ нѣсколькихъ словахъ. Балтійскій литераторъ, г. Егоръ фонъ-Сиверсъ, собиралъ матеріалы для полной біографіи Ленца и открылъ немало произведеній въ стихахъ и прозѣ, написанныхъ имъ въ Россіи; эти матеріалы отчасти напечатаны въ „Baltische Monatschrift", 1866, мартъ, 1879, 6—7 тетрадь; остальное хранится въ семейныхъ бумагахъ гг. Сиверсъ. Драматическія произведенія, оставшіяся послѣ Ленца, изданы были Карломъ Weinhold'омъ, „Dramatischer Nachlass von J. M. R. Lenz". Frankf., 1884.—Между стихотвореніями находимъ (очевидно, масонскую по титулу) оду „Le jour d'Hélène ou de fondation d'un nouvel ordre", между прозаическими проектъ открытія въ Москвѣ литературнаго съѣзда, Опытъ объ изящной словесности *безъ правилъ* („Belles lettres sans principes"); Опытъ о воспитаніи; Comédie des bêtes (драматическая сцена) и т. д. Въ числѣ отрывковъ изъ пьесъ есть сцена изъ драмы о Борисѣ Годуновѣ, изображающая разговоръ Бориса съ какимъ-то купцомъ изъ Углича, совѣтующимъ ему избавиться отъ царевича Дмитрія, и возмущающимъ правителя своимъ безстыдствомъ и цинизмомъ.—Пора „Бурныхъ стремленій" выслала въ Россію и другого своего представителя. На русской службѣ (генераломъ и попечителемъ округа) провелъ долгіе годы Клингеръ, по титулу юношеской пьесы котораго „Sturm und Drang" названъ былъ и весь періодъ. Его переписка изъ Петербурга съ Гете напечатана въ Göthe-Jahrbüch, III, 1882. Въ Россіи написаны были многіе изъ его романовъ, въ томъ числѣ повѣсть изъ жизни Фауста, (Faust's Leben), занимающая не послѣднее мѣсто въ литературѣ, вызванной гетевской трагедіей.

Вильгельма Телля. Потомъ научились цѣнить мрачныя красоты британскихъ поэтовъ и ихъ нѣмецкихъ послѣдователей. Карамзинъ, переводившій спачала дидактическія поэмы швейцарца Галлера или Геснеровы идилліи, съ увлеченіемъ переводитъ „Юлія Цезаря“ или „Эмилію Галотти“, гдѣ каждая строка дышетъ ненавистью къ тираніи и самоуправству. Вѣчная противоположность идеаловъ и дѣйствительности угнетала порою друзей до меланхоліи, чуть не до мистицизма— вмѣстѣ просиживали они до бѣлаго дня въ небольшой каморкѣ масонскаго братскаго дома, читая „Юнговы Ночи“ и смотря на стоявшее передъ ними распятіе; Карамзинъ еще изъ Москвы завязываетъ сношенія съ Лафатеромъ, посвящаетъ его въ свою душевную жизнь и проситъ указаній и совѣтовъ въ дѣлѣ нравственнаго совершенствованія. [1])

Путешествіе Карамзина по Европѣ, значительно расширивъ его горизонтъ, внесло вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе практическій элементъ въ его грезы и стремленія. Житье въ Швейцаріи не только дало ему много сладостныхъ минутъ на родинѣ его кумира Руссо, и пріучило понимать и описывать, по примѣру его и Томсона (въ его „Временахъ года“) красоты природы, но внушило ему сочувствіе къ швейцарскому соціальному строю; въ Англіи онъ внимательно присмотрѣлся къ институту мирового суда, къ суду присяжныхъ, вѣротерпимости, самоуправленію, слышалъ въ парламентѣ Фокса, Шеридана, вѣроятно, и Борка. Изъ первыхъ источниковъ познакомился онъ съ состояніемъ современной европейской мысли, отъ великаго Канта до фантаста Лафатера, и перевидалъ почти всѣхъ выдающихся поэтовъ, пытливо вызывая „великихъ людей“ на откровенность въ своихъ любознательныхъ interviews Въ легкой и разнообразной формѣ дорожнаго дневника, указанной какъ Радищеву, такъ и ему, блестящимъ примѣромъ Стерна, онъ посвящаетъ читателя въ

[1]) Письма Карамзина къ Лафатеру напечатаны въ „Запискахъ Акад. Наукъ“, 1893, томъ 73 Навсегда сохранилъ онъ свѣтлое воспоминаніе о близкомъ знакомствѣ съ нимъ въ Женевѣ и послѣ смерти Л. помѣстилъ въ „Вѣстн. Евр.“ 1802 г., № 6, переводную статью съ примѣчаніями, проникнутыми искренней симпатіею.

свои задушевныя мысли, желанія и наблюденія, [1]) и съ опредѣленными цѣлями литератора и публициста въ западномъ вкусѣ возвращается въ отечество. На немъ лежитъ такой типическій отпечатокъ европейца, въ его нарядѣ, манерахъ, свободныхъ рѣчахъ такъ видны привычки къ непринужденности и самоопредѣленію, что испуганные собесѣдники отводятъ его въ сторону послѣ одного изъ его первыхъ обѣдовъ въ петербургскомъ свѣтѣ и совѣтуютъ быть осторожнѣе.

Онъ ревностно принялся за дѣло. Его „Московскій журналъ", созданный въ подражаніе западнымъ образцамъ, былъ все таки первымъ, дѣйствительно живо веденнымъ русскимъ литературнымъ журналомъ, съ толковымъ критическимъ отдѣломъ, „Письмами русск. путешественника", т. е. занимательной хроникой европейской жизни и литературы, новой иностранной беллетристикой и попытками самого редактора создать чувствительную повѣсть стерновскаго оттѣнка (вліяніе Стерна замѣтно не только въ *Бѣдной Лизѣ*, но и въ *Натальѣ боярской дочери*, среди древнерусской обстановки [2]); легкость и выразительность новаго слога, вызванная состязаніемъ съ европейскимъ стилемъ, помогала усвоенію проводимыхъ въ массу идей и вмѣстѣ съ тѣмъ создала эпоху въ жизни русскаго языка. Изъ молодого редактора могъ выработаться со временемъ талантливый руководитель литературнаго движенія, представитель новой эстетики Лессинга и Гердера, отзывчивый на всѣ живыя явленія въ литературѣ и даже политикѣ Европы, любившій все родное, ставя, однако, выше его общечеловѣческое. „Главное дѣло,—говорилъ онъ тогда,—быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣческой, то мое, ибо я человѣкъ". Но

---

[1]) Въ „Письмахъ русск. путешеств." множество выписокъ изъ Стерна и ссылокъ на его книги; онѣ встрѣчаются напр. въ письмахъ изъ Брука, Цюриха, Лозанны. Ліона; 10 іюля 1789 г., вѣроятно подъ впечатлѣніемъ взятія Бастиліи, онъ вписываетъ изъ „Тристрама Шанди" слова капрала Трима: nothing can be so sweet as liberty" (ничто не можетъ быть сладостнѣе свободы).

[2]) Нѣсколько примѣровъ: „Любезный читатель! Прости мнѣ сіе отступленіе! Не одинъ Стернъ былъ рабомъ своего воображенія". — Кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая сообщается только для однихъ *чувствительныхъ душъ*, имѣющихъ сію сладкую вѣру" и т. п.

съ порой быстраго его писательскаго роста совпадаетъ начало наиболѣе тяжкой полосы для всей литературы. Кругомъ Карамзина рѣдѣютъ ряды друзей; Петрова уже нѣтъ, и некому охлаждать расплывчивость его чувствительности зрѣлымъ и спокойно-остроумнымъ словомъ; Новиковъ и все его мирное братство въ опалѣ; до Карамзина доходятъ слухи, что его собственное положеніе становится небезопаснымъ, что въ Петербургѣ подозрительно слѣдятъ за его дѣйствіями; сначала его, потомъ его друга Дмитріева призываютъ къ допросу. Ему приходится встрѣчать грудью всѣ невзгоды.

Вчитываясь въ его письма за послѣднія пятнадцать лѣтъ прошлаго вѣка и въ тѣ аллегорическія произведенія, гдѣ, скрываясь за какихъ-нибудь Филалетовъ или Мелодоровъ, онъ высказываетъ свое тревожное или отчаянное состояніе духа, мы ясно видимъ, какъ годъ-отъ-году онъ поневолѣ отрѣшается отъ прежнихъ надеждъ, отдается сладкогласному и безсодержательному стихотворству, или безобиднымъ философскимъ разсужденіямъ, которыя слагаетъ въ духѣ западныхъ деистовъ, издаетъ невинные альманахи (въ томъ числѣ Пантеонъ иностранной словесности), которые, несмотря на то, цензура находитъ возможнымъ обезображивать, задыхается въ своей новой роли и часто стыдится ея. Прожить съ такою печатью безмолвія на устахъ не легко для натуры не особенно сильной, и утомленный, разбитый, едва доживаетъ Карамзинъ до лучшихъ дней. Съ воцареніемъ Александра привычные Карамзину интересы выдвигаются снова на первый планъ, западничество опять дѣлается двигательной силой,—но у него уже нѣтъ прежней энергіи, жизнь успѣла многому научить, и недавній порывистый юноша, поклонникъ Франклиновъ и Теллей, истолкователь Шекспира и Лессинга,—послѣ недолгой, опять западнической журнальной попытки съ „Вѣстникомъ Европы“,—окончательно сворачиваетъ съ прежняго пути, замыкается въ тиши кабинета и за дѣлами давно минувшихъ дней начинаетъ забывать о молодыхъ, горячихъ интересахъ подросшаго на смѣну ему поколѣнія. [1])

[1]) Отмѣтимъ здѣсь же, что одно изъ первыхъ проявленій въ Карамзинѣ желанія когда-нибудь посвятить себя русской исторіи, находящееся въ письмѣ изъ Парижа, въ маѣ 1790 года, коренится въ соревнованіи съ западными народами, которые уже имѣютъ своихъ Юмовъ, Робертсоновъ и Гиббоновъ.

Не одного Карамзина коснулось влияніе той пугливой подавленности, въ которой русское общество доживало прошлое столѣтіе. Будущіе дѣятели и писатели, чья молодость совпала именно съ этой порой, навсегда сохранили слѣды ея мертвящаго духа. О сближеніи съ Европой нечего было и думать; сочувствіе ея умственнымъ интересамъ и общественнымъ движеніямъ считалось преступнымъ; въ высшихъ кругахъ запрещалось даже употребленіе предосудительныхъ словъ, напоминавшихъ чѣмъ либо о новомъ французскомъ государственномъ строѣ; ввозъ иностранныхъ книгъ въ Россію былъ сначала ограниченъ двумя таможнями, а затѣмъ и вовсе воспрещенъ; русскихъ студентовъ вернули изъ-за границы. Для поколѣнія постарше такія мѣры казались переломомъ, отреченіемъ отъ прошлаго. Вѣдь тотъ же правитель, въ молодые годы объѣхавшій всю Европу подъ именемъ графа Сѣвернаго, пріобрѣлъ популярность либеральными поступками и мнѣніями, — посѣщеніемъ отставленнаго Неккера, неудовольствіемъ по поводу запрещенія парижской театральной цензурой трагедіи „Jeanne de Naples", въ которой заподозрѣны были выходки противъ Екатерины, [1]) согласіемъ выслушать въ своемъ салонѣ чтеніе самимъ Бомарше гонимой тогда „Свадьбы Фигаро" и восхваленіемъ этой комедіи [2]). Дѣйствительно, отъ прежняго европеизма не осталось слѣдовъ. Наоборотъ, послѣ *теоретической* враждебности Екатерины противъ мятежнаго французскаго народа, готовой унизить его, ослабить его друзей, возбудить европейскую войну для обузданія Франціи, но не вмѣшивать въ нее Россію, [3]) теперь укоренялось убѣжденіе, что для насъ пришло время спасать Европу отъ гибельныхъ идей; народныя силы и деньги, героизмъ русскихъ войскъ, шедшихъ умирать въ снѣгахъ швейцарскихъ горъ или равнинахъ Ломбардіи, таланты Суворова, все напрягалось для достиженія этой безнадежной цѣли. Затишье общественной и литературной дѣятельности, въ такой степени еще нуждавшейся въ поддержкѣ запада, не могло не наступить. Случайныя свѣт-

---

[1]) Hallays-Dabot. Histoire de la censure théâtrale en France, 1862, p. 125—6.

[2]) Loménie, „Beaumarchais et son temps", II, 301—2.

[3]) Cp. Albert Sorel, L'Europe et la révolution, I, 516—18, IV, 44 etc. Larivière, Cather. et la révol., p. 98—118.

лыя минуты, въ родѣ снятія запрета съ капнистовской *Ябеды*, были слишкомъ рѣдки, чтобъ нарушить впечатлѣніе летаргическаго сна.

Закрывая „Московскій журналъ“ и замѣняя его невиннымъ альманахомъ съ приторнымъ заглавіемъ „Аглая“, Карамзинъ закончилъ свое объясненіе съ читателями грустными словами, смыслъ которыхъ оказался вскорѣ пророческимъ и для него и для всего культурнаго движенія прошлаго вѣка:

„Драма кончилась и занавѣсъ опускается“.

IV.

Внезапно пробужденное изъ летаргическаго забытья, русское общество, а вмѣстѣ съ нимъ и литература, не скоро могли притти въ себя. Слишкомъ уже силенъ былъ контрастъ между тяжелымъ кошмаромъ, который свинцовымъ гнетомъ давилъ умъ и совѣсть русскаго человѣка,—и тою радужной картиной всеобщаго благополучія, которая открылась передъ нимъ съ первыхъ же дней царствованія Александра. Оттого-то такъ много лирически-неумѣренныхъ восторговъ и оптимизма во всѣхъ тогдашнихъ проявленіяхъ общественнаго мнѣнія, начиная съ похвальныхъ словъ и одъ присяжныхъ стихотворцевъ и кончая объятіями и христосованіемъ на улицѣ незнакомыхъ другъ другу людей. Мало-по-малу упоеніе начало улегаться, и оказалось достаточно досуга, чтобъ подвести итоги всѣмъ положительнымъ пріобрѣтеніямъ. Въ числѣ снятыхъ запретовъ многіе касались и развитія образованности, науки, —не только стало вообще вольнѣе дышать, но, казалось, можно было безбоязненно мыслить и высказываться. На первый взглядъ естественно было ожидать разцвѣта литературы. Но внѣшнихъ льготъ было недостаточно; горячее рвеніе молодого правителя и того кружка его товарищей, который, словно забывая, что времена перемѣнились, окружалъ таинственностью свои либеральныя совѣщанія, украшенныя революціоннымъ титуломъ „Comité de salut public“, также не могло удовлетворить важныхъ запросовъ жизни; нужна была подготовка для широкаго развитія реформъ, нужны были надежныя нравственныя силы, самостоятельно выработавшіяся личности, — ничего подобнаго не было въ обществѣ; все вытравила изъ слабаго еще культурнаго слоя предшествовавшая реакція

Восемнадцатый вѣкъ завѣщалъ, правда, своему преемнику нѣсколько литературныхъ репутацій, которыя могли бы, казалось, взять на себя руководство русскимъ литературнымъ движеніемъ. Но въ борьбѣ съ жизнью силы этихъ людей, далеко не гигантскія, попритупились; Карамзина манило къ себѣ кабинетное затишье ученаго, Дмитріевъ и Державинъ уже вступили въ кругъ дряхлѣвшихъ, хотя и достопочтенныхъ, знаменитостей и доживали вѣкъ на правахъ литературнаго генеральства; Капнистъ, высказавъ всю мѣру своей насмѣшливой наблюдательности въ *Ябедѣ*, уединился въ своей украинской деревнѣ. Наряду съ ними подвизались различныя бездарности, преимущественно изъ бурсаковъ, выдвинувшіяся впередъ благодаря усиленному спросу на „умѣренность и аккуратность". Стародавніе вкусы, совсѣмъ было заслоненные попытками создать новую литературную школу, снова брали верхъ, и успѣхъ шишковскаго ученія былъ въ извѣстной степени обезпеченъ задолго до кризиса отечественной войны.

Но въ то самое время, когда русскій образованный слой принужденъ былъ довольствоваться подобной прѣсной умственной пищей, чуть не возвращаясь къ западному семнадцатому вѣку,—въ Европѣ снова поднимались волны сильнаго литературнаго движенія. Впечатлѣнія военной диктатуры, смѣнившей надежды на всеобщее обновленіе, воспитали и выдвинули изъ опускавшагося снова въ индифферентизмъ французскаго и англійскаго общества цѣлую школу смѣлаго протеста; раздавались вдохновенные диѳирамбы свободѣ и укоры „мѣщанской" апатіи. Продолжатели дѣла, начатаго въ Англіи немногими горячими сторонниками французскаго переворота и проповѣдниками свободы мысли, Годвиномъ съ его теоріей о „Политической Справедливости", Томомъ Пэйномъ, провозглашавшимъ „Права человѣка" и наступленіе „Вѣка разума", Бэрнсомъ, — Ландоръ, Байронъ, разрывали связи съ старымъ общественнымъ строемъ, протестовали противъ застоя и порабощенія, звали къ освобожденію всѣ угнетенныя племена. Италія, „страна мертвыхъ", пробуждалась къ тревожной жизни заговоровъ и тайныхъ обществъ, политическаго мученичества и безчисленныхъ возстаній; снова вос-

кресала дантовская греза о единой и свободной Италіи; ее прославлялъ въ своихъ одахъ Манцони, ради нея гибли, тосковали и томились Уго Фосколо, Пеллико. „Литература эмигрантовъ“ сгруппировала за предѣлами подавленной и безгласной Франціи все даровитое, недовольное, рвущееся на волю или терзаемое народной и личной скорбью, все разочарованное или полное мстительности поколѣніе „сыновъ вѣка“, воплощенное въ герояхъ Шатобріана, Бенжамена Констана, Сенанкура, г-жи Сталь. На чужбинѣ эмигранты излечивались отъ одностороннихъ французскихъ интересовъ и симпатій, знакомились съ умственной жизнью другихъ племенъ, особенно Англіи и Германіи. Блестящая характеристика новой нѣмецкой литературы въ книгѣ г-жи Сталь „De l'Allemagne“ и личныя связи ея автора съ корифеями мыслящей Германіи устанавливали международный обмѣнъ, поддерживая широкое космополитическое общеніе, такъ много обязанное учителю m-me de Staël, Руссо. Наконецъ, въ Германіи романтическое движеніе, смѣнившее періодъ „бурныхъ стремленій“, крѣпло подъ вліяніемъ внѣшнихъ политическихъ опасностей въ своемъ культѣ старины и народности, а надъ разливомъ патріотизма высились колоссальные поэтическіе таланты Гете и Шиллера, величественно допѣвавшихъ свои пѣсни среди потомства, все болѣе и болѣе чуждаго имъ.

Неравенство силъ, глубины и серьезности должно было броситься въ глаза всякому, кто захотѣлъ бы сравнить это страстное возбужденіе съ мирнымъ сномъ отечественной словесности. Каково бы ни было художественное или соціальное значеніе той или другой западной школы, слишкомъ ясно было, что тамъ все живетъ, кипитъ, волнуется, — тогда какъ ни русская поэзія державинскаго пошиба, ни журналистика Каченовскихъ и Воейковыхъ, ни едва прозябавшая въ университетѣ и академіи наука не въ силахъ были заговорить даже сколько нибудь живымъ и понятнымъ языкомъ.

А между тѣмъ ворота въ Европу были раскрыты настежъ; всякій понималъ, что и теперь, какъ прежде, у нея необходимо искать освѣженія и поддержки, снова войти въ русло общеевропейскаго развитія.

И съ довѣрчивостью плохо образованныхъ людей, которая повергала въ настоящее изумленіе такихъ умныхъ наблюдателей, какъ посѣтившая Россію г-жа Сталь (въ разговорѣ съ нею русскій собесѣдникъ всегда перечислялъ все, что гдѣ либо было высказано по какому нибудь предмету, но совершенно не въ состояніи былъ формулировать собственнаго мнѣнія), русское общество начала столѣтія гостепріимно принимало къ себѣ съ запада все и всѣхъ, плохо разбирая оттѣнки и направленія. Пришли къ нему и роялисты-эмигранты, старавшіеся привить нашимъ дворянамъ тонкости усовершенствованнаго легитимизма; одно время перекочевалъ даже весь старый французскій дворъ, нашедшій убѣжище въ Митавѣ, съ Людовикомъ XVIII во главѣ; явился и родной братъ Марата, спрятавшій свое страшное имя подъ псевдонимомъ Де-Будри, чтобъ гувернерствовать при Пушкинѣ въ лицеѣ, съ виду скромно обучать грамматикѣ, а въ интимныя минуты увлекать молодежь разсказами о революціи,—пришли іезуиты съ своими воспитательными учрежденіями [1]), и всякаго рода мистики новѣйшей формаціи, и графъ Жозефъ Де-Местръ, поучавшій заправителей нашего народнаго просвѣщенія о вредѣ наукъ для Россіи, какъ страны *послушной* и смирной; а наряду съ этимъ въ рукахъ молодежи очутились книжки стихотвореній Байрона, романтическія элегіи, проникнутыя міровой скорбью рѣчи различныхъ Рене и Адольфовъ; она съ увлеченіемъ приглядывалась къ политическому броженію на западѣ и скоро научилась сочувствовать всякому народному освободительному движенію, гдѣ бы оно ни проявилось. Противостоять этому тяготѣнію невозможно было; оно охватывало, особенно въ первые годы, всѣхъ, начиная съ молодыхъ писателей и образованныхъ дворянъ и кончая самимъ Александромъ. Если въ этомъ нашествіи иноплеменныхъ идей приходится искать источниковъ новыхъ русскихъ литературныхъ направленій, то, съ другой стороны, вся политическая и общественная программа Александра не что иное, какъ

[1]) Аббатъ Nicolle, бывшій въ Парижѣ наставникомъ въ Collège Sainte-Barbe, основалъ въ Петербургѣ пансіонъ, куда стало модой отдавать дѣтей русской знати, и куда лишь случайно не попалъ Пушкинъ; рядомъ съ этимъ съ 1800 года существовала въ столицѣ коллегія, содержимая самимъ іезуитскимъ орденомъ; тутъ въ особенности выдвинулся père Rosaven.

переложеніе на русскіе нравы гуманныхъ теорій, вычитанныхъ въ свое время изъ философскихъ и педагогическихъ западныхъ книжекъ, иногда, правда, уже нѣсколько устарѣвшихъ (близко знавшіе его люди находили, что онъ остановился на общихъ принципахъ 1789 года), его воспитателями, Лагарпомъ и Муравьевымъ; не объясняются ли именно этимъ многія черты въ его позднѣйшей, правительственной и личной жизни? Съ молоду увлеченіе идеями Руссо, сборы къ гуманному правленію во вкусѣ просвѣтителей-филантроповъ, потомъ планы конституціонныхъ реформъ въ англійскомъ духѣ, французскія основы задуманныхъ, но не выполненныхъ преобразованій Сперанскаго, патріотизмъ на почвѣ народничества, усвоенный у Штейна,—а потомъ консерватизмъ въ двухъ Меттерниха, мистицизмъ г-жи Крюденеръ, квакерство и т. д..—какая пестрая смѣна „западныхъ“ увлеченій всѣхъ родовъ наполняетъэту треволненную жизнь!

Но для того, чтобъ вліять въ частности на литературное движеніе эпохи, Александру при всемъ его сочувствіи къ умственному прогрессу недоставало живого интереса къ нему, творческой жилки, свойственной, напримѣръ, Екатеринѣ, даже просто пониманія нуждъ литературы. Если иногда ему и хотѣлось принять на себя роль мецената, то это совершенно ему не удавалось [1]). Въ противоположность своему обѣщанію править въ духѣ своей бабки, Александръ благоразумно воздержался отъ активнаго вмѣшательства въ судьбу литературы, занявъ по отношенію къ ней нейтральное положеніе, напоминающее въ извѣстной степени образъ дѣйствій Фридриха Великаго относительно литературы нѣмецкой. Подъ конецъ царствованія аналогія между александровскимъ и екатерининскимъ временемъ стала снова возстановляться; нейтральность замѣнилась подозрительностью и карами,—но уже было поздно, и обновленная литература, успѣвшая сложиться тѣмъ временемъ, вынесла и эту невзгоду.

---

[1]) Такъ онъ хотѣлъ, подражая Екатеринѣ, выказать любезность современнымъ французскимъ знаменитостямъ. Но для этого онъ просто послалъ Талейрану перстень для пожалованія, кому слѣдуетъ,—и все кончилось тѣмъ, что перстень получила какая-то посредственность.—„Lorsque Catherine faisait des largesses aux Voltaire, Buffon, d'Alembert, on savait du moins les trouver,—справедливо замѣтилъ по этому поводу Воронцовъ (Архивъ Вор., XIV, 283).

Итакъ, на какую бы то ни было помощь со стороны власти разсчитывать было нечего. Наличныя литературныя силы принялись искать новыхъ путей сами, на свой страхъ, повинуясь личнымъ вкусамъ. Никакой правильно сложившейся и дружно дѣйствующей школы мы долго не видимъ. Взамѣнъ ея, отдѣльныя личности отваживаются отклоняться отъ принятой рутины и, поддаваясь стремленію къ творческой свободѣ, отвоевываютъ шагъ за шагомъ почву для будущей литературы. Таково значеніе дѣятельности передового, ранняго отряда новыхъ писателей, Жуковскаго, Батюшкова, Нарѣжнаго.

Рано замѣтны у насъ предвѣстія приближающагося романтизма. Оссіану пришлось быть его пророкомъ и Ермилу Кострову, первому переводчику оссіановыхъ пѣсенъ, его вѣстовымъ; еще не затихло раціоналистическое направленіе галломановъ, а уже показался таинственный поѣздъ всадниковъ, богатырей дальняго сѣвера, и повѣяло суровымъ привольемъ моря и горъ.—и передъ прелестью Оссіана преклонились даже поэты въ родѣ Державина. Въ концѣ прошлаго вѣка у насъ узнали и о нѣмецкой романтической поэзіи. Н. С. Тихонравовъ [1]) считалъ первымъ проблескомъ знакомства съ романтизмомъ переводныя баллады забытой теперь поэтессы Анны Турчаниновой, поборницы женской самостоятельности, обладавшей и большою ученостью, и меланхолическимъ взглядомъ на жизнь. Извѣстная баллада казанскаго дилеттанта Каменева „Громвалъ“, съ которой (1804) обыкновенно ведется у насъ исторія романтизма, имѣла предшественницъ въ двухъ балладахъ Турчаниновой (одна переведена изъ „Reliques of ancient english poetry“ епископа Перси), помѣщенныхъ въ „Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени“ 1795 года. Жуковскій прочелъ ихъ еще въ пансіонѣ.

Обаяніе романтизма слишкомъ сильно затрогивало сокровенные помыслы и мечтанія слабонервной, черезмѣрно чувствительной натуры Жуковскаго, чтобъ не увлечь его въ подражательность. Если въ отрочествѣ онъ уже увлекался „Сель-

---

[1]) См. литографированный курсъ литературы 19 вѣка (одинъ изъ послѣднихъ, читанныхъ имъ въ Моск. университетѣ); есть надежда, что онъ скоро явится въ печати.

скимъ кладбищемъ" Грея. а въ ранней юности „Ленорой" Бюргера, двумя характеристическими проявленіями романтической поэзіи *до романтизма*, то съ годами въ томныхъ или таинственныхъ пѣсняхъ и сказаніяхъ Фуке, Новалиса, Тика, онъ находилъ отголосокъ своей рано разбитой души и. не имѣя силъ стряхнуть съ себя расплывчивость чувства и найти сколько-нибудь мужественныя, энергическія ноты, видѣлъ въ романтическомъ складѣ поэзіи единственную, на его взглядъ, сладостную и цѣлебную опору страдающаго и мыслящаго человѣчества. По свойствамъ своей природы и далеко не глубокому образованію онъ не входилъ въ изученіе сущности романтизма; свидѣвшись въ сороковыхъ годахъ съ Тикомъ, онъ не могъ столковаться съ нимъ; теоретики романтизма не существовали для Жуковскаго, и онъ очень бы изумился, услышавъ, напримѣръ, изъ устъ Фридриха Шлегеля, что „назначеніе романтической поэзіи состоитъ не только въ соединеніи всѣхъ разрозненныхъ поэтическихъ видовъ и въ сближеніи поэзіи съ философіей, но что она стремится то смѣшивать между собой, то совершенно сливать поэзію и прозу, геніальный порывъ и критику, искусственность стиха съ народной, естественной поэзіей, сдѣлать поэзію жизненной и общественной, и, наоборотъ, придать жизни и обществу поэтическій характеръ, поэтизировать остроуміе и, наполняя художественныя формы разнороднѣйшимъ и развивающимъ содержаніемъ. оживлять ихъ всѣми прихотливыми изгибами юмора" [1]).

Подобные широкіе замыслы не приходили въ голову нашему поэту. Еще разъ повторилось дѣйствіе уже указаннаго закона: по мѣрѣ пересадки къ намъ извѣстнаго литературнаго движенія, его основа суживается и мельчаетъ. Отъ широкаго изученія романтиками нѣмецкой старины, которому наука обязана развитіемъ занятій народностью и языкомъ, отъ странной, но во всякомъ случаѣ своеобразной философіи романтизма, стремившейся охватить и осмыслить всѣ жизненныя явленія, почти не осталось въ русскомъ переложеніи ни слѣда. Вадимы, Громобои, Свѣтланы, спящія дѣвы, — краси-

---

[1]) R. Haym, Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutsch. Geistes, B. 1870, 254.

вая поддѣлка подъ русскую старину, но сквозь народную одежду ея то и дѣло выступаютъ чужеземныя черты: въ Свѣтланѣ старая, всеобщая знакомая, бюргеровская Ленора, [1]) въ Вадимѣ— герой поэмы Флоріана „Вильгельмъ Телль", наконецъ въ „Пѣвцѣ въ станѣ русскихъ воиновъ" вполнѣ сходная тема патріотической пѣсни Грея „The Bard", обозрѣвавшей устами такого же театрально-эффектнаго пѣвца главныя эпохи англійской славы [2]). У романтической поэзіи Жуковскій взялъ прежде всего внѣшность,—таинственную обстановку, легіоны призраковъ и мертвецовъ, загробный міръ; затѣмъ смутное влеченіе къ народности.—и, важнѣе всего, искренность непринужденнаго выраженія чувства. Увлеченіе внѣшностью, къ счастью, прошло скоро, и хотя Жуковскому впослѣдствіи приходилось совѣститься, что онъ былъ „поэтическимъ дядькой всѣхъ чертей и вѣдьмъ", вкравшихся въ русскую поэзію,— по правдѣ сказать, это демоническое отродье вовсе не было особенно многочисленно, и все разсѣялось передъ свѣтлой музой Пушкина [3]). Такъ же быстро обветшали у насъ и прочіе внѣшніе аттрибуты *нѣмецкаго* романтизма, который, строго говоря, и совмѣщается почти исключительно въ одной только дѣятельности Жуковскаго. Но важное пріобрѣтеніе было все-таки сдѣлано. На смѣну торжественно бряцавшаго строя державинской лирики поставленъ былъ на первомъ планѣ элементъ задушевности и простоты, смѣняющейся непритворными идеалистическими порывами. Предшественники въ родѣ Новалиса (Гарденберга) съ его мистическимъ сла-

[1]) О широкомъ распространеніи странствующаго сказанія, положеннаго Бюргеромъ въ основу своей баллады и вмѣстѣ съ тѣмъ о вліяніи „Леноры" на другія литературы ср. статью Вильг. Вольнера „Ueber den Lenorenstoff in der slavischen Volkspoesie" (Archiv f. slav. Philol., 1882, II), книгу Bonnet-Maury, Burger et les origines anglaises de la ballade littéraire en Allemagne, 1889, и кн. Созоновича, „Ленора Бюргера и родственные ей сюжеты въ народн. поэзіи европейск. и русской", 1893.

[2]) Это стихотвореніе многіе знали у насъ тогда; такъ Грибоѣдовъ въ глуши Персіи. остановившись въ раздумьѣ надъ потокомъ, на мшистомъ камнѣ, сравнилъ себя съ „Греевымъ Бардомъ.—не доставало только бороды". Собр. соч., I. 34.

[3]) Обвиненіе, заключающееся въ извѣстномъ письмѣ Рылѣева къ Пушкину (Сочиненія Рылѣева, 1872, 234) и утверждающее, будто Жуковскій наряду съ большой пользой „надѣлалъ *много* зла и *многихъ* растлилъ своей поэзіей", прививъ къ ней мистицизмъ, кажется намъ полемическимъ преувеличеніемъ. Трудно было бы насчитать особенно многихъ подражателей Жуковскому, какъ мистику.

вословіемъ рано угасшей и горячо любимой невѣсты научили Жуковскаго все выстраданное имъ личное горе вносить въ его поэзію, эту искреннюю исповѣдь неудачника-однолюба, небогатую содержаніемъ, меланхолически однотонную, но правдивую. Изъ личнаго предпочтенія чувствительнаго поэта, въ сильной степени поддержаннаго вліяніемъ западныхъ образцовъ (въ Дерптѣ ему пришлось даже сблизиться съ нѣкоторыми изъ второстепенныхъ дѣятелей романтизма и получать, благодаря имъ, изъ первыхъ рукъ новости этой школы) [1]), вытекло развитіе цѣлой поэтической области, имѣющей неотъемлемое право на существованіе, наряду съ поэзіею реализма. Если же съ этимъ качественнымъ обогащеніемъ русской поэзіи сопоставить расширеніе ея горизонта, которымъ она обязана была Жуковскому-переводчику, слѣдовавшему и въ этомъ отношеніи маніи нѣмецкихъ романтиковъ переводить все лучшее въ міровой поэзіи и знакомившему насъ съ образцами восточнаго эпоса, старыми провансальцами, Камоэнсомъ, Муромъ, Байрономъ, — то эта заслуга, закоторую даже Бѣлинскій не задумался придать переводчику названіе второго Колумба, еще ярче отмѣтитъ наши обязательства по отношенію къ *нѣмецкому* романтическому движенію.

Но, чтобъ освободить вполнѣ поэзію отъ остатковъ ложноклассическаго вліянія, недостаточно было поднять въ ней значеніе идеализованной чувствительности. Земное начало, реальное, вполнѣ осязательное, давно искало доступа въ поэзію; въ угоду ему даже Державинъ отступалъ, бывало, отъ выспренняго тона и въ мелкихъ своихъ вещицахъ пытался уловить пріемы непринужденной живописи съ натуры. Рѣшительный шагъ впередъ въ этомъ отношеніи сдѣлалъ Батюшковъ, и глубокое вліяніе пластической чувственности его поэзіи на Пушкина не подлежитъ сомнѣнію. Но то, что составляло для своего времени прелесть батюшковскаго стиха, развилось подъ вліяніемъ разносторонняго чтенія чужеземныхъ поэтовъ и подражанія имъ. Воспитанникъ Муравьева, онъ съ раннихъ лѣтъ знакомъ съ классическими произве-

---

[1]) См. любопытныя данныя о вліяніи дерптскаго житья на Жуковскаго въ статьѣ Лыжина, Лѣтоп. рус. лит. и древн., 1859, II, и въ книгѣ Зейдлица „Wass. Andr. Joukoffsky, ein russ. Dichterleben“.

деніями Греціи, и подъ вліяніемъ дружбы съ Гнѣдичемъ научается цѣнить и понимать ихъ. Итальянскіе поэты, съ четырнадцатаго до шестнадцатаго столѣтія, Петрарка, Аріостъ, Тассъ, дѣлаются потомъ его любимцами. Онъ перевелъ нѣсколько новеллъ Боккачо (Гризельду), задумывалъ изданіе сборника образцовъ итальянской литературы (въ двухъ томахъ, гдѣ предполагались переводы изъ Данта, Петрарки, Аріоста, Тасса, Боккачьо и „другихъ стихотворцевъ перваго періода"). Несчастную свою долю онъ сравнивалъ съ судьбой пѣвца „Освобожденнаго Іерусалима", и искреннее стихотвореніе „Умирающій Тассъ" стало почти автобіографіей. Онъ не могъ уберечься и отъ обаянія поэзіи Байрона [1]) и присвоилъ себѣ (скрывъ это.—что съ нимъ случалось не рѣдко), [2]) правда, прекрасно переведенную имъ строфу „Чайльдъ - Гарольда" (пѣснь IV, строфа 174) воспѣвающую „наслажденіе дикостью лѣсовъ" и т. д. Онъ столь же субъективенъ въ своей поэзіи и въ выборѣ своихъ образцовъ, какъ Жуковскій; но, натура прямо противоположная романтической слезливости, онъ иначе выражаетъ и свои тревоги и горести, несчастную страсть, потерю друга, разочарованіе въ жизни и въ людяхъ, неудовлетворенную жажду славы и вліянія. Основой его писательства всегда остались гуманныя идеи прошлаго вѣка; душевному анализу онъ находилъ поддержку въ скептицизмѣ Монтаня, и въ сѣтованіяхъ несчастнаго, больного Тасса, и въ міровой скорби новѣйшихъ неудачниковъ, разочарованныхъ шатобріановскихъ героевъ (по его словамъ, 1811, онъ упивался Шатобріаномъ, особенно по ночамъ); въ свѣтлыя минуты любованія яркой земною красотой, которой онъ умѣлъ поклоняться, какъ истинный язычникъ, его звучныя, пластически красивыя пѣсни сливались съ южными канцонами и эллинскими диѳирамбами; остроуміе и легкость формы въ его бездѣлкахъ, шуткахъ, анакреонтическихъ шалостяхъ, развилось изъ состязанія съ античными и французскими образцами.

---

1) Даже во время долголѣтней душевной болѣзни ему вспоминался Байронъ, и онъ написалъ однажды фантастическое, безсвязное письмо къ нему, давно уже умершему, напечатанное въ Собр. соч. изд. Помп. Н. Батюшковымъ. III, 586.

2) Забавно подумать, сколько поколѣній учило, наприм., наизусть въ школѣ извѣстные Очерки Финляндіи и даже переводило ихъ по-французски, тогда какъ они во многихъ мѣстахъ переведены изъ Ласепеда.

Во время походовъ по Европѣ онъ сблизился наконецъ и съ нѣмецкой словесностью, и „Донъ-Карлосъ“ Шиллера, видѣнный имъ въ Веймарѣ, увлекъ его пламеннымъ идеализмомъ [1]). Но нетолько въ этомъ отношеніи онъ далеко ушелъ впередъ. Онъ былъ развитѣе и серьезнѣе многихъ изъ своихъ сверстниковъ-стихотворцевъ, — и развитіе, поддержанное наблюденіями надъ европейскою жизнью, вызывало у него осужденіе роднымъ порядкамъ и сочувствіе прогрессу. Еще въ Парижѣ онъ обсуждалъ съ Н. Тургеневымъ „общественныя потребности отечества“. Въ разсужденіи „о вліяніи легкой поэзіи на языкъ“ онъ убѣждалъ русскихъ писателей „поравнять славу языка со славой военною, *успѣхъ ума съ силой оружія*“; въ 1814 году онъ обратился къ Александру съ поэтическимъ заступничествомъ за крѣпостныхъ крестьянъ,—и еще неизвѣстно, въ какой степени въ число причинъ, породившихъ его долгую душевную болѣзнь, входило негодованіе при видѣ реакціи, смѣнившей героическую пору наполеоновскихъ войнъ. Знаемъ лишь одно,—что съ виду нерусское (какъ многіе находили тогда) воспитаніе и западные вкусы не только не сдѣлали этого человѣка равнодушнымъ космополитомъ, но пробудили въ немъ живыя и честныя стремленія.

Поодаль отъ такихъ выдающихся личностей, какъ Жуковскій и Батюшковъ, стоитъ малороссъ Нарѣжный, довольно старомодное явленіе, съ своими многотомными романами, обветшавшимъ остроуміемъ и наивностью пріемовъ. Но исторія русскаго романа не можетъ забыть, что произведенія этого грубоватаго юмориста были въ свое время необходимымъ звеномъ между безформенной, по большей части сентиментальной повѣстью восемнадцатаго вѣка и реальнымъ романомъ гоголевской школы; извѣстное вліяніе его произведеній на Гоголя (наприм., *Двухъ Ивановъ* на „Ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, *Бурсака* на описанія бурсацкаго быта въ „Віѣ“ и другихъ повѣстяхъ) несомнѣнно,—а новѣйшіе обличители различныхъ недуговъ семинарщины должны, по справедливости, вести исторію своихъ благонамѣренныхъ, но до сихъ поръ малоуспѣшныхъ

---

[1]) Біограф. Батюшкова, Л. Н. Майкова, Собр. соч., I, 173.

попытокъ отъ этого забытаго своего предшественника. Далеко не все у него было такъ неискусно и грубо, какъ это можетъ казаться; онъ уже недурной разсказчикъ, случайно дѣлаетъ мѣткія наблюденія и располагаетъ порядочными средствами слога; свою Малороссію онъ изучилъ вдоль и поперекъ. Конечно, интересно узнать, откуда онъ набрался этого, хоть внѣшняго, умѣнья, какимъ путемъ, безъ хорошихъ предшественниковъ, пришелъ къ замыслу описывать, не мудрствуя лукаво, дѣйствительную жизнь. Онъ не думалъ скрывать этой тайны и указываетъ того, кому былъ обязанъ. Его учителемъ былъ Лесажъ, которому онъ захотѣлъ даже явно подражать въ „Похожденіяхъ россійскаго Жилблаза", гдѣ подобно своему предшественнику не безъ ѣдкаго остроумія описывалъ одинъ за другимъ различные закоулки народной жизни и въ насмѣшкахъ надъ поклонниками старины выказывалъ себя сторонникомъ новой культуры [1]). Но и на него примѣръ дѣйствовалъ, не принижая его до рабской роли поклонника, а напротивъ, вызвалъ въ немъ стремленіе быть самостоятельнымъ. Онъ заявляетъ, что „хотѣлъ вывести на показъ *русскимъ* людямъ *русскаго*-же человѣка, полагая, что гораздо естественнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца. Почему Лесажъ не могъ этого сдѣлать [2]), всякій догадается; за нѣсколько десятковъ лѣтъ и у насъ нельзя было отваживаться описывать безпристрастно наши нравы" (напоминать ли, что это довѣрчивое указаніе на новый порядокъ вещей было опровергнуто дѣйствительностью, и печатаніе романа было прервано на третьей части?).

Поставивъ себѣ задачей такое же „безпристрастное описаніе нашихъ нравовъ" выступилъ, наконецъ, съ свѣжими еще силами послѣдній изъ предшественниковъ новой литературы, Крыловъ. Несмотря на крайнюю скудость образованія

---

[1]) Новѣйшая работа о Нарѣжномъ принадлежитъ Н. А. Бѣлозерской. „Вас. Трофим. Нар., историч. очеркъ", Спб. 1896.

[2]) Т. е. почему онъ принужденъ былъ перенести мѣсто дѣйствія своего романа изъ Франціи въ Испанію. Напомнимъ, что примѣръ того же Лесажа подѣйствовалъ въ свое время ободряющимъ образомъ на англійскихъ романистовъ 18-го вѣка. Фильдингъ и Смоллетъ — такіе же ученики его, какъ Нарѣжный. Если же принять въ разсчетъ, что самъ Лесажъ во многомъ обязанъ испанскимъ разсказчикамъ, то получится недурной образчикъ литературнаго обмѣна.

этого даровитѣйшаго самородка, его съ раннихъ лѣтъ коснулось вліяніе классическаго французскаго вкуса; первую свою (не сохранившуюся) трагедію „Клеопатра“ онъ написалъ по всѣмъ правиламъ теоріи Буало; первыя комическія оперы, въ которыхъ онъ хотѣлъ дать возможность зрителю „смѣяться и чувствовать“, опирались на примѣръ Бомарше и старыхъ французскихъ комиковъ. Въ сатирическихъ журналахъ его примѣнялись нормальные, общіе всей нашей старой обличительной журналистикѣ, пріемы, взятые съ запада. Наконецъ, когда всѣ другіе виды дѣятельности Крылова уступили мѣсто баснеписанію, европейское вліяніе достигло высшей силы. Захудавшій отростокъ вымиравшаго классицизма, басня, возрождается къ новой жизни, наполняется русскимъ бытовымъ содержаніемъ и окончательно пріобрѣтаетъ народность; вплоть до сатиры Грибоѣдова и Гоголя, она даже является передовой представительницей воинствующей, обличительной литературы и поднимаетъ общественное значеніе независимаго слова. Но, въ виду этихъ неоспоримыхъ заслугъ, нельзя забыть, что Крыловъ шелъ почти всегда по пути, указанному французскими и древне-греческими образцами. Благодаря извѣстнымъ *Примѣчаніямъ* г. Кеневича, книгѣ г. Флёри „Krylof et ses fables“ и нѣкоторымъ позднѣйшимъ работамъ, не только подтвердилось старое мнѣніе о подражаніи Лафонтену, въ значительныхъ размѣрахъ практиковавшемся Крыловымъ, но показано, что обработка чужихъ образцовъ происходила даже въ тѣхъ басняхъ, которыя самъ авторъ желалъ считать оригинальными, и которыя, казалось, носили живой отпечатокъ непосредственности [1]). Нельзя не удивляться мастерству, съ которымъ Крыловъ умѣлъ обрусить старинный сюжетъ, завѣщанный ему Езопомъ, Федромъ или Лафонтеномъ, Геллертомъ, даже Дидро (въ разсказѣ „l'âne et le rossignol“): нѣсколько удачно введенныхъ эпитетовъ, сравненій, описаній, много юмору и мѣткихъ выраженій,— и басня принимаетъ совсѣмъ иной видъ, точно родилась она не во французскомъ салонѣ XVII вѣка, а въ черноземной, помѣщичьей Руси (такъ въ ком. *Урокъ дочкамъ*, шагъ за

[1]) Если свести въ общій счетъ число всѣхъ заимствованій и переработокъ, наберется ровно *шестьдесятъ четыре* басни, сюда относящіяся.

шагомъ скопированной съ Précieuses ridicules Мольера, живыя бытовыя черты и бойкія выдумки крыловскаго юмора мастерски обрусили чужое произведеніе). Но основа и темы насмѣшки, остовъ произведенія, все-таки по большей части остаются чужими; собственныя прибавки нашего баснописца къ житейской философіи не всегда удачны,—то онъ принимается предостерегать отъ вреда *излишняго* знанія (въ первой четверти нынѣшняго вѣка, при Аракчеевѣ и Магницкомъ!), то обрекаетъ на вѣчныя муки опаснаго сочинителя, то порицаетъ современное ему преобразовательное движеніе, часто колеблется между рѣзкимъ обличеніемъ зла и охранительною боязливостью, [1]) и только тогда выбирается на настоящую свою дорогу, когда можетъ свободно рисовать съ натуры, въ готовыхъ рамкахъ, живые и яркіе русскіе типы; отбросивъ, подобно Лафонтену во многихъ наиболѣе смѣлыхъ его басняхъ, всякое намѣреніе поучать, выводить мораль, и довольствуясь правдивымъ изображеніемъ повседневной дѣйствительности, онъ скудными средствами басни создаетъ тогда превосходную страницу нравоописательнаго романа или сцену изъ вѣковѣчной комедіи

En cent actes divers
Et dont la scène est l'univers.

Такимъ образомъ, и Крыловъ, когда то другъ Радищева, теперь другъ отживавшихъ литературныхъ корифеевъ, раздѣлявшій многія воззрѣнія „Бесѣды", одинъ изъ двигателей патріотическаго движенія противъ галломаніи, осмѣивавшій ее и въ своихъ журналахъ, и въ комедіяхъ, былъ въ значительной степени подвинутъ на свое настоящее поприще чужою (и, странно подумать, въ особенности французскою) указкой, и, переработывая уже испытанныя и давно намѣченныя темы, сталъ однимъ изъ первыхъ трезвыхъ изобразителей русской дѣйствительности, понятныхъ и доступныхъ притомъ нетолько соотечественникамъ, но и всему образованному міру [2]).

[1]) Ср. статью Н. Аммона, „Жизненная правда и теоретическіе взгляды въ басняхъ Крылова", Журн. Мин. Народ. Просв., 1895, VIII.

[2]) Недавно (Журн. Мин. Народ. Просв., 1895, іюль, „Международное значеніе Крылова", ст. г. Драганова) подведенъ итогъ многочисленнымъ переводамъ крыловскихъ басенъ; существуетъ 164 ихъ перевода на 21 языкъ (въ томъ числѣ даже на арабскій и турецкій).

Всѣ только что характеризованныя попытки уже успѣли вдохнуть новую жизнь въ лирику, романъ и басню, и понемногу вытѣсняли укоренявшійся снова старый взглядъ на литературу, какъ забаву или школьное упражненіе, — когда на смѣну передовому отряду стала придвигаться масса новыхъ, никому невѣдомыхъ силъ. Эта пора одна изъ самыхъ любопытныхъ въ лѣтописи новѣйшей русской мысли; въ промежутокъ пятнадцати, шестнадцати лѣтъ пустѣвшій уже нашъ Парнассъ (какъ выражались въ старину) быстро населяется; тамъ, гдѣ царствовали сонъ и скука и гдѣ лишь изрѣдка раздавались художественная пѣсня или умное слово случайно шире развившагося новаго поэта, начинается немолчный шумъ и молодое, суетливое движеніе Духъ свободы и невмѣшательства приносилъ свои плоды; цѣлое поколѣніе успѣло сложиться и заявить себя. Его вниманіе обращено уже не на односторонніе предметы увлеченія отцовъ и дѣдовъ; поэзія и наука, философія и народная грамотность, политическія преобразованія и экономическіе вопросы, все интересуетъ этихъ людей; немногіе изъ нихъ (далеко не всѣ) начинаютъ съ нѣкотораго космополитизма, но и тѣ скоро проникаются сознаніемъ своихъ связей съ русскимъ народомъ. Тревога, постепенно овладѣвшая русскимъ обществомъ въ виду надвигавшейся опасности наполеоновскаго нашествія, не ослабила ихъ сочувствія европейской культурѣ: они не вторили ни фанатизму Шишкова и его друзей, обвинявшихъ „карамзинское" направленіе во всѣхъ бѣдахъ, постигавшихъ Россію, ни дешевому остроумію усердныхъ обличителей всего французскаго, комиковъ, каррикатуристовъ, авторовъ народныхъ памфлетовъ, помнили, чѣмъ обязано было Франціи ихъ отечество, и не могли отождествлять гуманнаго вліянія западноевропейскихъ идей съ побѣдоноснымъ и безотчетнымъ натискомъ желѣзной рати наполеоновскихъ гренадеръ.

Въ петербургскихъ и московскихъ гостиныхъ является новый типъ собесѣдниковъ, невольно обращающій на себя общее вниманіе странной, обдуманной простотой одежды, серьозной рѣчью. И стойкія убѣжденія ихъ, и эта строгая внѣшность, рѣдко смѣняемая вызывающей насмѣшливостью, и вѣра въ свои силы, — все это доказывало, что *имъ* будетъ

принадлежать будущее, и что старое поколѣніе принуждено будетъ сдать имъ оружіе. Откуда явились эти новые люди?...

Несмотря на запретительныя мѣры Екатерины и Павла, извѣстное общеніе нашихъ образованныхъ слоевъ съ западомъ никогда не прекращалось. Любую книгу, значившуюся въ индексѣ, можно было, хоть и за дорогую цѣну, достать въ Петербургѣ, и въ Москвѣ; русскіе студенты иностранныхъ университетовъ, насильно возвращенные при Павлѣ, снова явились на западѣ при первомъ же просвѣтѣ. Естественно, что люди, ознакомившіеся или у себя дома, изъ книгъ (школа все еще была въ жалкомъ состояніи), или же въ Европѣ, изъ перваго источника, съ западной наукой и литературой, научаясь критически относиться къ домашнимъ порядкамъ, сравнивая ихъ съ свѣжими впечатлѣніями европейской жизни, должны были много передумать и перечувствовать, и, пользуясь наставшимъ привольемъ, заговорить языкомъ внутренняго убѣжденія [1]). Тѣмъ или другимъ путемъ эта молодежь входила въ общеніе съ новѣйшими движеніями и школами запада, пріобрѣтавшими тамъ господство. Проникнутые идеями нѣмецкаго либерализма или заключивъ дружескія связи съ передовыми французскими дѣятелями, эти люди не хотѣли болѣе выдѣлять себя изъ обще-европейскаго умственнаго движенія. Въ то время, какъ старшее поколѣніе, заставшее въ молодости конецъ екатерининскаго вѣка и пору Павла, не всегда умѣло найтись въ новой обстановкѣ, легко поддалось разжигаемой въ немъ патріотической ненависти къ французамъ, а въ нѣмецкой жизни почти вовсе не оцѣнило значенія классическаго періода дѣятельности Гете и Шиллера, совсѣмъ проглядѣло Канта и Фихте [2]), молодежь, на-

[1]) Какъ чувствителенъ былъ прогрессъ свободы слова, видимъ изъ сравненія съ павловской порой, когда извѣстный впослѣдствіи Каразинъ задумалъ бѣжать за границу, не чувствуя за собой никакой вины, но только потому, что „свободный образъ мыслей его уже могъ быть преступленіемъ“, какъ онъ это самъ высказалъ въ оправдательномъ письмѣ къ Павлу Петровичу.—Рус. Старина, 1873, IV, 567—71, „Русскіе эмигранты въ царствованіе имп. Павла“.

[2]) Исключенія чрезвычайно рѣдки. Едва ли не лучшимъ изъ нихъ является Муравьевъ-Апостолъ, долго жившій въ Германіи, близко сошедшійся въ Гамбургѣ съ Клопштокомъ и проникшій въ Кенигсбергѣ въ заповѣдную келью

чинавшая жизнь при болѣе счастливой обстановкѣ, не могла не увлечься выдающимися явленіями въ европейской литературѣ и наукѣ. То, что прежде было по плечу только избраннымъ личностямъ, въ родѣ Радищева, становилось доступно массѣ молодыхъ силъ.

Для одной части нашей молодежи складывалась такая же пора гума́ннаго идеализма, она переживала такія же свѣтлыя минуты, безъ которыхъ не обходился ни одинъ поэтически настроенный нѣмецкій юноша конца прошлаго вѣка. Она и у себя, и среди волнующихся массъ нѣмецкаго студенчества, увлекалась горячими рѣчами маркиза Позы, которому близко все человѣчество, который хотѣлъ бы избавить всѣхъ людей отъ позорнаго гнета, и провозгласить свободу мысли; патріотическій порывъ поэтовъ-политиковъ въ родѣ Клейста или Теодора Кернера, сложившаго голову въ борьбѣ за отечество, возбуждалъ сочувствіе благороднымъ соединеніемъ словъ съ дѣломъ: вертеризмъ, хотя гораздо позже, чѣмъ въ Германіи [1]), затрогивалъ чувствительныя струны въ душѣ образованнаго русскаго человѣка, научавшагося отстаивать права своей личности и возводить страсть съ пошлаго уровня старинныхъ мадригаловъ до бурнаго напряженія и борьбы съ обществомъ. Отголоски второй романтической школы ласкали слухъ натуръ меланхолическихъ. Возраставшее общественное значеніе нѣмецкой философіи, которая не только облагораживала нравственное содержаніе современнаго поколѣнія, но, въ знаменитыхъ „Рѣчахъ къ нѣмецкому народу“ Фихте, умѣла уже двигать массами, подчиняло себѣ всякую сколько-нибудь склонную къ умозрѣнію натуру; свѣжая новость нѣмецкой науки, философія Шеллинга, съ которою впервые познакомилъ русскихъ вернувшійся въ началѣ вѣка

Канта. Зато Муравьевъ-Апостолъ выдѣляется изъ круга образованныхъ людей начала нынѣшняго столѣтія, и его извѣстныя въ свое время „письма въ Нижній-Новгородъ“ (въ Сынѣ Отечества, 1815 года) набрасываютъ въ легкой, общедоступной формѣ программу обязательнаго для всякаго развитаго человѣка знакомства съ міровою литературой, нѣмецкой, итальянской и т. п.—Относительно Фихте напомнимъ, что Каразинъ хотѣлъ пригласить его въ открывавшійся харьковскій университетъ.

[1]) „Вертеръ“ былъ переведенъ по-русски въ концѣ столѣтія (1794); въ 1801 г. появилось уже подражаніе, „Россійскій Вертеръ“.—Радищевъ въ своемъ Путешествіи признается, что чтеніе Вертера исторгло у него сладостныя слезы. Съ вліяніемъ Вертера на умы знакомитъ книга Аппеля „Werther und seine Zeit“.

изъ Германіи молодой ученый Велланскій, манила къ себѣ и объясненіемъ законовъ природы и новой постановкой всемірно-историческихъ культурныхъ вопросовъ.

Изъ Лейпцига или Геттингена возвращались не одни только Ленскіе, забавные своею разочарованностью въ восемнадцать лѣтъ (кстати,—когда же Ленскій успѣлъ побывать въ университетѣ?), но и такіе люди, какъ Николай Тургеневъ, который вмѣстѣ съ своими братьями такъ выгодно выдѣлялся изъ круга современной ему молодежи. Сынъ новиковскаго друга-масона (воспитателя Жуковскаго), онъ уже въ старшемъ поколѣніи видѣлъ примѣръ просвѣтительной дѣятельности въ европейскомъ духѣ. Изъ Геттингена онъ вывезъ не только смутныя „вольнолюбивыя мечты" или томную задумчивость, но и знаніе, живой интересъ къ русской дѣйствительности, [1] серьезные преобразовательные планы, поддержанные сочувствіемъ такого умнаго государственнаго человѣка, какъ баронъ Штейнъ, и, въ особенности, энергическое вмѣшательство въ сборы къ освобожденію крестьянъ, выразившееся въ извѣстной книгѣ его („Опытъ теоріи налоговъ"), которая написана была, по его же словамъ, въ Геттингенѣ въ 1810 и

---

[1]) На полезное вліяніе пребыванія русскихъ молодыхъ людей въ нѣмецкихъ университетахъ указывалъ и Пушкинъ въ Запискѣ о воспитаніи, поданной имъ императору Николаю послѣ примирительной ихъ бесѣды въ Москвѣ въ 1826 году: нагляднымъ примѣромъ онъ выставляетъ Тургенева. „Мы видимъ,—говоритъ онъ,—что Тургеневъ, воспитывавшійся въ геттингенскомъ университетѣ, несмотря на свои заблужденія и свой политическій фанатизмъ, отличался посреди буйныхъ своихъ сообщниковъ нравственностью и умѣренностью правилъ, *слѣдствіемъ просвѣщенія истиннаго и положительныхъ познаній*". Девятнадцатый вѣкъ, изд. П. Бартенева, 1872 2-я книга, стр. 212.—Это „истинное просвѣщеніе" сказывается и въ рѣдкой начитанности, которою поражаетъ его „Опытъ теоріи налоговъ", основанный на лучшихъ трудахъ французской, нѣмецкой и англійской экономической литературы, но еще болѣе въ горячемъ заступничествѣ за крѣпостное крестьянство, часто прорывающемся въ научномъ изложеніи книги. Не лишнимъ будетъ привести здѣсь нѣсколько мѣстъ, которыя покажутъ, какими помыслами о Россіи наполненъ былъ умъ этого западника: „Успѣхи Россіи, при такомъ духѣ народа и правительства (писано въ лучшую пору Александрова царствованія), каковый существуетъ въ отечествѣ нашемъ, были бы еще совершеннѣе, еслибы общей дѣятельности, общему стремленію къ образованности и къ благосостоянію не препятствовало существованіе рабства" (Опытъ, втор изд., стр. 239).—„Противникамъ освобожденія не разъ говорено было о необходимости постепеннаго ограниченія власти помѣщиковъ, которая въ дѣйствіяхъ своихъ часто бываетъ противна религіи и человѣчеству"(120).—„Благоустроенное государство не должно созидать благоденствія на несправедливости; угнетеніе одного класса гражданъ другимъ не можетъ быть залогомъ благосостоянія великаго и нравственно добраго народа" (121).

1811 г. [1]) и продавалась, по желанію автора, „въ пользу крестьянъ, на коихъ числятся недоимки въ сборѣ налоговъ". Въ томъ же Геттингенѣ молодой ученый Андрей Кайсаровъ, впослѣдствіи дерптскій профессоръ (одинъ изъ первыхъ начавшій научно разрабатывать русскую народную старину), [2]) написалъ еще въ 1806 г. латинскую докторскую диссертацію о способахъ постепеннаго освобожденія русскихъ крестьянъ. [3]) Если вспомнимъ, что тамъ же воспитывался еще въ прошломъ столѣтіи извѣстный Полѣновъ, то увидимъ, что нѣмецкая университетская среда не только не отрывала всѣхъ этихъ людей отъ русской почвы, но побуждала ихъ изъ поколѣнія въ поколѣніе передавать одну изъ важнѣйшихъ русскихъ заботъ — уничтоженіе рабства. [4])

Изъ Германіи же заимствовали новые научные взгляды тѣ молодые петербургскіе профессора, которые воспитали пушкинское поколѣніе, и должны были вскорѣ, по обвиненію въ „расколахъ и безвѣрьѣ", стать жертвами реакціи,—и прежде всего Куницынъ, авторъ „Естественнаго Права", которое потомъ признано было „противухристіанскимъ и подрывающимъ всѣ связи семейственныя и государственныя", а на дѣлѣ представляло собой попытку научнымъ образомъ отстоять среди безличнаго и безправнаго общества, неотъемлемыя права каждой человѣческой личности. Съ жадностью вслушивалась въ эти новыя рѣчи лицейская и университетская молодежь;

---

[1]) La Russie et les Russes, par Nicolas Tourgueneff. 1847, I. 96. — Въ библіотекѣ Московскаго университета хранится одно изъ любопытныхъ доказательствъ основательной научной подготовки Тургенева. Это переплетенныя въ цѣлую книгу лекціи, записанныя имъ въ 1804 году въ Геттингенѣ за извѣстнымъ въ свое время профессоромъ Эйхгорномъ. Пройденъ былъ такой обширный обзоръ всемірной литературы, съ классическаго періода до поры Гете и Шиллера включительно, вмѣстѣ съ исторіею развитія различныхъ поэтическихъ формъ,—который, конечно, трудно было тогда услышать въ русскихъ университетахъ. Эйхгорнъ сочувствовалъ англійскому научному движенію, новой нѣмецкой поэзіи, благоговѣлъ передъ Гете и Гердеромъ.

[2]) Находясь въ Германіи, онъ напечаталъ въ 1804 г. свой опытъ о славянской миѳологіи (Versuch einer slavischen Mythologie), три года спустя вышедшій по-русски подъ назв. „Миѳологія славянская и россійская".

[3]) Dissertatio inauguralis philosophicopolitica de manumittendis per Russiam servis.

[4]) Заговоривъ разъ о „Геттингенцахъ", слѣдуетъ также вспомнить о студентѣ прошлаго столѣтія, епископѣ Семенѣ Рудневѣ (Дамаскинѣ), который былъ въ Геттингенѣ въ 1766 году, и потомъ постоянно проводилъ мысль о необходимости образованія для всего русскаго народа. Его „Ученая историческая библіотека" перепеч. въ Памятникахъ древ. рус. письмен., 1881, XI.

на нихъ отдыхала она отъ педантизма остального преподаванія; здѣсь было одно изъ немногихъ противоядій свѣтской пустотѣ или пошловатымъ кутежамъ, которые она расположена была считать за настоящую жизнь, — и весьма мало преувеличенія въ благодарномъ признаніи Пушкина, что Куницынъ „создалъ ихъ и воспиталъ ихъ пламя".

Такое же, если не большее, значеніе имѣетъ въ жизни Грибоѣдова ученый геттингенецъ, на этотъ разъ уже несомнѣнно подлинный, незадолго передъ тѣмъ покинувшій Геттингенъ для Москвы, именно профессоръ Буле. Свѣдѣнія о раннемъ ходѣ развитія Грибоѣдова показываютъ, что и здѣсь мы имѣемъ передъ собой „созданіе и воспитаніе пламени" молодого студента. Университетское вліяніе, сосредоточиваясь въ особенности въ совѣтахъ и указаніяхъ глубоко образованнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ живого и энергическаго [1]) Буле, во многомъ напомнившаго собой Шварца, было цѣлебнымъ противовѣсомъ московской барской средѣ, грозившей затянуть молодого человѣка въ свою тину Противорѣчіе между нею и чистой нравственной атмосферой, открывавшейся передъ нимъ благодаря университету, давало уже зародышъ его будущей знаменитой комедіи Предполагаютъ, что она и набросана была впервые Грибоѣдовымъ въ студенческіе годы, — и такимъ образомъ сильное вліяніе Буле, которому онъ обязанъ былъ къ тому же знаніями по теоріи и исторіи драмы, и указаніями на Мольера, Аристофана, Плавта, какъ на образцы комедіи, не осталось безъ живого отраженія на ранней умственной зрѣлости комическаго писателя, призваннаго выступить обличителемъ застоя и невѣжества. И многимъ еще въ ближайшемъ будущемъ будетъ обязана молодежь александровской поры тому же нѣмецкому вліянію, — и прежде всего формѣ Тугендбунда, которая дала ей возможность сплотить ея разрозненныя силы.

Не менѣе сильно было вліяніе французское, незадолго передъ тѣмъ первенствовавшее въ русской жизни. Недавняя

---

[1]) Онъ читалъ въ Москвѣ, въ нѣсколько пріемовъ, публичныя лекціи по исторіи, археологіи, исторіи искусства, издавалъ Московскія ученыя вѣдомости, Журналъ изящныхъ искусствъ, устроилъ приватные курсы для лучшихъ студентовъ, спеціально занялся русскою исторіею.

мода на „волтерьянство“, скользившее по поверхности, начинала изглаживаться изъ памяти; обширныя помѣщичьи библіотеки, сплошь составленныя изъ французскихъ скептиковъ, приходили въ запустѣніе, и доживавшіе кое - гдѣ свой вѣкъ въ одиночествѣ чудаки-вольтерьянцы становились свидѣтелями плохо понимаемаго уже ими новаго политическаго либерализма. Пройдетъ съ десятокъ лѣтъ, и обычнымъ пугаломъ мирныхъ русскихъ обывателей явятся не вольтерьянцы, а *карбонары*, заговорщики и демагоги, которые будутъ трусливымъ людямъ мерещиться повсюду (смѣшеніе въ одной и той же средѣ, но у людей разныхъ поколѣній, боязни „фармазоновъ“, „волтерьянцевъ“, „якобинцевъ“ и „карбонаровъ“ — одно изъ тонкихъ наблюденій Грибоѣдова надъ современной ему Москвой). Но на смѣну прежнимъ поклонникамъ французскаго вліянія выступаютъ совсѣмъ иные. Въ первую четверть нашего столѣтія это вліяніе послѣдовательно принимаетъ самыя разнообразныя формы, какъ будто давая намъ возможность нагнать далеко ушедшее впередъ движеніе французской мысли.

Первые годы отмѣчены либеральнымъ лиризмомъ и идеалистическою филантропіей во вкусѣ прошлаго вѣка; весь кругъ приближенныхъ Александра тѣмъ или другимъ образомъ связанъ съ различными двигателями ранней революціонной поры, — кто провелъ молодость въ Парижѣ, кто воспитывался (какъ Строгановъ) у будущаго монтаньяра (Ромма). Съ этими задатками они подошли потомъ и къ практической дѣятельности на Руси. У нихъ было много дилеттантической неопытности и мало знанія русской жизни, но ихъ вліяніе поддержало въ Александрѣ въ лучшую пору его царствованія извѣстную терпимость и гуманныя влеченія. Но, по мѣрѣ того, какъ ранній кружокъ Александра рѣдѣлъ и уступалъ мѣсто представителямъ совсѣмъ иныхъ убѣжденій, французское вліяніе перемѣстилось въ общественную среду и, исправляя слишкомъ очевидный анахронизмъ александровскаго „Comité de salut public“, устанавливало болѣе равновѣсія въ умственныхъ интересахъ и влеченіяхъ обоихъ народовъ. Оно стало глубже и серьезнѣе, и потому пережило неистовую галлофобію, которую вызвала-было оте-

чественная война. Спачала машинально вторя обветшалымъ нападкамъ на господство парижскихъ модъ, французскую болтовню нашихъ салоновъ, на различныхъ искателей приключеній, свившихъ себѣ гнѣздо въ русскомъ обществѣ, пересмотрѣвъ на театрѣ всю благонамѣренную дребедень, доказывавшую и въ трагическомъ, и въ комическомъ родѣ вредъ переимчивости, посмѣявшись надъ сотней, другою каррикатуръ на французовъ, которыя рѣдко блистали бойкимъ остроуміемъ, [1]) образованные кружки вспомнили, что духовныя связи съ Франціей давали намъ кое-что иное, кромѣ моднаго балласта, который годенъ лишь для круга Фамусовыхъ, открытаго для „званныхъ и незваныхъ, особенно изъ иностранныхъ“. Изъ протеста противъ старой торжественности поэзіи лицейскій кружокъ Пушкина усвоилъ себѣ еще въ школьные годы игривую манеру мелкихъ французскихъ поэтовъ школы Парни или, рано привыкая щеголять остроуміемъ и бойкостью, считалъ своими образцами Беранже или забытыхъ теперь Шапфора и Ривароля. *Легкая* поэзія, которую такъ усиленно призывалъ, бывало, Батюшковъ, получила массу поборниковъ, — и не только между молодежью, но и среди старшаго поколѣнія. Василій Львовичъ Пушкинъ, побывавшій въ Парижѣ, гдѣ онъ завязалъ сношенія съ главнѣйшими изъ литераторовъ, не разставался съ стихотвореніями Беранже и, въ предсмертныя минуты, собралъ послѣднія силы, чтобы добраться до полки, гдѣ стояла любимая книжка, и прочесть еще разъ посланіе къ Лизеттѣ.

На этомъ не остановились вкусы молодой школы, все еще искавшей настоящаго пути, — и вскорѣ у недавнихъ острослововъ-эпикурейцевъ послышались болѣе серьезныя рѣчи, навѣянныя поэзіей Андре Шенье, одами Ламартина; для другихъ юношей притягательная сила французскаго національнаго элемента заключалась въ вѣрности традиціямъ свободы, устоявшимъ во французскомъ народѣ подъ гнетомъ Бонапарта и Бурбоновъ. Парижъ оставался въ ихъ глазахъ

[1]) Все число каррикатуръ, летучихъ листковъ съ иллюстраціями и т. д., вызванныхъ войною 1812 года, включая сюда и бойкіе рисунки Теребенева, и грубые по мысли и по исполненію наброски безыменныхъ живописцевъ, доходитъ до 150. Ср. описаніе ихъ у Ровинскаго, Русскія народныя картинки, 1881, II, стр. 152—224.

центромъ образованности, гуманности и либерализма. Парламентскія рѣчи вождей оппозиціи, въ чьихъ рядахъ появился снова Лафайэттъ, руководящія статьи возникавшихъ либеральныхъ газетъ, мастерскіе памфлеты Поль-Луи Курье, смѣлыя нападки Беранже на Карла X, дѣятелей реставраціи и іезуитовъ, наконецъ стихотворенія первыхъ французскихъ романтиковъ, все находило въ этой группѣ молодежи живой отзвукъ. Доходили до нея даже вѣсти о соціальной теоріи Сенъ-Симона, возбуждавшей насмѣшки и раздраженіе въ правившихъ французскихъ классахъ и восторги у немногихъ адептовъ, — хотя сильное вліяніе оказала она у насъ лишь на герценовское поколѣніе. Н. Тургеневъ разсказываетъ, съ какимъ увлеченіемъ читалась у насъ тогда газета „Minerve“, гдѣ привлекали всѣхъ статьи Бенжамена Констана; разъ, придя къ Нессельроде, Тургеневъ замѣтилъ, какъ тотъ поспѣшилъ при его входѣ взять въ руки номеръ „Minerve“, чтобъ не показаться отсталымъ въ глазахъ своего молодого гостя. Въ провинціальной глуши та же сторона французской умственной жизни вызвала въ самоучкѣ Полевомъ стремленіе къ публицистической дѣятельности, приведшее къ основанію „Московскаго Телеграфа“, который поставилъ себѣ задачей „общеніе русской словесности съ умственной жизнью Европы“. — Она же преодолѣла политическій индифферентизмъ лицейской молодежи; какъ только Кюхельбекеръ въ состояніи выбраться изъ Россіи, онъ летитъ въ Парижъ, и тамъ, съ нѣсколько фантастической, но симпатичной горячностью, точно второй Анахарсисъ Клотцъ, разсказываетъ въ публичной лекціи, прочтенной въ „Athénée royal“, объ успѣхахъ либеральнаго движенія въ Россіи и, ссылаясь на новгородскую вольность и на легендарный героизмъ Вадима, приноситъ клятву въ вѣрности своихъ соотечественниковъ принципамъ свободы. Рылѣевъ, вступая съ войсками въ Парижъ, былъ счастливъ очутиться въ немъ и чувствовать, что участвуетъ въ освобожденіи французскаго народа отъ тиранніи, — того народа, въ сердцахъ котораго съ прежней горячностью кипитъ любовь къ „независимости и славѣ“. Это сознаніе какъ будто облагораживаетъ и его собственное значеніе въ эту минуту, поэтизируетъ всю загра-

ничную кампанію и поднимаетъ въ немъ сильную ненависть къ жестокимъ и абсолютистскимъ замашкамъ нашихъ союзниковъ; они хотѣли бы раздавить несчастную Францію [1], —что̀ было особенно по сердцу и нашимъ патріотамъ въ родѣ Шишкова, заготовившаго въ этомъ духѣ манифестъ къ французскому народу, но остановлены противодѣйствіемъ Александра. Какъ же велико было недовольство Рылѣева, когда онъ увидѣлъ вскорѣ этихъ людей вдохновителями русской реакціи и когда всѣ розовыя надежды либерализма разбились подъ твердымъ натискомъ новой системы, гдѣ Меттернихъ пошелъ объ-руку съ Аракчеевымъ! Тогда раздались мужественныя и вольнолюбивыя пѣсни поэта, который ставилъ свою гражданственность не только подъ покровительство *старыхъ* русскихъ героическихъ характеровъ, и. въ своихъ „Думахъ", ихъ примѣромъ стыдилъ „изнѣженное племя переродившихся славянъ", но (пріемъ, достойный настоящаго романтика) въ столь же прямую связь съ любимыми имъ мужами древности и новѣйшаго запада. Точка зрѣнія его на назначеніе поэзіи глубже и серьезнѣе, чѣмъ у многихъ его сверстниковъ; небольшой отрывокъ, [2]) сохранившій отголоски его теоретическихъ воззрѣній и свидѣтельствующій о разностороннемъ знакомствѣ съ европейской литературой, ставитъ цѣли поэзіи выше споровъ о классицизмѣ и романтизмѣ и „веригъ, наложенныхъ на насъ Аристотелемъ", высказываетъ сочувствіе новой европейской поэзіи, начиная съ Данта и до Шиллера, Гете, „особенно Байрона, у коихъ живописуются страсти людей, ихъ сокровенныя побужденія, вѣчная борьба страстей съ тайнымъ стремленіемъ къ чему-то высокому, къ чему то безконечному". Онъ побуждаетъ современниковъ скорѣе „уничтожить въ себѣ духъ рабскаго подражанія и обратиться къ источнику истинной поэзіи", употребить „всѣ усилія осуществить въ своихъ писа-

1) Въ это самое время наши солдаты, вступая въ столицу Франціи, сложили пѣсню (Пѣсни Кирѣевскаго, выпускъ X, стр. 13), гдѣ красоты Парижа сопоставлены съ величіемъ Москвы, и гдѣ французъ, возвращаясь на родину, говоритъ:

Ты Парижъ, мой Парижокъ, Парижъ славный городокъ!
Есть получше, есть покраше Парижа̀, бѣлокаменна Москва!

2) „Нѣсколько мыслей о поэзіи", Сочиненія Рылѣева, Спб. 1872, стр. 225—31.

ніяхъ идеалы высокихъ чувствъ, мыслей и вѣчныхъ истинъ, всегда близкихъ человѣку и всегда недовольно ему извѣстныхъ". Словомъ, онъ и для поэзіи требовалъ такого же освобожденія, которое призывалъ всѣми помыслами въ другихъ сферахъ жизни.

Этотъ взглядъ имѣлъ много родственнаго съ теоріями радикальнаго *французскаго* романтизма, постепенно завоевывавшаго себѣ на родинѣ господство надъ умами, провозгласившаго устами Гюго, что „романтизмъ въ поэзіи то же, что либерализмъ въ политикѣ", и готовившагося къ своему шумливому и рьяному походу противъ стараго начала, прежде всего при помощи соціальной драмы. Вліятельный органъ романтиковъ, *Globe*, собравшій первый составъ оппозиціонныхъ литературныхъ силъ, гдѣ уже выдвигался критическій талантъ Сентъ-Бёва и Жуффруа, вызывалъ сочувствіе всѣхъ друзей новой литературы даже за предѣлами Франціи, наприм. Гете. Вскорѣ взгляды французскихъ романтиковъ были усвоены кружкомъ „Полярной Звѣзды," гдѣ отразились въ критическихъ статьяхъ Александра Бестужева, и молодой редакціею „Московскаго Телеграфа", которая подъ его знаменемъ пошла на бой съ старой школой. Во французскомъ романтизмѣ эта борьба пріобрѣтала желаннаго союзника, болѣе рѣшительнаго и энергическаго, чѣмъ нѣмецкое романтическое движеніе, тѣмъ временемъ опускавшееся, мельчавшее, уходившее въ мистицизмъ или политическое старовѣрство. Когда же къ этимъ двумъ національнымъ стихіямъ присоединилось наиболѣе могущественное видоизмѣненіе романтизма, — англійская поэзія байроновской школы, — тогда разрывъ произошелъ полнѣйшій, и возстаніе русскихъ романтиковъ противъ классицизма разгорѣлось. Это возстаніе, въ которомъ участвуютъ всѣ лучшія силы пушкинскаго періода, иногда кажется не имѣющимъ строго выработанной программы; почти никто (не исключая Пушкина) не въ силахъ удовлетворительно объяснить, въ чемъ сущность этого движенія, *что такое* романтизмъ, — и это насъ не должно удивлять. Три разнородныя стихіи сошлись тутъ, чтобъ показать молодому русскому поколѣнію необходимость свергнуть и у себя то иго, которое послѣдовательно свергалось въ другихъ странахъ.

Чуть-ли не впервые устанавливалась солидарность и одновременность русскаго литературнаго движенія съ западнымъ, и русская школа входила въ общій ходъ культурнаго развитія. Увлекались уже возможностью вырваться на волю, разбить старыхъ идоловъ и провозгласить свободу творчества, предоставляя времени выработать болѣе прочныя реформы и осмысленную программу. Отовсюду заимствовали то, что казалось особенно привлекательнымъ, — но прежде всего хотѣли быть свободными людьми, и въ творчествѣ, и въ жизни. Заслуга этого внѣшняго вліянія здѣсь слишкомъ очевидна. Отнимите его изъ ранней поэзіи Пушкина, исключите изъ нея общія тогда всей европейской молодежи стремленія и бурное недовольство, или немногія положительныя требованія,—и многое потускнѣетъ и обезцвѣтится, несмотря на внѣшнее изящество формы.

Но французская мысль и другими своими оттѣнками привлекала тогда русскихъ людей. Со временъ Петра II, когда благодаря миссіонерству Жюбэ-де-Лакура, Ирины Долгоруковой и герцога Лиріа, [1]) начались среди знати обращенія въ католицизмъ, для подобныхъ переходовъ не было удобнѣе поры, чѣмъ двадцатые годы нашего вѣка. Для группы свѣтской молодежи, увлеченной пропагандой католическихъ миссіонеровъ, самая перемѣна религіи, не обусловленная никакимъ философскимъ или общественнымъ обновленіемъ, давала удовлетвореніе религіозному чувству, и, послѣ первыхъ обращеній, вызванныхъ какимъ то авантюристомъ, шевалье Бассинэ д'Огаромъ, и петербургскими іезуитами, перешли въ католичество кн. Зинаида Волконская, Ив. Гагаринъ, Мартыновъ, г-жа Свѣчина, которой предстояло сыграть выдающуюся роль въ парижскомъ клерикальномъ мірѣ и сгруппировать вокругъ себя такихъ людей, какъ Монталамберъ, Фаллу и др. Но если новообращенные удовольствовались старымъ запасомъ католическихъ идей, то новое движеніе въ сферѣ католичества, которое съ теченіемъ времени должно было привести у Ламеннэ къ компромиссу между церковнымъ ученіемъ и либеральными запросами современности, возбудило глубокій интересъ въ такомъ замѣчательно

---

1) Ср. книгу о. Пирлинга „La Sorbonne et la Russie“ (1717—1747). P. 1882.

образованномъ человѣкѣ, какъ Чаадаевъ, [1]) по истинѣ одномъ изъ украшеній передового кружка начала вѣка; оно не только заставило его войти въ близкія отношенія къ Ламеннэ и изучить положеніе вопроса, но постепенно погружало его въ размышленія о необъятной культурной области, связанной съ католицизмомъ, въ грезы, подчасъ напоминающія мечты Данта о великомъ призваніи папы, какъ пастыря человѣчества, вдохновляющаго всѣхъ къ правдѣ, добру, законности и миролюбію. Долгія странствія по католическому западу внушили ему благоговѣніе передъ тою творческой силой, которая нѣкогда руководила фантазіею величайшихъ художниковъ, поэтовъ, музыкантовъ, зодчихъ, живописцевъ, мыслью созерцателей, волей народовъ и ихъ вождей, создавая грандіозныя массовыя движенія ради идеи, — и уныніе, безнадежное сомнѣніе (крайне и одностороннее, какъ онъ самъ находилъ впослѣдствіи, и притомъ принимавшее въ разсчетъ слабую историческую нашу науку того времени) овладѣло имъ при созерцаніи тусклаго русскаго прошлаго, скуднаго идеями, слабаго въ творчествѣ и религіозной мысли, оторваннаго отъ всего человѣчества. Для Чаадаева возсоединеніе было не удовлетвореніемъ богословской потребности, но средствомъ братски слить всѣ народы ради высшей культуры. Рядомъ съ средневѣковымъ представленіемъ о папствѣ у него выступаетъ мысль и объ идеальной свѣтской власти, о которой мечтали его французскіе пріятели. Какъ у Данта рядомъ съ просвѣтленнымъ папой является просвѣтленный императоръ съ такою же, но вполнѣ земною гуманной миссіей, такъ у Чаадаева выступаетъ могучая и свѣтлая, идеализованная мірская власть. Въ томъ просвѣтительномъ переворотѣ, который онъ призывалъ для Россіи всею душой, онъ ждалъ всего отъ сильной власти, которая смогла бы побудить массу русскаго народа усвоить иные идеалы и слиться съ западомъ; въ его философско-исторической оцѣнкѣ судебъ человѣчества мы встрѣчаемъ восторженный панегирикъ Петру. И, чѣмъ обольстительнѣе рисо-

[1]) Въ 1833 году въ Мюнхенѣ Шеллингъ отзывался о немъ кн. Гагарину, впослѣдствіи издателю его сочиненій, необыкновенно сочувственно, называя его „un des hommes les plus remarquables qu'il eût rencontrés". См. предисловіе Гагарина къ „Oeuvres choisies" Чаадаева.

вались передъ нимъ картины будущаго обновленія Руси, [1]) тѣмъ мрачнѣе и безпощаднѣе смотрѣлъ онъ на прошлое и настоящее; его возмущало національное самообольщеніе, казавшееся ему худшимъ изъ нашихъ пороковъ; осужденный на безмолвіе, онъ въ остроумныхъ и полныхъ проніи частныхъ письмахъ осмѣивалъ новѣйшія проявленія нашего самомнѣнія, и рѣзко возсталъ противъ Гоголя, [2]) когда онъ своими учительными произведеніями сталъ вторить народной гордости. Не учить другихъ, а самимъ учиться и много работать надъ собой — казалось ему нашимъ удѣломъ. Его своеобразный скептицизмъ, несомнѣнно увлекавшій многихъ въ нашемъ обществѣ гораздо ранѣе появленія въ „Телескопѣ“ извѣстнаго „Философскаго письма“, былъ конечнымъ результатомъ долгой умственной работы. которая послѣ житья на Западѣ превратила блестящаго гвардейца въ сосредоточеннаго мыслителя, склоннаго къ парадоксамъ, не устоявшимъ передъ позднѣйшей критикой, все же перваго по времени на Руси философа исторіи.

Но созерцаніе русской современности не у всѣхъ развитыхъ людей вызывало горячій рылѣевскій протестъ или скептическую насмѣшку Чаадаева, такъ жестоко наказанную признаніемъ автора сумасшедшимъ (которое вызвало полный достоинства протестъ его „Apologie d'un fou“), обреченіемъ оригинальнаго мыслителя на долгую опалу и неполноправное существованіе. Чѣмъ шире развѣтвлялась реакція и чѣмъ оскорбительнѣе становилась противоположность между грандіозными надеждами и жалкой ихъ развязкой,—тѣмъ понятнѣе и симпатичнѣе становился для натуръ слабыхъ и легко опускающихся другой оттѣнокъ современнаго литературнаго направленія во Франціи, разработывавшій темы разочарованности и міровой скорби. Тѣ же причины должны были породить у насъ одинаковыя слѣдствія. Какъ въ Германіи восемнадца-

---

[1]) „Vous savez que, selon moi, la Russie était appelée à fournir une immense carrière intellectuelle. писалъ онъ Александру Тургеневу; elle devait un jour donner la solution de toutes les questions qui se débattent en Europe“. Oeuvres choisies de Pierre Tchadaïef publ. par le P. J. Gagarin, P. 1862, p. 173.

[2]) Объ антагонизмѣ ихъ см. мою статью „Гоголь и Чаадаевъ“, Вѣстн. Евр. 1895, IX.

таго вѣка смѣна фридриховой поры узкимъ консерватизмомъ и гоненіемъ на просвѣщеніе вызвала въ литературѣ періодъ „бурныхъ стремленій“, когда недовольство часто искало себѣ исхода въ самоубійствѣ или заѣдающей рефлексіи,—такъ во Франціи имперія и реставрація возбудили такой сильный подъемъ разочарованности и грусти, который не могъ не вызвать въ литературѣ появленія надломленныхъ натуръ, предшествовавшихъ или родственныхъ байроновскимъ героямъ. До извѣстной поры эти страдальцы могли для русской публики представлять интересную литературную новинку (*Рене* былъ переведенъ въ Москвѣ еще въ 1803 году; прочли у насъ и *Peintre de Salzbourg* Шарля Нодье, варіацію на Вертера, разрѣшающуюся самоубійствомъ въ волнахъ Дуная, и *Obermann* Сенанкура, излечивающаго мрачную меланхолію трудомъ на пользу ближнихъ), но наступило время самимъ переживать такія же ощущенія и съ глубокой симпатіей отзываться на сѣтованія европейцевъ-неудачниковъ. Ранѣе правительственнаго поворота къ реакціи, нетерпимость, которою общество стало отвѣчать на просвѣтительныя стремленія образованныхъ кружковъ и отворачиваться отъ всего западнаго съ такимъ же легкомысліемъ, съ какимъ прежде льнуло къ нему, наконецъ возрастающіе успѣхи мистицизма создали для впечатлительныхъ людей положеніе мучительное: общество перестало понимать ихъ, оно чуждалось всякой „философіи“ и либерализма. Эти люди пройдутъ послѣдовательно по пути Вертеровъ, Рене, Адольфовъ, Шарлей Мюнстеровъ, если только Байронъ не укажетъ имъ во время иного исхода. Словомъ, эта „душегрѣйка новѣйшаго унынія“ (какъ называлъ ее впослѣдствіи Кирѣевскій), хотя и занесена была сначала съ чужой стороны, пришлась намъ совсѣмъ по плечу.

Вліяніе англійской умственной жизни, начинающее серьезно проявляться у насъ лишь съ первой четверти девятнадцатаго вѣка, имѣло сначала преимущественно практическій, дѣловой характеръ. Къ англійскому быту обращались за образцами и указаніями при различныхъ проектахъ преобразованій. Когда задумывался пересмотръ законодательства, искали совѣта у англійскихъ спеціалистовъ, Макинтоша и въ особенности Бентама. Къ послѣднему привлекало его ученіе о на-

ибольшей степени счастія для наибольшаго числа гражданъ, трезвый анализъ общепринятыхъ юридическихъ традицій, недовѣріе къ чрезмѣрному вмѣшательству закона въ жизнь, гуманное отношеніе къ жертвамъ уголовнаго законодательства и проповѣдь тюремной реформы. [1]) Бентама, прогостившаго въ Бѣлоруссіи около года (1786 — 87) у брата своего, который въ потемкинскихъ имѣніяхъ дѣлалъ съ его помощью опыты улучшенія быта фабричныхъ рабочихъ, хотѣли снова привлечь въ Россію и готовы были бы удержать его у себя; пріѣхавшій въ Петербургъ, въ качествѣ его делегата, популяризаторъ его идей Дюмонъ былъ радушно встрѣченъ, книга его переведена „по высочайшему повелѣнію"; но, когда наконецъ самъ Бентамъ заявилъ желаніе притти на помощь русскимъ законодателямъ, уклончивый отвѣтъ показалъ ему несвоевременность его вмѣшательства среди начинавшейся уже реакціи. Вопросъ о народномъ образованіи, заглохшій послѣ почина Екатерины, снова былъ выдвинутъ благодаря Ланкастерской системѣ взаимнаго обученія, которая сначала оффиціально распространялась (для изученія ея были посланы въ 1816 г. въ Англію четыре студента), быстро привилась у насъ въ народѣ, въ особенности въ войскахъ и на фабрикахъ, смутила своими успѣхами Хлестову и „грибоѣдовскую Москву", и была упразднена лишь изъ консервативныхъ видовъ. [2]) Уваженіе Александра къ английскимъ религіознымъ толкамъ, и прежде всего къ квакерамъ, которыхъ онъ принималъ въ Петербургѣ съ демонстративнымъ почетомъ, научило его цѣнить свободу совѣсти и у себя. Судъ присяжныхъ, введеніе котораго было проектировано съ первыхъ годовъ столѣтія, предполагалось организовать по англійскому образцу. Наконецъ, особый интересъ къ политическимъ наукамъ и народному хозяйству, отличавшій тог-

[1]) Переводы Бентама: Избран. сочиненія, пер. А. Н. Пыпина и А. Невѣдомскаго, I т. 1867. —Выдержки—въ „Библіотекѣ Экономистовъ". изд. К. Т. Солдатенкова, выпускъ V. 1895.

[2]) Декабристы занесли ее даже въ Сибирь. Якушкинъ устроилъ въ 1842 и 1846 гг. въ Ялуторовскѣ двѣ школы для мальчиковъ и дѣвочекъ, въ которыхъ принята была система Белля и Ланкастера; школы эти существовали цѣлыхъ 14 лѣтъ, до возвращенія Якушкина въ Россію (Декабристы въ западной Сибири, изслѣдованіе А. Дмитріева-Мамонова, Чтенія въ Общ. Истор. и Древ., 1895, IV. 139).

дашніе образованные кружки, былъ вызванъ распространеніемъ идей Адама Смита и его школы,—хотя нельзя не замѣтить, что изученіе теорій автора „The wealth of nations" опоздало у насъ слишкомъ на сорокъ лѣтъ. Николай Тургеневъ, по его собственнымъ словамъ, старался въ своемъ „Опытѣ теоріи налоговъ" возможно чаще говорить объ Англіи, ея наукѣ и учрежденіяхъ. Большинство проектовъ адмирала Мордвинова (такъ часто восхваляемаго Рылѣевымъ), проникнутыхъ сочувствіемъ къ русскому народу и сдѣлавшихъ имя автора дорогимъ для тогдашняго молодого поколѣнія (въ особенности его „Разсужденіе о пользахъ, могущихъ послѣдовать отъ учрежденія частныхъ по губерніямъ банковъ" (Спб., 1811), основаны на частыхъ ссылкахъ на примѣръ Англіи. [1]) Грибоѣдовъ на Кавказѣ и въ Персіи собиралъ и объяснялъ статистическія данныя. Пушкинъ въ одной недоконченной повѣсти не безъ улыбки вспоминалъ, какъ въ 1818 году въ петербургскомъ свѣтѣ всѣ старались придавать себѣ глубокомысленный видъ и разсуждать объ Адамѣ Смитѣ (тогда „строгость правилъ и политическая экономія были въ модѣ; теперь французская кадриль замѣнила Ад. Смита"). То же, съ грѣхомъ пополамъ, дѣлалъ въ юности Онѣгинъ, желая казаться „глубокимъ экономомъ".

Мало-по-малу изъ-за этого дѣлового вліянія стало выдвигаться и рости сближеніе съ англійской литературой; знаніе

---

[1]) Сравнивая въ этомъ разсужденіи Францію съ Англіею, онъ не находилъ достаточно красокъ, чтобъ выразить свое удивленіе англійскому народу: ему мало было дано, но своимъ трудомъ и самодѣятельностью онъ достигъ великихъ успѣховъ. „Взглянемъ въ Англіи на нивы, покрытыя высокою, густою жатвою отъ избраннѣйшихъ зернъ; на усадьбы, устроенныя со всѣми потребностями для покою и здравія человѣка, снабженныя лучшими орудіями и всею принадлежностью искуснаго сельскаго хозяйства; на селидбы и грады, вмѣщающіе въ себѣ сокровища совокупнаго и долголѣтняго труда человѣческаго, гдѣ умъ, искусство, дѣятельность возводятъ до совершенства науку и работу, и гдѣ каждый трудящійся способствуетъ возрастанію общаго народнаго богатства" и т. д. (стр. 7—8). О томъ же Мордвиновъ мечталъ и для Россіи; ему кажется, что въ случаѣ введенія проектируемаго имъ „сбора съ доходовъ",—„не отъимется послѣдняя нерѣдко часть отъ стяжаемаго въ трудѣ и потѣ, при солнечномъ знoѣ лѣтомъ, ни отъ вырабатываемаго замерзлыми руками, среди вихрей и мразовъ зимою, не отрѣжется въ хижинѣ нищаго ломоть отъ хлѣба, едва достаточнаго для вскормленія убогаго, но часто многочисленнаго семейства... судъ и расправа содѣлаются праведными", и т. д. (стр. 3).

англійскаго языка быстро распространялось [1]). Въ 1822 г. Пушкинъ уже признавалъ, что „англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую", и надѣялся, что „оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи". Раньше Байрона мы узнали Вальтеръ-Скотта, сначала какъ стихотворца, потомъ какъ романиста. „Waverley" былъ уже прочтенъ всѣми, тогда какъ „Чайльдъ-Гарольдъ", предварившій его на два года, былъ еще почти неизвѣстенъ; мнимое вольнодумство Вальтеръ-Скотта вызывало порою кары противъ переводчиковъ его произведеній,—и исторія цензуры хранитъ въ числѣ своихъ занимательнѣйшихъ анекдотовъ разсказъ о томъ, какъ баллада „The Eve of St. John", или „Ивановъ вечеръ", вызвала пререканія, суровый цензурный разборъ пьесы Скотта, защиту ея Жуковскимъ, запрещеніе ея, — и возрожденіе въ измѣненномъ и ослабленномъ видѣ подъ именемъ „Смальгольмскаго замка" [2]). Но ничто не могло остановить быстро возроставшей популярности Вальтеръ-Скотта, особенно съ тѣхъ поръ, какъ, склонившись передъ славой Байрона, онъ навсегда отказался отъ стихотворства, покинулъ поэму и балладу [3]), чтобъ отдаться историческому роману. Совершенно невѣдомый въ нашей литературѣ (если не считать двухъ крохотныхъ и слабыхъ историческихъ повѣстей Карамзина), романъ этотъ вызвалъ къ жизни беллетристическое изображеніе русскаго прошлаго, и на нѣсколько десятилѣтій узаконилъ у насъ пріемы шотландскаго романиста. За нимъ вслѣдъ пошли и Пушкинъ, и Гоголь въ „Тарасѣ Бульбѣ", Загоскинъ, Лажечниковъ, наконецъ, въ извѣстной степени, и Алексѣй Толстой. Историческій матеріалъ давала имъ обыкновенно „Исторія" Карамзина, но переработка его происходила по испытаннымъ уже на дѣлѣ правиламъ, которыя создали блестящій успѣхъ

---

[1]) Крестецкій дворянинъ у Радищева „англійскій языкъ, а потомъ латинскій старался сдѣлать сыновьямъ извѣстнѣе другихъ; ибо твердость духа вольности, переходя въ изображеніе рѣчи, пріучитъ и разумъ къ твердымъ понятіямъ, столь нужнымъ во всякомъ правѣ.

[2]) Сухомлиновъ. Изслѣдованія и статьи по русск. литературѣ, т. I, „Матеріалы для исторіи образов. въ Россіи при Александрѣ I", 437—447. Скабичевскій, Истор. русск. цензуры, 162—66.

[3]) Жуковскій и Вальтеръ-Скоттъ выступили на поприще романтизма съ переводами одного и того же произведенія,—бюргеровской „Леноры".

„Кенильвортскаго замка“, „Айвенго“ и другихъ наиболѣе любимыхъ у насъ произведеній романиста [1]).

Наконецъ, хотя и очень поздно, — всего за нѣсколько лѣтъ передъ смертью Байрона,—устанавливается на долго, вплоть до начала сороковыхъ годовъ, вліяніе новой англійской поэзіи, съ которымъ лишь впослѣдствіи стало спорить вліяніе Шекспира. Оно не лишено было односторонности, знало только Байрона, игнорируя такого сильнаго его соперника, какъ Шелли, и притомъ не передало во всей полнотѣ помысловъ, внутреннихъ тревогъ и общественной программы самого Байрона, — но, при всемъ этомъ, подѣйствовало необыкновенно освѣжающимъ образомъ. Какъ ни принято у насъ, съ осанкой степенныхъ и тонкихъ наблюдателей, покачивать головой при видѣ тѣхъ излишествъ и бурныхъ вспышекъ, въ которыя вовлекала Пушкина, Лермонтова, и мелкихъ ихъ современниковъ манія байронизма, нужно же сознаться, что, благодаря этой пришлой стихіи, молодость ихъ не только избавилась отъ налета пошлости, но сохранила, при всемъ давленіи среды, много благородныхъ порывовъ и живого участія къ судьбамъ народнымъ. Сила и этого направленія должна была у насъ значительно ослабѣть; придавалось много важности случайнымъ мелочамъ,—остатку аристократическихъ замашекъ у Байрона или страсти его героевъ рисоваться непризнанностью и демоническимъ величіемъ; эти мелочи быстро усвоивались и, даже у Пушкина, переходили иногда въ крайность [2]). Глубокая же соціальная основа всей этой поэзіи дѣйствовала скорѣе *общимъ* своимъ обаяніемъ, чѣмъ затронутыми ею вопросами и силой скрытаго въ ней энтузіазма.

Для людей байроновскаго закала быть поэтомъ значило быть заступникомъ и за права личности, и за права народ-

---

[1]) Увлеченіе сообщилось даже императору Николаю. Когда, по заведенному обычаю, ему представленъ былъ на цензуру „Борисъ Годуновъ“, при чемъ произведены были въ текстѣ различныя измѣненія и выброшены „слишкомъ тривіальныя выраженія“, императоръ велѣлъ передать Пушкину черезъ гр. Бенкендорфа, что предпочелъ бы, еслибъ данный сюжетъ былъ обработанъ въ историческомъ романѣ, въ родѣ произведеній Вальтеръ-Скотта.

[2]) „Чванство дворянствомъ непростительно, особенно тебѣ, — писалъ ему Рылѣевъ. На тебя устремлены глаза Россіи; тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ“.

ныя, отзываться на успѣхи борьбы, гдѣ бы она ни велась, будить человѣчество и, если нужно, жертвовать для этого всѣмъ, даже жизнью. Байрона мы видимъ участникомъ въ освободительныхъ попыткахъ въ Италіи, Испаніи, Греціи, главою дѣятельной секціи карбонаровъ, ораторомъ за рабочихъ въ Верхней Палатѣ, основателемъ политической газеты; Шелли близко принимаетъ къ сердцу страданія ирландскаго народа, отправляется въ самый центръ броженія умовъ и на время превращается въ настоящаго пропагандиста; талантливый, но до сихъ поръ мало цѣнимый Ландоръ, съ ранней юности искренній ненавистникъ всякой тиранніи, при первыхъ же вѣстяхъ о возстаніи испанскаго народа противъ Наполеона, летитъ въ Испанію и на свой счетъ выставляетъ легіонъ волонтеровъ [1]). Эту неизмѣнную основу мы найдемъ въ каждомъ выдающемся произведеніи этихъ поэтовъ и въ ихъ случайныхъ бездѣлкахъ; она вошла въ ихъ плоть и кровь [2]). Тотъ „гарольдовъ плащъ", которымъ одѣлся Онѣгинъ, вовсе не былъ такъ незамысловатъ, какъ казалось многимъ; не однообразный мотивъ скуки и пресыщенія, но сильную любовь къ независимости, тоску и негодованіе при видѣ общаго порабощенія, былъ бы онъ въ состояніи передать съ собою. Что такое *Чайльдъ-Гарольдъ*, какъ не негодующее изображеніе мрака и затишья Европы въ періодъ реакціи, перевитое изящными отступленіями и цвѣтами тонкой ироніи, какъ не вызовъ къ порабощеннымъ народностямъ во имя возрожденія и борьбы за свободу! Что такое „Донъ-Жуанъ", ославленный когда-то опаснѣйшимъ, безнравственнымъ произведеніемъ, полнымъ демоническаго сарказма, какъ не сатирическій смотръ всѣхъ племенъ Европы, проводимыхъ сквозь градъ насмѣшекъ надъ двуличностью ихъ морали и общественнаго склада, смотръ безпримѣрный по всемірно-истори-

---

[1]) Въ настоящее время снова развивается изученіе своеобразной поэзіи этого писателя, совершенно игнорируемаго нашими переводчиками (умеръ онъ въ глубокой старости, недавно, въ 1864 году). Въ Англіи есть нѣсколько кружковъ „ландористовъ". Обстоятельныя біографіи Ландора принадлежатъ Форстеру, 1869, и Sidney Colvin'у, 1881.

[2]) Характеристика байроновскаго вліянія на европейскія литературы сдѣлана въ книгѣ O. Weddigen, Byron's Einfluss auf die Liter. Europas, въ статьѣ Chiarini, Lord Byron nella politica e nella letteratura della prima metà del secolo, Nuova Antologia. 1891, fasc. 13, и мн. др.

ческой шири и по благородству мысли, взывающій къ терпимости, протестующій противъ ужасовъ и безумія войнъ! Кто станетъ искать этой широкой рамки въ русскихъ переложеніяхъ байроновской темы?

Тѣмъ не менѣе вліяніе это дѣйствовало живительно. Если въ предшествующій періодъ приходилось съ философской точки зрѣнія доказывать необходимость и „пользу страстей“, какъ это сдѣлали Крыловъ и Радищевъ, то теперь элементъ этотъ самъ съ неудержимой силой вторгался и въ жизнь, и въ поэзію. Широкій размахъ поэтической живописи, привлекательный образъ сильной и протестующей личности, разнообразіе содержанія, гдѣ современность сплеталась съ чертами дальняго востока, людская жизнь съ міромъ призраковъ и духовъ, цивилизація и первобытная простота кочевника, городской шумъ и красоты горной природы или океана,—и прежде всего чарующая новизна формы, ничѣмъ не скованная свобода стиха, соперничающая съ свободою мысли,—все это должно было увлечь русское молодое поколѣніе. Байронъ въ полномъ смыслѣ слова сталъ „властителемъ нашихъ думъ“; передъ нимъ преклонились представители всѣхъ новыхъ оттѣнковъ литературы, Грибоѣдовъ, читавшій даже подъ арестомъ „Чайльдъ-Гарольда“, Пушкинъ, [1]) Батюшковъ, прозванный-было русскимъ Тибулломъ, критики въ родѣ князя Вяземскаго, чувствительный романтикъ Жуковскій, переводчикъ „Шильонскаго замка“, и клубные друзья Репетилова, которые, наряду съ другими „важными матеріями“, толковали о Байронѣ, поэтъ политическій Рылѣевъ, и такіе свѣтскіе дилеттанты, какъ семья Раевскихъ, впервые посвятившая Пушкина въ тайны байронизма. [2]) Иные изъ нихъ со временемъ отказались отъ всякой солидарности съ байроновскимъ направленіемъ и перешли на болѣе ровную дорогу, даже стыдились своихъ молодыхъ увлеченій; но мы не можемъ не видѣть, что имъ они обязаны были самой свѣтлой порой

[1]) Въ дружескихъ письмахъ (1826 г.) Жуковскій называлъ иногда Пушкина „Бейронъ Сергѣевичъ“; Рус. Архивъ, 1889, кн. 9.

[2]) Старшій Раевскій былъ основательнѣе многихъ знакомъ съ англійской поэзіею, Вальт. Скоттомъ, Кольриджемъ, Муромъ, и, какъ показываютъ его письма къ Пушкину, могъ руководить его критическимъ вкусомъ. Л. Н. Майковъ, Историко-литер. очерки, 1895, „Изъ сношеній Пушкина съ Н. Раевскимъ“.

своей жизни. Потому-то, когда до нихъ дошла печальная вѣсть о кончинѣ любимаго поэта, ими овладѣло неподдѣльное горе [1]).

Три разноплеменныя стихіи, которыя мы здѣсь обособили, сходились въ своемъ вліяніи на русскую мысль, поддерживаемыя многими второстепенными элементами, которые дѣйствовали на нее вслѣдствіе возраставшаго сближенія съ общеевропейскими интересами. Чего не успѣвала сдѣлать литература, тому учила жизнь. Новое русское поколѣніе, слѣдомъ за своими западными сверстниками, привыкало считать, что все живое и смѣло заявляющее себя гдѣ бы то ни было не чуждо ему. Долгое пребываніе на западѣ въ періодъ войны 1813 — 15 годовъ облегчило для нашей молодежи знакомство съ общественнымъ движеніемъ Европы. Народныя движенія въ Испаніи, неаполитанская революція, таинственная дѣятельность карбонаровъ, разгарав-

---

[1]) Пушкинъ въ монастырской церкви отслужилъ панихиду по „рабѣ Божьемъ Георгіѣ“. Въ 4 части „Мнемозины“ напечаталъ онъ „Прощаніе съ моремъ“ и его пѣвцомъ, „какъ оно, могучимъ, глубокимъ, мрачнымъ, неукротимымъ“. Только что основанный „Москов. Телеграфъ“ привелъ въ первомъ же № изъ этого, тогда еще ненапечатаннаго, стихотворенія отрывокъ, помѣстилъ статью В. Скотта о Байронѣ и воспоминанія о немъ изъ Westminster Review. Большинство русскихъ стихотворцевъ поспѣшило отозваться чѣмъ нибудь на смерть Байрона. Укажемъ изъ наиболѣе удачныхъ произведеній, вызванныхъ ею, на стихи В. Кюхельбекера, изданные отдѣльно съ портретомъ англійскаго поэта (Смерть Байрона, М. 1829). Авторъ заставляетъ тѣни байроновскихъ созданій явиться къ Пушкину и возвѣстить о гибели его любимаго поэта; съ рѣзкими укоризнами авторъ обращается къ Англіи, не оцѣнившей великаго человѣка, и предвѣщаетъ ему вѣчную славу. Для образца приводимъ два, три куплета:

Упала дивная комета!
Потухнулъ среди тучъ перунъ!
Еще трепещетъ голосъ струнъ,
Но нѣтъ могущаго поэта!
Онъ палъ—и средь кровавыхъ сѣчь
Свободный грекъ роняетъ мечь!
Бардъ, живописецъ смѣлыхъ душъ,
Гремящій, радостный, нетлѣнный,
Во вѣкъ пари, великій мужъ,
Тамъ надъ Элладой обновленной!
Тиртей, союзникъ и покровъ
Свободой дышущихъ полковъ!
Ты взвѣсилъ ужасъ и страданья,
Ты погружался въ глубь сердецъ
И средь волненій и терзанья
Рукой отважной взялъ вѣнецъ,
Завидный, свѣтлый, но кровавый,
Вѣнецъ страдальчества и славы!

шаяся парламентарная борьба во Франціи, вспышки греческихъ возстаній и дѣятельность нѣмецкихъ Тугендбундовъ,— словомъ, всѣ разнородныя манифестаціи, которыми Европа отвѣчала на рядъ закрѣпощавшихъ ее конгрессовъ, находили отголосокъ въ извѣстномъ слоѣ русскаго общества. Два громкихъ уголовныхъ процесса, которыми реакція пыталась подавить колоссальный успѣхъ политическихъ пѣсенъ Беранже, вызвали и у насъ большое негодованіе, передовые журналы привѣтствовали смѣлаго пѣвца, [1]) и осужденному поэту посланъ былъ сочувственный адресъ, покрытый множествомъ подписей. [2]) Испанецъ Ріего (какъ въ наши дни Гарибальди) былъ популяренъ у насъ не менѣе, чѣмъ въ либеральныхъ кругахъ своей страны, — и даже самъ Александръ, по словамъ очевидца, съ неудовольствіемъ встрѣтилъ безтактное заявленіе радости, которое позволили себѣ въ его присутствіи придворные, узнавъ о пораженіи испанскаго демагога [3]). Въ этой житейской школѣ воспитывалось тогдашнее поколѣніе съ неменьшимъ увлеченіемъ, чѣмъ въ школѣ чисто литературнаго европейскаго прогресса. Разнообразныя попытки сгруппировать молодыя силы, Союзъ Благоденствія, Общество Соединенныхъ Славянъ и др., возникли подъ сильнымъ вліяніемъ Тугендбунда, съ главными двигателями котораго развитой военной молодежи нашей пришлось близко сойтись въ 1813 году и унести свѣтлыя воспоминанія о людяхъ, высоко поставившихъ идеалы благородства, любви къ отечеству и независимости, чуждавшихся революціонныхъ намѣреній, но готовыхъ душу положить за народное благо.

А старый порядокъ тѣмъ временемъ приготовилъ свой отвѣтъ на всѣ эти литературныя и общественныя стремленія. Противъ вольнолюбія старая партія выставила Шишкова съ его крутой цензурой и убѣжденнымъ обскурантизмомъ, [4]) про-

---

[1]) Кн. Вяземскій въ Москов. Телеграфѣ въ статьѣ, которой придана была форма „письма изъ Парижа". Собран. соч., I, 230 - 6.

[2]) Jules Janin, Béranger et son temps, 1866, p. 119—20.

[3]) Пушкинъ съ желчнымъ остроуміемъ набросалъ эту картинку съ натуры въ стихотвореніи „Сказали разъ царю" и т. д. (Сочин. Пушк., изд. Литер. Фонда. I, 298—99).

[4]) Гётце, авторъ воспоминаній объ этомъ времени, свидѣтельствуетъ, что Шишковъ отклонялъ отъ себя, въ частныхъ бесѣдахъ, обвиненіе въ умышленномъ обскурантизмѣ и духѣ гоненія, защищалъ свой цензурный уставъ, будто

тивъ новой науки выслала Фотія, Серафима, Магницкаго и Рунича; она поднимала снова устарѣвшій крикъ противъ опасности галломаніи, и въ комедіяхъ, каррикатурахъ, ростопчинскихъ собесѣдованіяхъ съ народомъ и т. д., нападала на французскія моды „завиральны идеи". и французскихъ гувернеровъ,—тогда какъ опасность вовсе была не тутъ, и, по словамъ замѣчательнаго анонимнаго отвѣта Ростопчину, [1]) „крещеные басурманы" были еще хуже такъ-называемыхъ „некрещеныхъ" („они внутри больше зла дѣлаютъ, чѣмъ французы: отъ тѣхъ хоть оборониться можно, а на этихъ и рта разинуть не смѣй"). Она со скрежетомъ зубовъ принуждена была снести пагубную снисходительность Александра къ покореннымъ французамъ, которымъ мы принесли въ даръ не презрительную брань шишковскаго манифеста, отвергнутаго императоромъ, а конституціонную хартію, выслушивать въ Парижѣ славословіе Вильмена, Сюара, юнаго Ламартина, превозносившихъ въ лицо Александру его великодушіе,—и сбиралась къ отместкѣ всему этому вольнолюбію дома. На широкую религіозную терпимость, становившуюся снова очереднымъ вопросомъ въ Европѣ, она отвѣчала суровымъ и нетерпимымъ мистицизмомъ, любившимъ мученичество не столько для себя, сколько для своихъ противниковъ, и всему новому на Руси грозила, подобно Скалозубу, дать Аракчеева „въ Вольтеры". Но и въ этомъ глухомъ противодѣйствіи прогрессу какъ мало собственныхъ словъ и пріемовъ! Для вліятельныхъ, но все же сколько-нибудь культурныхъ слоевъ авторитетными руководителями являлись такіе апостолы реакціи, какъ недавній гость петербургскій (бывшій въ теченіи пятнадцати лѣтъ сардинскимъ посланникомъ) Жозефъ де-Местръ, который въ завлекательно написанныхъ „Soirées de Saint-Petersbourg", и въ „Четырехъ главахъ" о русскихъ дѣлахъ, и въ перепискѣ, и въ личныхъ сношеніяхъ съ петербургскими дѣятелями развивалъ цѣлую те-

бы болѣе снисходительный, чѣмъ предшествовавшіе, и приводилъ примѣры какъ онъ самъ, вопреки всѣмъ цензорамъ, отстоялъ однажды изданіе извѣстныхъ записокъ Я. Шаховскаго. Н. фонъ-Гетце: Fürst Alexander Nicolajewitsch Galitzin und seine Zeit. Leipzig, 1882.

[1]) Онъ изложенъ въ формѣ письма „села Терпигорева, деревни Слабосиловки крестьянина Панкратія Филатова сына Чистоправдина". Русск. Старина, 1881, декабрь, „Нужды и горе Россіи въ 1807 году".

орію отпора духу вѣка и противодѣйствія всякимъ реформамъ, даже освобожденію крестьянъ [1]). Вся свора наемныхъ меттерниховскихъ борзописцевъ также искусно запугивала и возбуждала насъ. Наконецъ въ мистическомъ замыслѣ Священнаго союза, увлекшемъ Александра идеею охраны человѣчества отъ разрушительныхъ вліяній, не обошлось безъ вдохновителя въ лицѣ отжившей и покаявшейся вѣтренницы баронессы Крюднеръ, рѣзко перешедшей на амплуа проповѣдницы и пророчицы. Если Фотій и Аракчеевъ неповинны ни въ чемъ, мало-мальски имѣющемъ связь съ западомъ, если отъ одного изъ нихъ отдаетъ византійскимъ келейничествомъ, а отъ другого казармой военныхъ кантонистовъ, то взамѣнъ этого все мистическое движеніе, постепенно принявшее обширные размѣры и породившее огромную литературу, имѣвшее своихъ богослововъ, журналистовъ и поэтовъ, почти исключительно питалось иноземными соками, братаясь съ западнымъ мистицизмомъ и перенося къ намъ творенія различныхъ Юнговъ-Штиллинговъ, Эккартсгаузеновъ, госпожи Гіонъ; Библейское общество было косвеннымъ порожденіемъ старинной лондонской Библейской ассоціаціи, подобно тому, какъ и новѣйшее масонство не могло никогда отрѣшиться отъ своихъ западныхъ связей. Эти связи должны были подъ конецъ стать причиною гибели мистицизма, заподозрѣннаго въ неправовѣріи и вольнодумствѣ, и, когда верхъ одержала партія Аракчеева и Фотія, два большіе стана противниковъ и защитниковъ общеевропейскаго развитія очутились лицомъ къ лицу,—и среди нихъ выступалъ въ роли пустынника, призывающаго къ покаянію, ветеранъ Карамзинъ съ своей „Запиской о Древней и Новой Россіи“, отрекавшійся отъ заблужденій своей молодости, маня въ блаженный покой допетровской Руси. Наступила та удушливая пора, отъ которой Грибоѣдову приходилось спасаться въ Персію, въ умѣ Пушкина планъ бѣгства за-границу смѣнялся сборами въ китай-

---

[1]) Де-Местръ совѣтовалъ въ своихъ Quatre chapitres sur la Russie устроить особый тайный комитетъ для противодѣйствія духу реформъ и предлагалъ хитроумный проектъ парализованія эманципаціоннаго движенія. Русскія отношенія де-Местра характеризованы въ кн. George Cogordan, Joseph De-Maistre. 1891; ср. также Correspondance diplomatique de J. De M., recueillie par Albert Blanc, 1860.

скую миссію, Веневитиновъ готовъ былъ принять службу на востокѣ, а Чаадаевъ бросался въ лоно католической цивилизаціи.

Въ такой-то средѣ, при такихъ условіяхъ, ставшихъ еще томительнѣе послѣ 1825 года, прошла вся дѣятельность обоихъ главныхъ представителей возмужавшей наконецъ литературы, обоихъ вождей ея, Грибоѣдова и Пушкина, приведенныхъ самою жизнью къ необходимости выяснить и разграничить народное начало и европеизмъ. Западное вліяніе на Грибоѣдова слишкомъ очевидно. Онъ впервые прозрѣлъ и осмыслилъ дѣйствительность благодаря Буле; въ годы литературнаго ученичества вырабатывалъ свой, сначала непокорный, тяжелый стихъ на переводахъ и передѣлкахъ легкихъ французскихъ пьесъ. Зорко вглядываясь въ чужеземныя, пересаженныя къ намъ новинки, онъ видѣлъ слабыя стороны и достоинства у классиковъ и романтиковъ, переводилъ Шиллера („Семела“) и Гете (прологъ къ „Фаусту“), заступался за катенинскій переводъ *Леноры*, набрасывалъ трагедіи во французскомъ вкусѣ, — и въ написанной въ складчину комедіи *Студентъ* свободно смѣялся надъ уродствами сентиментализма и реторической напыщенности. Независимый въ жизни и въ литературѣ, онъ стоялъ между партіями, самостоятельно выбиралъ свои пути, и къ прежнимъ авторитетамъ присоединилъ со временемъ Байрона и въ особенности Шекспира, котораго тщательно и тонко изучилъ [1]). Давно, еще на студенческой скамьѣ, задумавъ „Горе отъ ума“, онъ вспомнилъ сходные съ его фабулой мотивы въ „Исторіи Абдеритовъ“ Виланда, юмористическомъ очеркѣ судьбы умнаго и много путешествовавшаго по свѣту Демокрита, ославленнаго сумасшедшимъ соотечественниками, раздраженными его свободомы-

---

[1]) Онъ хотѣлъ содѣйствовать введенію шекспировскихъ пьесъ въ репертуаръ русской сцены. Увлекаясь Каратыгинымъ, въ которомъ находилъ „геніальную душу и чудное дарованіе“, онъ читалъ ему во французскомъ переводѣ отрывки изъ „Ромео и Юліи“. Тотъ было „съ ума сошелъ, просилъ, въ ногахъ валялся, чтобъ перевести, Грибоѣдову 5-й актъ, Жандру остальные“. Грибоѣдовъ готовъ былъ согласиться, но не ждалъ добра отъ „литературныхъ товариществъ“, потому что, говорилъ онъ, „я стану переводить ***съ подлинника***, а онъ съ дурного списка; сладить трудно, перекраивать Шекспира дерзко“ и т. д. Сочин. Грибоѣд., изд. Шляпкина, I, 187. Эти сборы Грибоѣдова къ переводу Шекспира до сихъ поръ проходили незамѣченными.

слiемъ, —и въ „Мизантропѣ“ Мольера (откуда, —такъ же, какъ и изъ „Школы женщинъ“, —заимствовалъ нѣсколько стиховъ). Наконецъ въ посмертной своей трагедiи „Грузинская ночь“ онъ находился подъ сильнымъ впечатлѣнiемъ драмъ Шекспира и въ одномъ изъ уцѣлѣвшихъ явленiй воспроизвелъ въ кавказской обстановкѣ сцену вѣдьмъ изъ „Макбета“.

Это не „слѣпое, рабское подражанiе“, противъ котораго энергически возсталъ самъ Грибоѣдовъ устами Чацкаго; это и не непринужденная варiацiя на готовыя темы, непритязательное и веселое переряживанье изъ чужихъ одеждъ въ свои, которое позволило любимцу тогдашней публики, князю Шаховскому, ввести на нашу сцену „своихъ комедiй шумный рой“, и доставило эфемерную репутацiю такому противнику Грибоѣдова, какъ водевилистъ Писаревъ. Связи съ иностранными образцами были опорою самостоятельнаго творчества, служенiя своему народу. Чацкiй и герой мольеровской комедiи имѣютъ различныя цѣли и неодинаковую общественную среду передъ собой, но въ основѣ они кровно близки другъ другу; то же смѣшенiе грусти, разочарованности, съ горячимъ порывомъ впередъ, тѣ же черты общественнаго дѣятеля, стремящагося къ работѣ, не находящаго для нея простора, не оцѣненнаго и, несмотря на всѣ неудачи, непреклоннаго. Изъ всѣхъ новѣйшихъ, современныхъ ему неудачниковъ Чацкiй по своей чуткости къ народнымъ нуждамъ и способности страдать и мучиться изъ-за нихъ всего ближе къ Якову Ортису, герою романа Фосколо, но онъ не покончитъ съ собой въ припадкѣ малодушiя и отчаянiя, какъ Ортисъ, но гордо понесетъ свой крестъ до конца, и при малѣйшемъ просвѣтѣ проявитъ свои великiя дарованiя.

Чацкiй не даромъ много путешествовалъ по Европѣ, тонко наблюдая ея учрежденiя и жизнь (черта всего, болѣе подавшая, вѣроятно, поводовъ считать его прототипомъ Чаадаева); онъ всюду видѣлъ слѣды самостоятельной нацiональной работы и вмѣстѣ съ тѣмъ участiя въ общечеловѣческомъ культурномъ движенiи. Только дома, на родинѣ, онъ увидалъ съ одной стороны полную безличность и раболѣпiе передъ всѣмъ иноземнымъ, съ другой ненависть къ просвѣтительному движенiю и „законносвободнымъ“ (какъ перево-

дилъ нѣкогда Александръ I слово „либеральный“) стремленіямъ новыхъ поколѣній, сближавшимъ тогда мыслящую Европу для отпора повсемѣстной реакціи. Въ комедіи слишкомъ много примѣровъ открытаго заступничества за гонимую литературу, науку, народную школу, крѣпостное крестьянство, чтобъ нужно было еще доказывать глубокія симпатіи писателя къ требованіямъ передовой партіи.

Горячая любовь къ русской старинѣ и народности, основанная на рѣдкомъ въ то время спеціальномъ знакомствѣ съ исторіею и археологіею Россіи, свободно уживалась у Грибоѣдова съ европеизмомъ. Безъ слащавой щербатовской идеализаціи дальняго прошлаго, онъ любилъ переноситься въ него мыслью, чтобъ по-рылѣевски вызвать изъ него для ободренія современниковъ дѣдовскій героизмъ и силу воли; онъ могъ вмѣстѣ съ Чацкимъ (кстати сказать, и съ извѣстнымъ Штейномъ, спасшимся въ Петербургъ отъ Наполеона) желать измѣненія русскаго костюма во вкусѣ стариннаго удобнаго и теплаго одѣянія, но, конечно, хотѣлъ бы видѣть облеченныхъ снова въ кафтаны и охабни соотечественниковъ пользующимися всѣми выгодами новаго просвѣщенія и политическихъ правъ, за которыя такъ искренно заступался. Подобно Чацкому, онъ не заявлялъ притязаній на самостоятельно выработанную теорію, скромно признавая за собой лишь „пять, шесть мыслей здравыхъ“,—но еслибъ только треволненія его жизни дали ему возможность развить и обосновать ихъ, эти мысли могли бы уже въ началѣ вѣка представить опытъ искуснаго сліянія двухъ враждовавшихъ направленій. Чацкій-Грибоѣдовъ не только былъ другомъ декабристовъ и передовымъ общественнымъ дѣятелемъ, — онъ опередилъ свое время и какъ мыслитель.

Въ развитіи таланта Пушкина—еще бóльшая и сложная смѣсь вліяній западной поэзіи и мысли. Ихъ рядъ открывается тѣми кумирами, которымъ онъ научился поклоняться еще въ кружкѣ своего отца, гдѣ эмигранты-роялисты сливались съ офранцуженными баричами. Ребенкомъ онъ подражалъ Вольтеру въ своихъ „поэмахъ“ и списывалъ Мольера въ своихъ дѣтскихъ комедіяхъ. Потомъ настала очередь пикантныхъ и легковѣсныхъ французскихъ стихотворцевъ прошлаго вѣка,

пѣвцовъ чувственности и „галантности", увлекавшихъ всѣ свободныя лицейскія силы въ безконечное перетираніе игривыхъ темъ. Изъ-за этихъ любимцевъ, однако, понемногу выдвигаются важнѣйшіе дѣятели другихъ литературъ, сначала совсѣмъ невѣдомыхъ Пушкину. Дельвигъ приноситъ въ дружескія бесѣды знакомство съ нѣмецкой поэзіей. Фантастическіе эффекты Оссіана не миновали и лицейской молодежи. Кюхельбекеръ научилъ друзей находить во французской жизни кое-что посерьезнѣе прискучившихъ уже имъ Парни и Грессе съ братіею,—и отраженіе возрождавшейся національной жизни въ элегіяхъ Шенье или политическихъ пѣсняхъ Беранже сильно дѣйствовало уже на умы. Въ разгаръ лицейскаго періода составляется, такимъ образомъ, столь разнообразная библіотека образцовъ, иностранныхъ и русскихъ, что самъ Пушкинъ не безъ труда перечисляетъ ихъ и подводитъ итогъ своей начитанности и увлеченіямъ европейскою поэзіею въ автобіографическомъ стихотвореніи *Городокъ*, написанномъ имъ еще по пятнадцатому году,—и столь же цѣнномъ въ этомъ отношеніи, какъ памятная записка юнаго Байрона, обозрѣвавшая еще болѣе внушительный запасъ прочитанныхъ имъ въ школьные годы англійскихъ и иностранныхъ поэтовъ, историковъ, философовъ [1]). Нестройное, хаотическое состояніе его творчества, почти не выходящаго изъ сплошной подражательности, начинаетъ уступать мѣсто болѣе художественнымъ произведеніямъ. *Русланъ и Людмила* стоитъ на грани новаго періода, внося въ поэзію свѣжій элементъ народной сказочной старины. Намъ понятно сильное впечатлѣніе, произведенное этой поэмой, понятны и негодующіе вопли, раздавшіеся изъ лагеря литературныхъ старовѣровъ. *Русланъ* (подобно виландову *Оберону* или *Сиду* Гердера) былъ дѣйствительно новинкой для русскаго читателя, заинтересовавшей его заброшеннымъ міромъ народности,—но, по ироніи судьбы, эта первая попытка найти русское содержаніе для поэмы была внушена Пушкину не народными сказками, а шутливымъ эпосомъ Аріоста и его

[1]) Thomas Moore. The letters and journals of Lord Byron with notices of his life, 1873, I, 46—47; въ этомъ спискѣ особенно много историческихъ сочиненій и біографій; въ отдѣлѣ поэзіи значатся „всѣ англійскіе классики, нѣсколько французскихъ (Сидъ Корнеля—любимая пьеса).—„безчисленные греческіе и латинскіе поэты" и т. д.

школы, въ такой же прихотливой смѣси соединявшимъ повѣсть о волшебныхъ дѣяніяхъ старины съ насмѣшливыми выходками и надъ ними и надъ легковѣріемъ читателя.

Политическія эпиграммы и „Ода вольность“, заклинавшая „свободы гордую царицу“ „открыть поэту благородный слѣдъ *возвышеннаго галла,* кому она сама средь грозныхъ бѣдъ внушала гимны смѣлые“, [1]) т. е. Андре Шенье, являются признаками иного, еще болѣе важнаго поворота въ настроеніи недавно еще индифферентнаго молодого поэта. Политическая поэзія западной Европы уже успѣла завладѣть имъ, — а возлѣ стояли такія обаятельныя личности, соединявшія высокое развитіе съ стремленіями общественными, какъ Чаадаевъ, воспѣтый юношей въ цѣломъ рядѣ стихотвореній.

Когда, въ первые же мѣсяцы ссылки на югъ, взволнованнаго и возмущеннаго несправедливостью поэта впервые коснулось вліяніе Байрона, почва для усвоенія протестующей поэзіи была уже подготовлена Начинается многолѣтній періодъ его байронизма, богатый возбужденіями къ дѣятельности, разнообразіемъ темъ и характеровъ, указавшій поэту великое призваніе народнаго вождя и установившій его связь съ наиболѣе жизненными движеніями современности Онъ не усвоилъ себѣ всего содержанія байронизма, хотя въ первые, наиболѣе бурные годы своего невольнаго скитальчества былъ уже на пути къ тому,—все-же многимъ былъ онъ обязанъ въ своемъ литературномъ ростѣ вліянію любимаго поэта. Слѣдомъ за „Восточными поэмами“ Байрона впервые ввелъ онъ въ русскую поэзію картины природы и быта странъ экзотическихъ, Кавказа, Крыма, дикой степной Бессарабіи, вмѣстѣ съ своимъ образцомъ увлекаясь возможностью сопоставлять цивилизованную, изломанную и ненормальную жизнь съ привольной жизнью дѣтей природы, и свѣтскія цѣпи съ свободой, здоровьемъ и нравственной силой первобытныхъ племенъ, грезившейся Байрону, вѣрному ученику Руссо. Сложное вліяніе *Беппо, Донъ-Жуана* и *Чайльдъ-Гарольда* внушило ему замыселъ *Онѣгина;* въ *Бахчисарайскомъ Фонтанѣ* гаремныя сцены живо напоминаютъ *Донъ-Жуана*, а характеръ Гирея—новый оттискъ

[1]) Соч. Пушкина, изд. Лит. Фонда, 1887, I, 219.

съ байроновскаго клише Али-паши Янинскаго; *Корсаръ* и *Шильонскій узникъ* отразились въ *Братьяхъ-Разбойникахъ*. На смѣну лицейскаго восхваленія счастливой лѣности и наслажденія жизнью, воспѣванія крѣпостныхъ актрисъ и царскосельскихъ мѣщанокъ подъ вычурными именами разныхъ Доридъ и Лилетъ, является горячее изображеніе страстей и увлеченій, и рядъ изящно написанныхъ женскихъ головокъ, подстать къ байроновскимъ героинямъ; эпикурейца, жуира и blagueur'a смѣнила страдающая и сумрачная тѣнь непризнаннаго и разочарованнаго избранника,—сначала очень блѣдная въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ*, потомъ оживающая, надѣленная кипучими страстями, презрѣніемъ къ людскимъ предразсудкамъ и стремленіемъ къ свободной жизни.

Проснулся въ поэтѣ и живой интересъ къ современнымъ народнымъ движеніямъ; достойное Байрона сочувствіе къ угнетеннымъ прозвучало въ стихотвореніи „Возстань, о Греція, возстань", въ горячемъ участіи, выказанномъ Пушкинымъ къ успѣху греческаго возстанія, затѣяннаго въ Молдавіи Александромъ Ипсиланти, въ симпатіи къ неаполитанскимъ инсургентамъ (стихотворное письмо къ В. Давыдову, возглашающее здоровье *тѣхъ* (итальянскихъ либераловъ) и *той* (свободы), [1]) въ различныхъ планахъ произведеній на политическія темы вродѣ драмы и поэмы *Вадимъ*, съ новыми диѳирамбами новгородской вольности. Русская дѣйствительность была имъ глубже понята теперь, ближе принята къ сердцу, чѣмъ въ прежніе годы, когда все оцѣнивалось съ точки зрѣнія хлесткой эпиграммы. Прежніе друзья Пушкина, изъ партіи дѣйствія, помнили его петербургскимъ блестящимъ и непостояннымъ остроумцемъ, и потому не рѣшались открыться ему вполнѣ; инымъ человѣкомъ сталъ онъ на югѣ,—и горько сѣтовалъ на это недовѣріе. Но они не ошиблись. Его необыкновенно даровитая натура не пригодна была для какого бы то ни было продолжительнаго дѣйствія въ общественномъ смыслѣ. Самъ поэтъ произнесъ съ обычной своей откровенностью суровый приговоръ и своимъ сверстникамъ, оставшимся на этомъ берегу, и себѣ:

---

1) Сочин. Пушк., изд. Лит. Фонда, VII, 21.

Но праведникъ изнеможденный,
Въ цѣпяхъ, на казни осужденный,
Съ лампадой, брежжущей во тьмѣ,
. . . . не склонитъ
На свитокъ вашъ очей своихъ
И на стѣнѣ вашъ вольный стихъ
. . . . не начертитъ
Грядущимъ узникамъ въ привѣтъ...

Но изъ этого грустнаго признанія въ отсутствіи стойкости, изъ сравненія себя съ сѣятелемъ, вышедшимъ на посѣвъ слишкомъ рано, „до звѣзды“, и охладѣвшимъ къ безплодной работѣ, вовсе не вытекаетъ общепринятый взглядъ на раннее охлажденіе Пушкина къ любимѣйшему поэту его молодости. Если съ виду довольно скоро, черезъ пять лѣтъ, волна байронизма смѣнилась другою, катившеюся плавно и спокойно, то сочувствіе Байрону сохранилось надолго, если не навсегда. Въ стихотвореніи *Андрей Шенье* (1825 г.) Байрону отведено мѣсто наряду съ Дантомъ,—и самое это стихотвореніе, славящее мученичество непонятаго и оклеветаннаго поэта—гражданина, стоитъ еще на уровнѣ байроновскаго взгляда на поэзію; въ отказѣ Пушкина исполнить совѣтъ Вяземскаго и прославить смерть Байрона въ „Пятой пѣснѣ Чайльдъ-Гарольда“, чувствуется благоговѣніе передъ Байрономъ и трепетъ при мысли явиться продолжателемъ его поэмы. Перешедшее въ глубь новаго періода продолженіе *Онѣгина* продержалось на уровнѣ первоначальнаго байроническаго замысла. Въ 1830 году въ посланіи „къ вельможѣ“ лира Байрона, въ противоположность старымъ литературнымъ знаменитостямъ, все еще называется „новой, *чудной* лирой“; въ наброскѣ біографическаго очерка англійскаго поэта, относящемся къ 1835 году, Байронъ снова названъ *великимъ* поэтомъ. Въ своихъ *Запискахъ*, — этомъ рядѣ фотографій съ натуры, сохранившихъ значительный интересъ несмотря на ретушированіе заднимъ числомъ,—Смирнова сохранила отпечатокъ нѣсколькихъ любопытныхъ бесѣдъ въ пушкинскомъ кружкѣ на тему о Байронѣ, свидѣтельствующихъ о внимательнѣйшемъ изученіи его произведеній, анализѣ ихъ, разборѣ характеровъ, историко-литературныхъ сравненіяхъ. Все, касавшееся Байрона, интересовало поэта, и онъ разспрашивалъ о немъ мужа Смирновой, знавшаго въ Англіи многихъ его

друзей Этотъ интерессъ продержался одновременно съ поворотомъ къ исключительно художественному творчеству, рядомъ съ историческими романами и трагедіями, изученіемъ народности и старины. И въ этомъ нѣтъ никакой непослѣдовательности или натяжки,—это новый матеріалъ для оцѣнки того внутренняго разлада, который скрывался подъ измѣнившейся и, казалось, уравновѣшенной внѣшностью [1]). „Говорятъ, что царь проститъ меня за трагедію,—писалъ Пушкинъ князю Вяземскому по поводу *Бориса Годунова*. Наврядъ, мой милый; хоть она и въ хорошемъ духѣ написана, *да никакъ не могъ упрятать всѣхъ моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго. Торчатъ!*"

Оттого такъ часто всплывали у него старыя, хорошія воспоминанія. Еще въ Одессѣ, гдѣ онъ сошелся съ „глухимъ англійскимъ атеистомъ", докторомъ Гэтчесономъ и участвовалъ въ философскихъ и литературныхъ бесѣдахъ его дружескаго кружка, онъ впервые познакомился съ поэзіей Шелли и, конечно, въ ту пору не могъ не увлечься роскошными видѣніями молодого мечтателя, уносившагося на крыльяхъ грезы за предѣлы народовъ, религій, цивилизацій, въ царство свободы, братства и разума. Но и много лѣтъ спустя, въ Петербургѣ, въ тѣхъ же интимныхъ бесѣдахъ смирновскаго кружка онъ съ любовью анализировалъ произведенія Шелли, восторгался его *Озимандіей*, *Адонаисомъ*, *Ченчи*, и наряду съ недостатками видѣлъ большія красоты въ *Прометеѣ* [2]). Такихъ возвратовъ къ прошлому можно было бы указать немало. Прощаясь съ порою своихъ увлеченій, Пушкинъ слагаетъ стихотвореніе на смерть Наполеона, „свой послѣдній либеральный бредъ", старается „закаяться", видитъ въ себѣ неудачнаго сѣятеля свободы,—но, когда придется ему позд-

---

[1]) Въ одномъ изъ писемъ къ кн. Вяземскому, отъ 16 марта 1830, онъ даетъ ясно понять, что на примиреніе его съ правительствомъ вліяла увѣренность, что оно „намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія. Огражденіе дворянства подавленіе чиновничества, новыя права мѣщанъ и крѣпостныхъ,—вотъ великія предметы". Смирновъ передаетъ, что однажды въ разговорѣ съ Николаемъ Павловичемъ поэтъ откровенно сказалъ, что ненавидитъ крѣпостное право.

[2]) Записки Смирновой, I, 204—5.

нѣе подвести итогъ своей дѣятельности въ „Памятникѣ“, онъ въ первой редакціи его поставитъ себѣ это сѣяніе свободы въ заслугу и назоветъ себя прямымъ потомкомъ Радищева:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства новыя для пѣсней я обрѣлъ,
Что вслѣдъ Радищева (варіантъ: что въ мой
жестокій вѣкъ) возславилъ я свободу...

Эти возвраты къ прошлому среди упрочивавшагося повидимому съ каждымъ годомъ примиренія съ новымъ порядкомъ вещей необыкновенно характеристичны. Но тщетно звалъ къ себѣ поэтъ и теперь, какъ еще въ эпиграфѣ къ „Кавк. Плѣннику“, свою молодость, умоляя ее вернуться, — и нашелъ исходъ недовольству собой и невольному отреченію отъ злобы дня въ гармонически спокойномъ, объективномъ, художественномъ творчествѣ; мысль устремилась къ народной старинѣ, къ жизни старой Европы, къ дальнему югу, за тридевять земель, лишь бы не касаться того, что происходило вокругъ. Въ свѣтлой области красоты не нужно было насиловать творческой свободы... Но необходимо было успокоить возникавшія въ душѣ сомнѣнія и найти оправданіе для служенія чистому искусству. Въ этомъ переходномъ состояніи снова пригодилось вліяніе западное. Кружокъ молодыхъ поклонниковъ новой нѣмецкой философіи и классической гетевской поэзіи только что основалъ тогда свой органъ „Московскій Вѣстникъ“. Поставивъ свое изданіе подъ покровительство великаго нѣмецкаго поэта, который прислалъ имъ даже сочувственное письмо, они подъ предводительствомъ Веневитинова развивали и пространно мотивировали теорію искусства для искусства, видѣли идеалъ поэта лишь въ олимпійцѣ-Гете („Телеграфъ“, наоборотъ, рѣшительно становился на сторону Шиллера), вызывали Пушкина вступить на то-же славное поприще и одарить русскій народъ величавымъ и истинно художественнымъ творчествомъ. Это эстетико-философское оправданіе происходившаго въ немъ поворота пришло во время на помощь томимому одиночествомъ поэту, среди охлажденія отпрянувшаго отъ него молодого поколѣнія и недовѣрчивости правящихъ классовъ. Покинутый „Телеграфомъ“, онъ сблизился съ кружкомъ Веневитинова, сходился съ нимъ въ чество-

ваніи Гете, подражалъ *Фаусту* въ извѣстной сценѣ, отдавалъ въ „Московскій Вѣстникъ“ свои произведенія, и, часто разрабатывая съ той поры вопросъ о роли поэта по отношенію къ *черни*, перелагалъ въ стихотворной формѣ усвоенную имъ теорію. Но молодые друзья его ошибались, возводя въ идеалъ безстрастное священнодѣйство, отрѣшенное отъ всякой суеты земной, тогда какъ въ своемъ поэтическомъ завѣщаніи, второй части *Фауста*, великій германскій поэтъ указалъ на самоотверженное служеніе народному благу, какъ на конечную цѣль и гармоническое разрѣшеніе всякихъ личныхъ стремленій. Связи съ русскимъ народомъ, крѣпчавшія годъ отъ году, охранили и Пушкина отъ крайняго примѣненія доктрины; факты опровергли повторяемое имъ ученіе,— и *чернью*, раздражавшею его, доводившею до отчаянія, была не безвѣстная народная масса, которая лишь въ наши дни узнаетъ наконецъ его произведенія, не крестьянство, чей языкъ, бытъ, нравы, поэзію онъ съ возраставшимъ интересомъ изучалъ, но та полуграмотная, самодовольная и въ то же время раболѣпная столичная чиновная челядь, вдохновляемая Гречемъ и Булгаринымъ, которая ненавидѣла поэта и отравляла его жизнь.

Съ интересомъ къ Гете у Пушкина въ эти годы совпалъ интересъ къ Шекспиру. Обоими онъ усиленно сталъ заниматься еще въ Одессѣ, признаваясь, между прочимъ, что хоть иногда и заглядываетъ въ библію, но что „предпочитаетъ ей Гете и Шекспира“. Вліяніе англійскаго трагика было послѣднимъ сильнымъ внѣшнимъ импульсомъ. Пушкинъ заимствовалъ у него новую тогда въ нашей литературѣ форму драматическихъ хроникъ, свободное отношеніе къ единству времени и мѣста, „вольное и широкое изображеніе характеровъ“, сочетаніе крупныхъ историческихъ личностей съ широко задуманными народными сценами. По его же словамъ, источниками для „Бориса Годунова“ были „Шекспиръ, Карамзинъ и наши старыя лѣтописи“. На первомъ мѣстѣ, конечно, слѣдуетъ поставить вліяніе *Генриха IV*. Въ характеръ Бориса поэтъ вложилъ сходныя черты съ Генрихомъ, въ особенности страстную заботу объ упроченіи въ своемъ потомствѣ власти, добытой преступнымъ путемъ; въ предсмертной бесѣдѣ Бо-

риса онъ чрезвычайно близко повторилъ увѣщанія шекспировскаго героя своему сыну; [1]) въ той же трагедіи находятъ слѣды вліянія *Ричарда III* и *Генриха V*.

Изученіе Шекспира замѣтно, кромѣ того, въ большей или меньшей степени, и въ другихъ драматическихъ произведеніяхъ и поэмахъ Пушкина. Если еще въ 1825 году замыселъ *Графа Нулина* явился у него изъ шаловливаго желанія пародировать шекспировскую поэму „Лукреція“, то въ послѣдній періодъ *Анжело* былъ свободнымъ пересказомъ трагикомедіи „Мѣра за мѣру“,—а найденные въ рукописяхъ очерки характеровъ Шэйлока, Анджело и Фольстафа и разборъ „Ромео и Юліи“ показываютъ, какъ вѣрно понималъ онъ Шекспира; къ чтенію его онъ то и дѣло возвращался, испытывая такое же наслажденіе, какое выносилъ, когда перечитывалъ Данта, неразлучнаго съ нимъ (по словамъ Смирновой) даже во время дальняго путешествія на Кавказъ и въ Эрзерумъ, и вызвавшаго у него нѣсколько прекрасныхъ переложеній и подражаній.

А за звѣздами первой величины виднѣется множество привлекшихъ поэта разнородныхъ европейскихъ писателей. Увлеченіе Вальтеръ-Скоттомъ, совпавшее вначалѣ съ разливомъ байронизма, но пережившее его, поддержало Пушкина въ художественномъ изученіи русской старины. Онъ вступилъ въ ряды послѣдователей „шотландскаго чародѣя“, надъ рвеніемъ которыхъ онъ такъ остроумно посмѣялся, видя, какъ, „подобно ученику Агриппы, они, вызвавъ демона старины, не умѣли имъ управлять, и сдѣлались жертвами своей дерзости“,—но въ рукахъ поэта былъ, должно быть, чудесный талисманъ; строптивый духъ раскрылъ передъ нимъ тайны былого, — и начало русской *исторической* повѣсти

[1]) Пушкинъ находилъ, что черты Генриха встрѣчаются и въ характерѣ самозванца („il y a beaucoup de Henri IV dans Дмитрій“. Сочин., VII, 209), повидимому именно въ смѣлости его пріемовъ. Нѣкоторымъ нѣмецкимъ изслѣдователямъ хочется видѣть въ *Борисѣ Годуновѣ* слѣды вліянія гетевскаго *Гетца Ф. Берлихингена*. Honegger, Russische Literatur und Cultur, 1880, 189; Weddigen, Gesch. der Einwirkungen der deutsch. Literatur auf die Literaturen d. uebrigen Völker, 1882, 166.—Та же сцена увѣщанія сыну, которая у Пушкина сложилась подъ впечатлѣніемъ шекспировской, повторилась впослѣдствіи у Алексѣя Толстого въ „Царѣ Борисѣ“, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ (въ сценѣ съ привидѣніемъ на престолѣ) замѣтно вліяніе „Макбета“. Допросъ волхвовъ въ „Смерти Іоанна Грознаго“ близко сходится съ діалогомъ Макбета и вѣдьмъ.

было положено. Но и бытовой романъ, какъ завершеніе разрозненныхъ повѣствовательныхъ попытокъ, повѣстей Бѣлкина и т. д., долженъ былъ выработаться по широкому плану, возникшему подъ вліяніемъ большого романа Бульвера „Pelham or adventures of a gentleman“; планъ этотъ, нѣсколько разъ передѣлывавшійся, имѣлъ цѣлью охватить жизнь русскаго общества за нѣсколько поколѣній, вывести рядъ подлинныхъ личностей (въ томъ числѣ Грибоѣдова, Всеволожскаго, Заводовскаго, Орлова и т. д.); „Русскій Пеламъ“ (въ одной изъ редакцій плана—Пелымовъ), отъ котораго уцѣлѣло лишь нѣсколько страницъ, показалъ бы, какъ чужеземный примѣръ могъ навести на мысль о русскомъ соціальномъ романѣ-хроникѣ, предвѣстникѣ „Войны и мира“. Мольеръ и Моцартъ вдохновили поэта къ обработкѣ легенды о *Донъ-Жуанѣ*; она манила его къ себѣ за много лѣтъ до созданія *Каменнаго гостя*, но окончательно осмыслилась подъ вліяніемъ оригинальнаго толкованія ея въ извѣстномъ фантастическомъ этюдѣ Гофмана, тепло и гуманно объяснившаго ее неустаннымъ исканіемъ истиннаго счастья и идеальной женщины; [1]) наконецъ, какъ доказалъ недавно г. Е. Браунъ, даже драма второстепеннаго нѣмецкаго драматурга Граббе „Don Juan und Faust“ нѣсколькими деталями отразилась на пушкинскомъ произведеніи. [2]) Фантастическіе разсказы того же Гофмана оставили свою печать на *Пиковой дамѣ*. какъ впослѣдствіи на *Портретѣ* Гоголя и таинственныхъ „Русскихъ Ночахъ“ Одоевскаго. Въ рамку драмы Вильсона „Зачумленный городъ“ Пушкинъ ввелъ двѣ прекрасныя пѣсни. Альфьери, Шенье, Вольтеръ, Оссіанъ, Соути, Барри Корнуолль, Бэньянъ (переложеніе изъ Pilgrim's Progress), и мн. друг. нашли въ Пушкинѣ мастерского переводчика; [3]) иногда онъ любилъ наряжать свои произведенія въ иноземный нарядъ, называя напримѣръ

[1]) Don Juan, eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen. Новѣйшій русск. переводъ г. Страхова, „Артистъ“ 1894.

[2]) Е. Г. Браунъ, „Литературная исторія типа Донъ-Жуана“, 1889.

[3]) Въ склонности къ переводамъ поэтическихъ произведеній съ различныхъ языковъ могъ служить ему примѣромъ Байронъ, любившій называть себя „гражданиномъ вселенной“, и оставившій много переводовъ изъ всевозможныхъ литературъ, даже португальской, армянской, новогреческой. „Lord Byron als Uebersetzer“ v. F. Maychrzac. Englische Studien, 1893, III.

одно изъ искренно грустныхъ лирическихъ своихъ признаній переводомъ изъ Пиндемонте, или изобрѣтая несуществовавшаго англійскаго драматурга Шенстона, для того чтобы приписать ему своего *Скупого рыцаря* (еще Галаховъ указалъ на то, что поводомъ къ созданію этой пьесы послужилъ одинъ эпизодъ изъ „Пертской Красавицы“ В. Скотта). И свою поэзію и дѣятельность другихъ русскихъ писателей онъ любилъ вводить въ общеевропейскія рамки: замолвивъ въ первый разъ въ печати слово о Гоголѣ, онъ не могъ не вспомнить о Мольерѣ и Фильдингѣ, свои попытки создать русскій сонетъ ставилъ въ связь съ исторіей сонета, вспоминая Шекспира, Камоэнса, Петрарку, Данта („суровый Дантъ не презиралъ сонета“). Космополитизмъ его литературныхъ вкусовъ развивался съ годами все шире и достигъ полнаго развитія ко времени основанія *Современника*. Съ большимъ интересомъ слѣдилъ онъ за успѣхами новой французской поэзіи, привѣтствовалъ сильное дарованіе въ Альфредѣ де-Мюссе (чьи произведенія въ интимномъ кружкѣ тонко анализировалъ), Жоржъ Зандѣ и Гейне, съ особымъ удовольствіемъ печаталъ „Хронику русскаго въ Парижѣ“ Александра Тургенева, самъ готовился обозрѣвать всѣ новости западныя и горячо возсталъ противъ мнѣнія академика Лобанова о вредѣ изученія европейскихъ литературъ. Наконецъ, интересъ къ славянской, и въ особенности русской народной поэзіи привелъ его къ переводу юго-славянскихъ пѣсенъ, оказавшихся потомъ искусной мистификаціей Проспера Мериме, но доставившихъ Пушкину истинное удовольствіе.

Такъ въ важнѣйшихъ и мелкихъ вопросахъ, въ школьные годы и въ пору наибольшей славы, поэтъ находилъ всегда вѣрную опору въ европейской мысли и творчествѣ. Оно указало ему достойныя его цѣли, пробудило и поддержало серьезный взглядъ на назначеніе поэзіи,—и тогда, когда онъ видѣлъ его въ служеніи народному благу, и въ ту пору, когда выше всего поставилъ развитіе въ ней художественныхъ красотъ. Онъ вступилъ на путь народности, поддержанный итальянскими воспоминаніями, Шекспиромъ, Скоттомъ и новыми французскими поэтами. Онъ создалъ новую драму, вытѣснившую классическій стиль трагедіи, при по-

мощи великаго англійскаго трагика; ввелъ въ свои поэмы непосредственную русскую дѣйствительность, освѣщенную то неподражаемымъ юморомъ, то негодованіемъ, опираясь на Байрона; въ безчисленныхъ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, переходящихъ отъ беззаботной шутки къ тяжелому унынію, выработалъ себѣ свободу творчества, руководясь обширнымъ знакомствомъ съ лирической поэзіей всѣхъ временъ и народовъ. Все это согрѣто и сплочено было сильнымъ дарованіемъ, чужеземные элементы переработаны и вполнѣ ассимилированы, съ „подражаніемъ" соединилась вторая двигательная сила (по терминологіи Тарда „изобрѣтеніе") — самостоятельное творчество, и на этомъ сложномъ пьедесталѣ возникла русская поэзія, впервые достойная этого имени.

Пѣвецъ Петра Великаго и защитникъ его просвѣтительной реформы, строгій и, несмотря на то, все же сочувственный критикъ Радищева, [1]) пристыдившій еще въ молодые годы Бестужева тѣмъ, что онъ въ обзорѣ литературы позволилъ себѣ пропустить имя автора Путешествія („если о Радищевѣ мы забудемъ, такъ о комъ же намъ помнить?" восклицалъ онъ), слѣдившій съ гетевской отзывчивостью за всѣми умственными движеніями въ Европѣ, находя, что „на поприщѣ ума нельзя намъ отступать", Пушкинъ оставилъ эти взгляды въ наслѣдіе своимъ ученикамъ. То было совсѣмъ „молодое, незнакомое племя", выросшее вокругъ него въ послѣдніе годы, не испытавшее разочарованія, которое отдалило его предшественниковъ, молодежь 1825—26 года, отъ Пушкина, и группировавшееся около него въ „Современникѣ" съ такою же симпатіей и такимъ же довѣріемъ, какое влекло его преемниковъ къ Бѣлинскому. Однимъ изъ лозунговъ было уваженіе къ европейской культурѣ. Цѣлый рядъ неблагопріятныхъ условій дѣйствовалъ наперекоръ ему,—развивалось ученіе, которому впослѣдствіи присвоено было мѣткое названіе „оффиціальной народности", и которое вело не къ обстоятельному изслѣдованію народной жизни, какъ можно было бы ожидать, а только къ горделивой исключительности и самодовольству,—установилось холодное, подозрительное отношеніе

---

[1]) В. Е. Якушкинъ, „Пушкинъ и Радищевъ", М. 1886.

къ Европѣ, усиливавшееся каждый разъ, когда на западѣ старому порядку грозила серьезная опасность (во время іюльскихъ событій 1830 г. и послѣдовавшихъ всюду волненій, или послѣ столь же всеобщаго движенія въ 1848 г.). Но старый лозунгъ, дорогой, близкій Пушкину и всѣмъ лучшимъ людямъ двадцатыхъ годовъ, устоялъ, неизмѣнный и магически привлекательный, среди новыхъ людей и новыхъ школъ.

V.

Быстро рѣдѣлъ кружокъ поэтовъ, непосредственно близкихъ къ Пушкину,—тотъ кружокъ, который принято называть „пушкинской школой". Но по своему вліянію на лирическую поэзію въ частности, и на литературное движеніе вообще Пушкинъ напоминаетъ значеніе Петра въ словесности и наукѣ. Не современная ему группа писателей-сверстниковъ составляетъ его „школу", а тѣ младшіе, иногда совсѣмъ ему невѣдомые, послѣдователи и преемники, которые еще шире и пышнѣе развили унаслѣдованный отъ него запасъ идей, образовъ, общественныхъ и художественныхъ интересовъ, и, какъ Лермонтовъ и Гоголь, связали пушкинскія традиціи съ запросами новыхъ поколѣній. Ближайшіе же сотрудники поэта или свернули съ пути, не совладавъ съ натискомъ охранительныхъ идей, или рано выбыли изъ строя. Два, три задушевныхъ стихотворенія Веневитинова выказали недюжинное дарованіе въ этомъ мечтателѣ, воспитавшемся на нѣмецкой философіи и культѣ Гете, но смерть похищаетъ его, и послѣднія его пѣсни полны уже загробныхъ видѣній. Дельвигъ, всю жизнь увлекавшійся западными, преимущественно нѣмецкими, поэтическими образцами, и вмѣстѣ съ тѣмъ пытавшійся усвоить себѣ духъ и пріемы русскихъ народныхъ пѣсенъ, рано умираетъ, и послѣдніе дни отравлены „непріятностями", вызванными осторожно высказаннымъ сочувствіемъ парижскимъ іюльскимъ событіямъ. Талантливѣйшій изъ всей плеяды, Баратынскій, сначала тоже не былъ чуждъ байронизму, потомъ смутно порывался къ самостоятельному творчеству и побуждалъ высоко цѣнимаго имъ Мицкевича выйти изъ подражательности („восстань,—говорилъ

онъ ему, видя его „у байроновскихъ ногъ“,—возстань, вѣдь самъ ты богъ!“), но постепенно смолкъ подъ давленіемъ житейскихъ дрязгъ и неудачъ. Его не оцѣнили, не замѣтили его писательскаго роста, личное счастье разбито, положеніе родины удручаетъ его, не забывшаго грезъ и надеждъ передовой молодежи двадцатыхъ годовъ („Благословенъ грядый во имя Господне!“ воскликнулъ онъ, когда за два года до смерти прочелъ указъ объ „обязанныхъ крестьянахъ“), и настроеніе „русскаго Гамлета“, какъ назвалъ его еще Пушкинъ, затуманилось пессимизмомъ. Его извѣстная поэтическая тризна по Гете была послѣднимъ серьезнымъ проявленіемъ несомнѣннаго дарованія. Доля его сотоварища-поэта Козлова была еще печальнѣе, и байроновская поэзія, которую онъ съ любовью перелагалъ и переводилъ („Невѣста Абидосская“, „Чернецъ“, написанный подъ вліяніемъ *Гяура* и т. д.) была великимъ утѣшеніемъ для слѣпца; по словамъ Жуковскаго, онъ зналъ наизустъ „всего Байрона, всѣ поэмы Вальтеръ-Скотта, лучшія мѣста изъ Шекспира“. Наконецъ, чтобъ рядомъ съ нимъ поставить вѣчно смѣющагося и острящаго Демокрита, Вяземскій пронесъ сквозь цѣлый рядъ поколѣній до нашихъ дней свою бойкую наблюдательность, водевильную легкость стиха, широкое знакомство съ европейскими литературами, ученый дилеттантизмъ, неопредѣленность общественныхъ и политическихъ взглядовъ и склонность къ изолированной роли среди литературныхъ направленій.

Быстро поблекъ Языковъ. Онъ долго не замолкалъ совсѣмъ, но то, что выходило въ сороковыхъ годахъ изъ-подъ его пера, не только измѣна гуманному пушкинскому направленію, но часто даже вовсе и не поэзія. Безпечно относясь смолоду къ наукѣ и развитію, онъ свои личные счеты съ Дерптомъ, столкновенія съ профессорами и педелями, рано научился переносить въ непріязненныя отношенія сначала только къ Германіи и нѣмцамъ вообще, потомъ и ко всему западному, возвеличивая въ то же время добрыя родныя начала, которыя грезились ему въ ухарствѣ, пирахъ и размашистомъ волокитствѣ. Въ началѣ все это было довольно безобидно и выкупалось бойкимъ и звонкимъ стихомъ. Вакхическій жаръ даже сблизилъ на время молодого дерпт-

скаго студента съ Пушкинымъ. Но, тогда какъ у Пушкина подобныя вспышки бывали мимолетными капризами и послѣ нихъ наставали цѣлыя полосы глубокихъ творческихъ думъ. Языковъ навсегда остался съ привычками и взглядами настоящаго бурша,—единственная уступка, которую онъ могъ сдѣлать ненавистной ему западной стихіи! Мало-по-малу онъ начинаетъ кичиться этою особенностью своею и поэтизировать презрѣніе къ новой образованности. Уже онъ сбирается „гордо бросить свой лавровый, *виномъ эбрызганный* вѣнецъ", уже смотритъ на своихъ русскихъ товарищей въ университетѣ, какъ на „внуковъ могущественныхъ славянъ", которымъ приходится „отдавать свободныя руки въ оковы нѣмецкой вольности" и т. д. Когда же, избалованный легкими успѣхами въ извѣстныхъ кругахъ, онъ находитъ поддержку своей застарѣлой нелюбви къ Европѣ въ руссофильскихъ восторгахъ московскихъ друзей, онъ сбрасываетъ совсѣмъ маску и страстно отдается воспѣванію „веселонравной старины", „счастливыхъ бояръ", русскаго молодечества; за границей онъ пытается познакомиться съ новой нѣмецкой литературой, по собственному признанію читаетъ и Гейне, и Ленау, но выноситъ изъ чтенія *мало толку;* сближеніе съ Гоголемъ, слабѣвшимъ и больнымъ душою, довершаетъ это настроеніе. Тяжелое зрѣлище представляютъ оба они вмѣстѣ съ дряхлѣвшимъ Жуковскимъ, все глубже погружавшимся въ мистицизмъ, когда блуждаютъ по Европѣ наканунѣ 1848 г., присутствуютъ при тревогахъ и терзаніяхъ народныхъ, и не находятъ у себя въ отвѣтъ ничего, кромѣ непріязненныхъ выходокъ и глумленія! Языковъ умѣетъ называть нѣмцевъ, и въ письмахъ, и въ стихахъ, лишь „нехристью нѣмецкой, злою"; сочувствовать западу для него значитъ „плевать на честныя могилы предковъ"; для женщинъ желать учиться значитъ „лишиться благословенія и быть у Бога ни почемъ" [1]). Наконецъ, это охранительное усердіе приводитъ его къ апогею,— глумленію надъ гонимымъ Чаадаевымъ, и знаменитому стихотворенію „Къ не-нашимъ"; высказанная въ немъ ненависть ко всей партіи Бѣлинскаго возбудила

[1]) „Московское Обозрѣніе", 1859, книга II: „Лирическая поэзія послѣдователей Пушкина".

въ такой честной натурѣ, какъ К. Аксаковъ, искреннее негодованіе и вызвала съ его стороны отвѣтное, примиряющее стихотвореніе.

Таковы могли быть иногда побѣги отъ пушкинской школы. Не опираясь ни на серьезное изученіе русской народности, не зная и горделиво не желая знать европейскаго развитія, люди въ родѣ Языкова хотѣли отстоять свое положеніе однимъ ухарствомъ и патріотическимъ жаромъ,—и съ ними носились, ихъ зачисляли въ кругъ настоящихъ *народныхъ* поэтовъ, столповъ національной художественной школы...

Но многаго еще не доставало для того, чтобъ эту школу можно было считать упроченною, чтобъ искомый духъ народности въ поэзіи былъ найденъ,—и тому поэту, который одинъ только могъ развить далѣе лучшія пушкинскія традиціи и сдѣлать нѣсколько рѣшительныхъ шаговъ навстрѣчу самостоятельности, пришлось снова и въ теченіи долгаго времени испытать руководящее вліяніе европейской поэзіи. Этимъ поэтомъ былъ Лермонтовъ. Въ противоположность Пушкину, выступившему на литературное поприще подъ заманчивымъ впечатлѣніемъ поэтическихъ шалостей беззаботныхъ мелкихъ французскихъ стихотворцевъ прошлаго вѣка, суровыя, задумчивыя или же идеалистически-восторженныя лица окружили поэтическую колыбель Лермонтова. Сначала это — Шиллеръ, Гете, Лессингъ, Шатобріанъ, потомъ французскіе романтики, наконецъ, Байронъ. Въ его юношескихъ поэмахъ и драмахъ мѣсто дѣйствія почти всегда на западѣ (въ первоначальной редакціи *Демона*, наприм., въ Испаніи) и всѣ главные мотивы и характеры являются постоянно отголосками чужихъ созданій: въ „Испанцахъ“ находятъ [1]) сходство съ „Коварствомъ и Любовью“ и „Натаномъ Мудрымъ“, въ поэмѣ „Корсаръ“ вліяніе „Донъ-Карлоса“; „Аталу“ Шатобріана Лермонтовъ перерабатывалъ въ драму; эпиграфъ часто ставится изъ гетевскаго стихотворенія; одной изъ драмъ Лермонтовъ даетъ нѣмецкое названіе „Menschen und Leidenschaften“.

---

[1]) „Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ: жизнь и творчество“, біографич. очеркъ П. А. Висковатаго, М. 1891.

Отголоски чтеній въ юные годы долго будутъ потомъ слышаться, — такъ Лермонтовъ, не особенно увлекшійся Шекспиромъ, подражаетъ „Отелло" въ „Маскарадѣ". Не одно только ученически неопытное благоговѣніе передъ колоссальными міровыми авторитетами опредѣляло эти подражательные пріемы, но и сознаніе, что именно тутъ можно найти сочувственный отзвукъ на то, что поднималось въ душѣ юноши, рано начавшаго жить личною жизнью. На чтеніи любимыхъ западныхъ поэтовъ и подражаніи имъ воспитывалась и крѣпла его индивидуальность. Связь его раннихъ набросковъ, которые даже нельзя назвать, какъ у другихъ столь же талантливыхъ людей, шалостями, съ личными его испытаніями и думами развивалась благодаря этому увлеченію европейскою поэзіей. Въ драмѣ „Menschen und Leidenschaften", построенной на нѣмецкій ладъ, скрыта невеселая картина раннихъ лѣтъ Лермонтова, этого страннаго дѣтства, безъ сказокъ, безъ няни, безъ матери, въ атмосферѣ родовой спѣси, съ барскими традиціями и безтолковымъ баловствомъ, порождавшими семейную драму. Съ этихъ поръ поэзія стала для этой впечатлительной и вмѣстѣ съ тѣмъ сосредоточенной натуры выразительницей сокровенныхъ думъ, поправкой его страстныхъ ошибокъ и излишествъ, — прибѣжищемъ, куда онъ могъ укрыться изъ его хронически пошлой обстановки. Въ поэтическихъ грезахъ, которыя онъ довѣрялъ лишь своей завѣтной записной книжкѣ, спутницѣ его дѣтства и отрочества, уносился онъ далеко отъ вялой и ничтожной жизни, видѣлъ себя, некрасиваго, смѣшного, непонятаго никѣмъ мальчика, величавымъ, могучимъ, таинственнымъ героемъ.

„Демонъ", одна изъ этихъ грезъ, задуманъ былъ еще въ пансіонѣ, и въ послѣдующихъ редакціяхъ, подобно *Онѣгину*, пережилъ всѣ измѣненія въ развитіи и настроеніи поэта. На замыселъ его, несомнѣнно, повліяла поэма Альфреда де-Виньи „Eloa", повѣсть любви небесной дѣвы къ падшему ангелу; онъ растрогалъ и соблазнилъ ее своимъ страдальческимъ видомъ, признаніями въ пылкой страсти, томленіями душевнаго одиночества, — и чудными картинами своей тайной власти надъ сердцами. Она гибнетъ, доставивъ своимъ паденіемъ наслажденіе, торжество, дикую, алчную, ра-

дость духу зла. [1]) Мистерія де-Виньи, первенецъ молодого поэта (она появилась въ 1823 году, и ей предшествовала лишь крошечная, безыменная и никѣмъ не замѣченная книжка его стиховъ) не могла не подѣйствовать на воображеніе завлекательнымъ характеромъ искусителя; со временемъ замыселъ поэмы созрѣлъ и измѣнился, кавказская обстановка замѣнила собою испанскую, дочь грузинскаго князя монахиню; байроновскій демонъ вдохнулъ новую жизнь въ блѣдное юношеское созданіе, но слѣды первоначальной идеи остались замѣтными до конца.

Настала пора, когда прежнихъ любимцевъ сталъ затемнять новый, вскорѣ захватившій неограниченную власть надъ лермонтовскими думами. Французскую и нѣмецкую поэзію отодвинуло на второй планъ творчество страны, которую Лермонтовъ считалъ своей коренной отчизной. [2]) Еще въ то время, когда онъ увлекался Шиллеромъ, мы уже видимъ у Лермонтова проблески интереса къ русскимъ копіямъ байроновскихъ героевъ, къ Алеко, Кавказскому Плѣннику, встрѣчаемъ даже попытки переводовъ изъ Байрона (Гяуръ, Беппо). Если у Пушкина байронизмъ насталъ лишь послѣ первыхъ столкновеній съ настоящей жизнью, Лермонтовъ постепенно воспитывался въ поклоненіи Байрону, проникался его духомъ. „Безумный, страстный, дѣтскій бредъ“, его Демонъ, таинственно носящійся въ заоблачныхъ сферахъ, и его потомокъ, изящный гвардеецъ (въ *Княгинѣ Лиговской*) Печоринъ, не менѣе красивый впослѣдствіи въ своей черкескѣ, съ своими спут-

---

[1]) Въ рѣчахъ демона къ Элоа словно слышится шопотъ лермонтовскаго искусителя: „je suis celui qu'on aime et qu'on ne connais pas. Sur l'homme j'ai fondé mon empire de flamme, dans les désirs du coeur, dans les rêves d'âme, dans les désirs du corps, attraits mystérieux. C'est moi qui fait parler l'épouse dans ses songes; la jeune fille heureuse apprend d'heureux mensonges; je leur donne des nuits qui consolent des jours; je suis le roi secret des secrètes amours“. И дальше, изображая ночной полетъ демоновъ: „Sitôt que... le soleil rougissant quitte le gazon, innombrables esprits, nous volons dans les ombres en secouant dans l'air nos chevelures sombres etc.“

[2]) Изслѣдованіе В. Никольскаго (Рус. Старина, 1873), а въ новѣйшее время В. Н. Сторожева (Родоначальникъ русской вѣтви Лермонтовыхъ, М. 1894) показали, что предкомъ поэта былъ Джорджъ Лермонтъ, выѣхавшій въ Россію въ 1613 году; въ челобитной, поданной имъ въ 1618 г. Михаилу Θеодоровичу, онъ названъ „иноземцемъ бѣльскихъ нѣмецъ, шкоцкой роты прапорщикомъ Юшкой Лермонтомъ“; послѣ его смерти челобитныя подавала „Катеринка, женишка Лермонта“. Однимъ изъ предковъ его былъ рыцарь-поэтъ Томасъ Лермонтъ, современникъ короля Макбета.

никами Арбенинымъ, Радинымъ, Вернеромъ и Вуличемъ, кавказскія варіаціи загадочной натуры, Измаилъ-Бей, оттискъ съ Гяура, и Мцыри, даже древнерусскій ихъ товарищъ Арсеній (въ *Бояринѣ Оршѣ*), —наконецъ, ихъ послѣдній преемникъ, Демонъ „Сказки для дѣтей", разставшійся съ своимъ театральнымъ нарядомъ, совсѣмъ спустившійся къ людямъ, остроумный, насмѣшливый скептикъ terre à terre,—необыкновенно многочисленная и разнообразная группа байроническихъ героевъ, не встрѣчаемая въ такомъ богатствѣ ни у одного изъ послѣдователей англійскаго поэта. Но въ этой семьѣ протестующихъ неудачниковъ лучшее украшеніе—самъ Лермонтовъ. И безъ вліянія Байрона личныя условія его жизни и складъ натуры, которую, по старой терминологіи, многіе (какъ напр. такой зоркій наблюдатель, какъ Юрій Самаринъ въ недавно найденномъ письмѣ) называли тогда „демоническою", вложили бы въ его поэзію разочарованіе, недовольство и протестъ, но только Байронъ далъ имъ развиться вполнѣ, потрясъ душевный міръ юноши и повелъ его впередъ, какъ только онъ могъ это дѣлать. Узнавъ впервые изъ біографіи Байрона, изданной Томасомъ Муромъ, факты личной жизни и сложную психологію любимаго поэта, Лермонтовъ уже восклицаетъ:

Я молодъ, но кипятъ на сердцѣ звуки
И Байрона достигнуть я-бъ хотѣлъ:
У насъ одна душа, однѣ и тѣ-же муки.
О, еслибъ одинаковъ былъ удѣлъ!

Но, если, сравнительно съ Пушкинымъ [1]), онъ продвинулся на нѣсколько шаговъ впередъ къ пониманію сущности байронизма, полной общечеловѣческихъ симпатій, то все-же онъ остановился на половинѣ пути. Къ вліянію *Eloa* на „Демона" присоединилось подражаніе байроновской мистеріи *Heaven and Earth*, наконецъ и *Каину*, на характеръ лермонтовскаго сатаны перешло нѣсколько чертъ изъ Люцифера, но поэтъ не вдохнулъ въ своего героя (хотя и величаетъ его царемъ познанья и свободы) того духа мятежнаго протеста, жажды воли и власти, который ставитъ байроновскаго демона

1) Это сравненіе развито въ статьѣ В. Д. Спасовича „Байронизмъ Пушкина и Лермонтова". Вѣст. Европы, 1888, III и IV.

въ ряды неудачниковъ-агитаторовъ и народныхъ вождей начала XIX вѣка,—подобно тому какъ въ мильтоновскомъ сатанѣ сквозятъ черты страстныхъ революціонеровъ XVII столѣтія, а въ одѣ *Satana* молодого Кардуччи олицетворилась „la forza vindice della ragione“ конца нашего вѣка. Въ группѣ героевъ остальныхъ поэмъ еще менѣе глубокихъ мотивовъ; это „странные люди“, ставшіе выше толпы, но остановившіеся на обличеніи людской низости и продажности, на иронической насмѣшкѣ надъ любовью, дружбой, идеализмомъ. Печоринъ замыкаетъ собой этотъ циклъ надломленныхъ героевъ, но, надѣленный недюжиннымъ образованіемъ (цитаты изъ Вальтеръ-Скотта, Гете, фразы въ духѣ французскихъ романтиковъ не сходятъ съ его устъ), тонкою, художественной любовью къ природѣ, симпатіями къ горской вольности, донъ-жуановской тоской по идеальной женщинѣ, и мщеніемъ неповиннымъ существамъ, далекимъ отъ его идеала,—онъ только въ глазахъ недальновидныхъ читателей, готовыхъ принять каждый блуждающій огонекъ за свѣтило, могъ являться положительнымъ характеромъ. Мнѣніе Брандеса, [1]) лестное для Лермонтова, но справедливо удивившее нѣкоторыхъ нашихъ критиковъ, —будто Печоринъ—совершеннѣйшій изъ типовъ, созданныхъ за предѣлами Англіи подъ вліяніемъ Байрона, можетъ быть принято лишь съ большими оговорками. „Совершенство“ не въ завлекательной прелести грустно-идеальнаго, гибнущаго, но неотразимаго героя, а въ искренности самообличенія,—потому что „Герой нашего времени“—безпощадная исповѣдь, подводящая итогъ порѣ блужданій, сомнѣній и безплодной траты силъ,—порѣ односторонне понятаго байронизма Въ свою личную жизнь Лермонтовъ внесъ симпатичныя ему байроновскія *слабости;* ими онъ могъ мучить и бѣсить своихъ противниковъ, привлекать и разочаровывать женщинъ, окружать себя искусственнымъ ореоломъ, и этимъ тѣшиться. Горделивое одиночество не дало ему сойтись съ передовой группой молодежи, входившей въ жизнь съ опредѣленными культурными цѣлями; онъ понялъ ихъ слишкомъ поздно, сначала осудивъ и ихъ, и свои неудавшіяся

---

[1]) Menschen und Werke, Essais v. Georg Brandes, Frankfurt, 1894.

стремленія на гибель. „Дума", обращенная къ молодому поколѣнію, одинъ изъ печальныхъ примѣровъ такого недоразумѣнія. Увядающее, изсушившее свой мозгъ, изнемогшее будто бы подъ бременемъ познанья и сомнѣнья, поколѣніе это,—та блестящая плеяда, которая создала литературу сороковыхъ годовъ, кружокъ Бѣлинскаго и его друзей, *незнакомыхъ* поэту, ихъ университетскому товарищу, герценовская группа, юный Грановскій. Даже съ поправкой, предлагаемой Н. К. Михайловскимъ, указывающимъ на порицаемую поэтомъ безплодность науки, неприложимой къ жизни, и мертвящее отсутствіе дѣятельности, этотъ приговоръ остается суровымъ и недальновиднымъ. Байрону, конечно, привольно дышалось на неприступной альпійской высотѣ Манфредова замка, но мы видимъ его въ постоянномъ общеніи съ небольшимъ, но надежнымъ кружкомъ либеральной англійской молодежи, стремящимся активно, явно и тайно, вмѣшаться въ тревоги и движенія современности. Но если Печорину не къ лицу званіе совершеннѣйшаго заграничнаго байрониста, и если „Герой нашего времени"—печальная тризна, то въ этомъ художественномъ самообличеніи могла быть для Лермонтова поддержкой искренность такихъ же признаній, которыми Байронъ, начиная съ „Чайльдъ-Гарольда" и до предсмертныхъ произведеній, раскрывалъ свой внутренній міръ,—и сходная даже по названію съ лермонтовскимъ романомъ исповѣдь другого байроновскаго послѣдователя, Альфреда де-Мюссе,—„Confessions d'un enfant du siècle" (Признанія сына вѣка),—которая безпощаднымъ бичеваніемъ ошибокъ и пороковъ автора, раскрывшаго подъ вымышленными именами исторію своей несчастной связи съ Жоржъ Зандъ, врядъ ли осталась безъ вліянія на замыселъ Лермонтова.

При всей неполнотѣ пониманія духа байроновской поэзіи, уступкахъ свѣтскому тщеславію, и мучительномъ, терзающемъ самоанализѣ, байронизмъ Лермонтова имѣлъ уже ту важную заслугу, что сохранилъ намъ несравненный талантъ поэта, проведя его невредимо сквозь житейскую тину. Онъ сберегъ его свѣжесть среди кавалерійскихъ попоекъ и стихотворно-цинической болтовни, которую онѣ порождали; онъ внушилъ ему желѣзный стихъ его оды на смерть Пушкина;

онъ былъ его прибѣжищемъ и въ петербургскомъ свѣтѣ, и въ ссылкѣ, гдѣ его окружали цѣлыми толпами товарищи во вкусѣ Грушницкаго. Поэзія, въ ту пору для него возможная лишь въ байроновскомъ духѣ, развила въ немъ своеобразную *личность*, выдѣлявшуюся изъ общественной среды, гдѣ не терпѣли никакой личной инициативы или самобытности. Наконецъ, въ чисто художественномъ отношеніи, байроновскій культъ вызвалъ въ неистощимо даровитой натурѣ поэта столько живыхъ образовъ, звучныхъ, блестящихъ и глубоко искреннихъ строфъ, въ „Героѣ нашего времени" побудилъ его дать такой завлекательный образецъ русскаго общественно-психологическаго романа (прямая генеалогическая связь тургеневскаго направленія, „Рудина", „Дворянскаго Гнѣзда", „Накапунѣ", и герценовскаго „Кто виноватъ", идетъ, конечно, не отъ повѣстей Бѣлкина, а отъ „Онѣгина" и „Героя нашего времени"), а въ лирической поэзіи открылъ такой просторъ недовольству и грезамъ, юмору и паѳосу,—что байроновскую школу слѣдуетъ признать въ его литературномъ развитіи высоко полезною. Сквозь байронизмъ, понятый въ его настоящемъ смыслѣ, у Лермонтова могли легко пробиться черты опредѣленныхъ народныхъ симпатій, и задача всякой истинной поэзіи по отношенію къ родинѣ должна была установиться у него свѣтло и ясно.

Такимъ переходомъ на новую дорогу отмѣченъ краткій предсмертный періодъ творчества Лермонтова. Сознавая давно необходимость этого перехода, онъ не скрывалъ отъ себя, что онъ „не Байронъ, а другой, еще невѣдомый избранникъ,— какъ онъ, гонимый міромъ странникъ, но только съ *русскою* душой", и пытался не разъ отдаться этому стремленію къ самостоятельности. Теперь у него сложился взглядъ на призваніе поэзіи, въ значительной степени превосходившій точку зрѣнія Пушкина. Нѣтъ болѣе разлада между поэтомъ и чернью, и его голосъ, какъ вѣчевой колоколъ, долженъ раздаваться въ дни скорбей и радостей народныхъ. Это общественное призваніе поэта—тяжелый подвигъ; чтобъ не сгибать головы передъ сильными міра, онъ удаляется въ пустыню, а появляясь среди людей съ прежнимъ обличеніемъ, терпитъ всевозможныя оскорбленія. Борьба за идеалъ смѣняетъ у Лер-

монтова прежнее состояніе тревоги и разочарованія; русская природа, деревня, прошлое нашей страны, старая пѣсня или сказка, за душу хватающее зрѣлище общественной дряблости, активная любовь къ родинѣ, — вотъ что входитъ отнынѣ въ его поэзію, вотъ что изумило Бѣлинскаго въ разговорѣ и взглядахъ поэта, когда онъ встрѣтился съ нимъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ. Лермонтовъ въ эту пору быстро перерождался, — но и въ этомъ перерожденіи руководителемъ могъ быть только завѣтный его любимецъ — Байронъ. Не его ли голосъ звучалъ немолчно среди консервативныхъ оргій всей Европы, какъ вѣчевой, набатный колоколъ, и не онъ ли тотъ пророкъ, который не склонилъ головы передъ всесильными „лондонскими лавочниками", всю жизнь блуждалъ вдали отъ Англіи и терпѣлъ оскорбленія отъ народа своего?... Стоитъ рядомъ съ этимъ поставить извѣстныя стихотворно-политическія заявленія Пушкина или немногія стихотворенія Лермонтова, внушенныя окружавшимъ его шовинизмомъ и дышавшія раздраженіемъ противъ новыхъ европейскихъ движеній (напримѣръ „Послѣднее Новоселье", — [1]) напомнимъ, однако, что въ ранней молодости поэтъ обмолвился восторженнымъ стихотвореніемъ въ честь іюльскихъ событій), [2]) — чтобъ ясно стало, *откуда* могла перейти къ нему традиція общественной дѣятельности поэта. Перерожденіе это было замѣчено и оцѣнено наиболѣе убѣжденными приверженцами Лермонтова, кружкомъ „Отечественныхъ Записокъ", энергически поддержано Бѣлинскимъ. Но не придавали ли уже тогда этимъ людямъ, привѣтствовавшимъ стремленіе поэта быть *русскимъ*, прозвище *западниковъ?*

Выхваченный изъ житейскаго омута своею богатой натурой, воспитанный западной поэзіею въ отстаиваніи своей личности, но томимый пустой, холодной и жестокою средой, „поэтъ безвременья", какъ его мѣтко назвалъ одинъ изъ

---

[1]) Среди молодежи, современной поэту, многихъ непріятно, какъ фальшивый, дисгармоническій звукъ, поразило это стихотвореніе. Въ видѣ протеста написанъ былъ стихотворный же отвѣтъ Н. Сатинымъ, другомъ Огарева и Герцена: онъ впервые напечатанъ въ сборникѣ „Починъ" на 1895 г. (отрывки изъ Воспоминаній Сатина, сообщ. Е. С. Некрасовой).

[2]) Г. Висковатый объясняетъ тогдашнее настроеніе Лермонтова вліяніемъ семьи Столыпиныхъ, у которыхъ онъ часто жилъ. Самъ Столыпинъ былъ прежде близокъ къ Рылѣеву и Пестелю. „Мих. Юр. Лермонтовъ", М. 1891, 119.

новѣйшихъ критиковъ, [1]) Лермонтовъ готовился самостоятельно выступить въ родной литературѣ, сблизивъ ее съ жизнью. Но смерть прервала его новыя рѣчи на полу-словѣ; изучая его дѣятельность, мы можемъ только догадываться, что *могла* дать со временемъ сила его таланта. Передъ нами только блестящее начало, великолѣпный входъ въ святилище, которое навѣки осталось замкнутымъ,—и по всему этому порталу гирляндами вьются цвѣты чужеземной поэзіи...

Съ рѣдкой дальновидностью Бѣлинскій, при появленіи первыхъ же гоголевскихъ повѣстей, высказалъ убѣжденіе, что отнынѣ вѣкъ лирической поэзіи миновалъ безвозвратно и что его должно смѣнить господство повѣствованія, романа. Послѣднія пѣсни Лермонтова совпали съ колоссальнымъ успѣхомъ гоголевской сатиры. Русская жизнь, вторгавшаяся уже въ лирику, развернулась тутъ въ необъятную бытовую картину и потребовала себѣ права гражданства въ литературѣ. Цѣлый міръ открывался впервые, вереницы вновь подмѣченныхъ характеровъ и ситуацій выставлены были на показъ передъ изумленнымъ читателемъ, согрѣтыя невѣдомымъ ему юморомъ, загадочнымъ смѣхомъ сквозь слезы. И увѣровали всѣ въ живучесть народившейся русской литературы, и Бѣлинскій бралъ назадъ скептическое отрицатіе самаго существованія ея.

Но и этотъ несомнѣнный фактъ не помѣшаетъ приложить къ такому, казалось бы, коренному русскому писателю обычный анализъ. Какъ ни странно звучитъ это по отношенію къ человѣку, чья непріязненность къ западу, особенно въ послѣдніе годы, могла бы войти въ поговорку, — слѣдуетъ опредѣлить и у Гоголя степень его *западничества*. Искреннимъ, глубокимъ знатокомъ европейской мысли онъ не могъ быть уже вслѣдствіе крайне скуднаго своего образованія, которое впослѣдствіи чрезвычайно туго пополнялось. Иностранные языки, кромѣ итальянскаго, плохо давались; особой охоты изучать жизнь тѣхъ народовъ, среди которыхъ приходилось проводить чуть не десятки лѣтъ, не было [2]),—и, не имѣя возможности читать иностранныя про-

[1]) Н. К. Михайловскій. Критическіе опыты, т. III.
[2]) Воспоминанія Анненкова о Гоголѣ. „Воспомин. и критич. очерки“, кн. I.

изведенія ни въ подлинникѣ, ни въ русскихъ переводахъ (число ихъ въ ту пору было крайне незначительно), не сойдясь во время заграничнаго житья ни съ однимъ европейскимъ писателемъ, не подойдя ближе ни къ одному литературному или общественному движенію,—Гоголь усвоилъ себѣ привычку къ огульнымъ, валовымъ осужденіямъ цѣлыхъ областей западной культуры, къ дешево-остроумнымъ выходкамъ насчетъ тяжеловѣсности нѣмецкаго ума, французской вѣтренности, птичьей внѣшности англичанъ и т. д., словомъ, къ тѣмъ жалкимъ общимъ мѣстамъ, которыя такъ больно видѣть въ его перепискѣ. Но это настроеніе окончательно сложилось лишь въ позднѣйшіе годы, подъ вліяніемъ односторонних друзей и совѣтчиковъ, — и необходимо отличить отъ него взгляды того же Гоголя въ наиболѣе свѣжую пору его творчества. Въ Нѣжинѣ онъ, по собственному признанію, [1]) лишалъ себя всего необходимаго, чтобъ, скопивъ деньги, выписать изъ Львова собраніе сочиненій Шиллера; онъ „награжденъ съ излишкомъ" за претерпѣнныя лишенія и „нѣсколько часовъ въ день проводитъ съ величайшею пріятностью". Позже (въ 1838 г., въ письмѣ къ его ученицѣ, г-жѣ Балабиной) онъ признается, что, увидавъ настоящую Германію, съ грустью принужденъ былъ разстаться съ прежними грезами о ней („та мысль, которую я носилъ въ умѣ объ этой чудной и фантастической Германіи" и т. д.) [2]). Любимое поэтическое дѣтище его молодости, съ которымъ онъ понесся въ Петербургъ, ожидая, что оно создастъ ему блестящую будущность, и вложивъ въ него много пережитого и автобіографическаго, его несчастный *Гансъ Кюхельгартенъ*, было передѣлано изъ нѣмецкой поэмы Фосса *Луиза*; „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала" написанъ былъ подъ вліяніемъ повѣсти Людвига Тика „Liebeszauber", и отмѣтилъ собой начало того „романтическаго періода" въ дѣятельности Гоголя, который охватываетъ собой всѣ раннія украинскія его повѣсти и первую редакцію „Тараса Бульбы". Когда приходилось изображать старину родного края, снова обращался онъ къ иностраннымъ источникамъ, и описа-

[1]) Письмо отъ 6 апрѣля 1827.—Сочин. Гоголя, изд. Кулиша, V, стр. 51.
[2]) Тамъ же. стр. 344.

нія запорожскаго быта основывались столько же на малорусскихъ пѣсняхъ, которыя онъ прекрасно зналъ и рано началъ записывать, [1]) сколько на такихъ пособіяхъ, какъ „Описаніе Украины“ француза Боплана или „Histoire des Cosaques-Saporogues etc. traduite d'après les manuscrits conservés à Kiow, 1778“ Шерера [2]).

Связи съ чужеземной литературой не помѣшали, однако, Гоголю, даже въ кружкѣ Пушкина, высказывать сначала небрежные, чуть не презрительные взгляды на нѣкоторыхъ ея корифеевъ. Зная противоположныя убѣжденія Пушкина, легко представить себѣ, какъ встрѣчены были имъ эти самодовольныя выходки. По показанію Анненкова, Пушкинъ пристыдилъ своего молодого друга полнымъ незнакомствомъ съ французской литературой, указалъ Гоголю на высокій идеалъ комика въ лицѣ Мольера, заставилъ изучать его произведенія и внушилъ любовь къ нему. Побуждая Гоголя перейти отъ мелкихъ сатирическихъ вещицъ къ широкому изображенію жизни, онъ указалъ ему на Сервантеса, который никогда не выразилъ бы всей своей талантливости, еслибъ ограничился бытовыми набросками въ новеллахъ и интермедіяхъ, и не перешелъ къ своему великому роману. Списокъ писателей и произведеній, указанныхъ поэтомъ Гоголю, все разростался; по словамъ Смирновой, въ него вошли Шекспиръ, „Опыты“ Монтаня, „Мысли“ Паскаля, „Персидскія письма“, вольтеровскія Сказки, „Характеры“ Лабрюйэра, „Мысли Вовенарга“ и т. д.; Жуковскій прибавилъ отъ себя еще нѣсколько великихъ именъ [3]). Новичку, случайно избравшему поприще романиста, какъ одно изъ средствъ выйти изъ бѣдственнаго положенія (послѣ неудачныхъ попытокъ обезпечить себѣ заработокъ трудомъ чиновника, актера, даже рисовальщика), поэтъ постоянно разъяснялъ высокое общественное призваніе сатирика-обличителя и указывалъ на выдающіеся примѣры такого служенія въ жизни западныхъ народовъ.

---

[1]) Въ настоящее время въ Москвѣ, въ Румянцевскомъ музеѣ, Всев. О. Миллеромъ найденъ сборникъ малорусскихъ пѣсенъ, записанныхъ Гоголемъ и переданныхъ имъ Петру Кирѣевскому.

[2]) Ср. комментаріи Н. С. Тихонравова къ „Бульбѣ“. Соч. Гоголя, изд. X, т. I, 572—4.

[3]) Записки Смирновой, 1895, I, 138.

Горе, искренно звучащее въ извѣстныхъ заграничныхъ письмахъ Гоголя послѣ смерти Пушкина, потому такъ неподдѣльно и глубоко, что пишущій не могъ не чувствовать, что своимъ возрожденіемъ онъ былъ всецѣло обязанъ вліянію высокоталантливаго человѣка, который изъ него, учившагося на мѣдныя деньги литератора-дилеттанта, не умѣвшаго даже разобраться въ своихъ богатствахъ, безпечно и нестройно расточавшаго ихъ, сдѣлалъ первенствующаго художника и народнаго наставника.

Слѣды этого вліянія вскорѣ сказались. Первоначальный замыселъ „Мертвыхъ Душъ“ опирается на примѣръ „Донъ-Кихота“, фабула котораго искусно и съ грустной ироніей пародирована Гоголемъ, такъ что на смѣну вѣчной погони за идеалами рыцарства и добродѣтели выступило такое же, вѣчно подвижное исканіе наживы, обмана и эксплоатаціи. Когда же со временемъ широко, необъятно раскинулся планъ гоголевскаго романа, въ основу его легла гуманная мысль о нравственномъ просвѣтлѣніи и спасеніи, возможномъ для самыхъ порочныхъ людей, и Гоголя привлекла возможность показать переходъ отъ тьмы грѣховной и порочной къ раздумью, колебанію и, наконецъ, къ полному душевному очищенію, другое міровое произведеніе своей таинственно стройной архитектурой повліяло на него, — „Божественная Комедія“ Данта, и три тома гоголевскаго романа превратились въ русскій Адъ, Чистилище и Рай. [1]).

Въ часто встрѣчающейся у Гоголя разработкѣ вопроса о цѣляхъ сатиры видны также слѣды возбужденныхъ Пушкинымъ размышленій; въ „Театральномъ разъѣздѣ“, оригинальной попыткѣ сосчитаться со всѣми толками, поднявшимися въ обществѣ изъ-за „Ревизора“, и заявить свою писательскую profession de foi, образцомъ какъ буто послужило такое-же произведеніе Мольера, *Критика на Школу женщинъ*, которымъ великій французскій комикъ отвѣчалъ на придирчивое осужденіе его „Ecole des femmes“ и выставилъ

---

[1]) Подробнѣе объ этомъ—въ моей кн. „Этюды и характеристики“, стр. 593—601. Мысль о вліяніи Сервантеса подтвердилась свидѣтельствомъ Смирновой.

новую эстетическую теорію, поразившую своей свободой [1]). Вліяніе Мольера идетъ еще далѣе; въ одной изъ важнѣйшихъ сценъ великой комедіи (сценѣ лганья Хлестакова) слышатся отголоски хвастовства Маскариля въ „Жеманницахъ“, [2]) а въ чтеніи письма, какъ замѣтилъ давно Мериме, — такой же сцены въ „Мизантропѣ“. Сравненіе первоначальной редакціи „Ревизора“ съ позднѣйшимъ текстомъ, въ которомъ нестройность богатаго комическаго матеріала уступила мѣсто художественной цѣльности и единству мысли, — живое и наглядное доказательство перевоспитанія Гоголя въ школѣ общечеловѣческаго развитія. Наконецъ вліяніе романовъ Вальтеръ-Скотта помогло Гоголю выполнить въ *Тарасѣ Бульбѣ* завѣтную мысль объ эпическомъ изображеніи Запорожья. Вообще Гоголь проникся тогда уваженіемъ къ лучшимъ представителямъ западной литературы, и открыто высказывалъ его печатно. Въ „Петербургскихъ замѣткахъ“, которыя онъ помѣстилъ въ „Современникѣ“ 1837 года, онъ называетъ нѣмцевъ „народомъ основательнымъ, склонцымъ къ глубокому эстетическому наслажденію“; во всеобщемъ увлеченіи Байрономъ видитъ „даже что-то утѣшительное“, и отваживается на слѣдующее патетическое обращеніе: „О Мольеръ, великій Мольеръ! ты, который такъ обширно и въ такой полнотѣ развивалъ свои характеры, такъ глубоко слѣдилъ всѣ тѣни ихъ, [3]) ты, строгій, осмотрительный Лессингъ, и ты, благо-

[1]) „Театральный разъѣздъ“ гораздо обширнѣе и развитѣе полемической пьесы Мольера, и вмѣсто пяти-шести лицъ даетъ пеструю картину всего общества, но общій пріемъ одинаковъ въ обѣихъ пьесахъ. Мимоходомъ замѣтимъ, что любимое Гоголемъ уподобленіе сатиры зеркалу, гдѣ видитъ себя общество и не хочетъ себя узнать (начиная съ искусно подобраннаго эпиграфа къ „Ревизору“, оно встрѣчается довольно часто), можно бы поставить въ параллель съ выраженіемъ Мольера въ названной пьесѣ: „ce sont miroires publics ou il ne faut jamais témoigner qu'on se voie“.

[2]) Хвастовство сочинительствомъ (двѣсти сонетовъ, 400 эпиграммъ, болѣе 1000 мадригаловъ), —увѣренія, будто онъ и не хотѣлъ писать, да книгопродавцы пристаютъ, —будто, когда онъ просыпается, уже его ждетъ съ полдюжины beaux-esprits, потому что *всѣ* считаютъ необходимымъ являться къ нему; Madelon и Cathos млѣютъ передъ его литературной славой, и Madelon восклицаетъ въ одно слово съ Анной Андреевной: je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimé.

[3]) Въ письмѣ къ Прокоповичу (Русское Слово, 1859, I) Гоголь съ особеннымъ сочувствіемъ говоритъ объ обычаѣ Comédie française ежегодно чествовать день рожденія Мольера (ошибочно—вмѣсто *день смерти*). „Въ этомъ было что-то трогательное, пишетъ онъ. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышитъ ли онъ и гдѣ слышитъ онъ это?“

родный, пламенный Шиллеръ, въ такомъ поэтическомъ свѣтѣ выказавшій достоинства человѣка! взгляните, что дѣлается послѣ васъ на нашей сценѣ!" и т. д. Онъ удѣляетъ часть своихъ восторговъ даже Гофману, и вслѣдъ за Пушкинымъ подражаетъ его пріемамъ (*въ Портретѣ* и *Запискахъ Сумасшедшаго*, гдѣ переписка собачекъ, морализирующихъ насчетъ людей, совсѣмъ въ духѣ „Кота Мура"). Въ періодъ своей неудачной профессуры онъ всѣми занятіями и разысканіями своими приведенъ былъ къ изученію европейскаго прошлаго; хотя на его работахъ и статьяхъ по всеобщей исторіи и лежалъ лишь отпечатокъ художественной виртуозности, а мѣстами (какъ это ни странно) въ научное изложеніе какъ будто вторгались даже отголоски наиболѣе близкаго автору комическаго стиля [1]),—все же ему пришлось тогда обновить и умножить свои свѣдѣнія о жизни средневѣковой и новой Европы. Подъ стать его романтическому настроенію, средніе вѣка на Западѣ стали его любимой эпохой; недописанная трагедія изъ англійской исторіи „Альфредъ", составленная по авторитетной въ свое время книгѣ Hallam'а, напоминаетъ объ этомъ живомъ интересѣ.

Жизнь заграницей [2]) развила затѣмъ, хоть и не въ особенно значительныхъ размѣрахъ, его знакомство съ европейскими литературами. Въ Швейцаріи онъ усиленно перечитывалъ Шекспира, Мольера и Скотта,—и, точно ему нужна была именно эта прелюдія къ работѣ, снова принялся за Мертвыя Души. Ѳ. И. Буслаевъ увидалъ его въ 1840 году въ Cafe Greco въ Римѣ, въ сторонѣ отъ веселой кучки художниковъ, углубившимся въ чтеніе книги, „какъ будто окаменѣвшимъ въ невозмутимой сосредоточенности". Это было „что-то изъ Диккенса, которымъ, по словамъ Панова, въ то время былъ онъ заинтересованъ" [3]). Онъ оцѣнилъ, вмѣ-

---

1) Агафья Тиховна: „Еслибы губы Никанора Ивановича, да приставить къ носу Ивана Кузьмича" и т. д.—Статья „Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ": „Еслибы глубокость результатовъ Гердера... соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію".

2) Первые пять лѣтъ заграничнаго житья Гоголя теперь подробно описаны въ III томѣ „Матеріаловъ для біогр. Гоголя" В. И. Шенрока, 1895.

3) „Мои воспоминанія", Вѣстн. Европы, 1891, VII, 212.

стѣ со всѣмъ своимъ поколѣніемъ, и Жоржъ-Зандъ, прочелъ многихъ итальянцевъ и поклонялся Данту.

Но его обстановка измѣнилась. Не было уже болѣе около него Пушкина, чей предостерегающій голосъ могъ бы всегда остановить его передъ ложнымъ шагомъ; на его рукахъ умеръ даровитый и тонко развитой Іосифъ Вьельгорскій, способный культурно повліять на него. Пришло время, когда ближайшими друзьями его за границей стали Языковъ, находившійся тогда въ пароксизмѣ презрѣнія ко всему европейскому, Жуковскій, постепенно охватываемый мистицизмомъ, московскіе знакомые непримиримаго славянофильскаго оттѣнка; поодаль виднѣлись отецъ Матвѣй и старцы Оптиной пустыни. „Переписка съ друзьями“, казалось, отмѣтила собой рѣшительный поворотъ въ даль отъ европейскихъ умственныхъ движеній,—но среди болѣзненнаго лиризма и примирительныхъ разсужденій о русской современности встрѣчаются такія блестящія исключенія, какъ замѣчательное письмо къ графу А. П. Толстому въ защиту театра, одно изъ украшеній въ многовѣковой полемикѣ театра съ церковью. Снова выступаютъ въ ореолѣ славы *великіе* писатели запада: „Шекспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гете, Шиллеръ, Бомарше, даже Лессингъ, Реньяръ и многіе другіе изъ второстепенныхъ писателей прошлаго вѣка“, и нравственное вліяніе ихъ на массу взято подъ защиту; для достиженія высшей, учительной цѣли театра, „*нужно ввести на сцену во всемъ блескѣ всѣ совершеннѣйшія драматическія произведенія всѣхъ вѣковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще*“. Хотя Гоголь уже боялся быть причтеннымъ къ числу приверженцевъ новизны и увлеченія модными теоріями, онъ видимо волновался при мысли, какъ бы его не причислили къ лику старовѣровъ. Онъ отрицаетъ, чтобъ была въ немъ „та набожность, которою дышетъ наша добрая Москва, *не думая о томъ, чтобы быть лучшею*“. Пусть не воображаютъ, что питаетъ онъ „слѣпую вѣру во всѣ безъ различія обычаи предковъ, не разбирая, на лжи, или на правдѣ они основаны“. [1]) Сопоставляя въ главѣ „Споры“ „европистовъ и

[1]) Письмо къ С. Т. Аксакову, 1842. Собран. сочин., изд. Кулиша, V, 468.

славянистовъ", онъ признаетъ, что „разумѣется, правды больше" на сторонѣ послѣднихъ, но что и „на сторонѣ европистовъ тоже есть правда". „Кичливости больше на сторонѣ славянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку". Наконецъ въ главѣ „Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность" возвеличенъ петровскій переворотъ; „европейское просвѣщеніе было огниво, которымъ слѣдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массѣ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свѣту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человѣка"...

Только въ пылу раздраженія онъ могъ въ томъ же году, отвѣчая на письмо Бѣлинскаго по поводу „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями", утверждать, что онъ видитъ въ европейской цивилизаціи только „разрушающія, уничтожающія начала, и пришелъ къ убѣжденію, что „пустой призракъ явился въ видѣ этой цивилизаціи"... И чѣмъ болѣе усиливалось въ немъ это постоянное опасеніе, чѣмъ одностороннѣе становилась его умственная пища за эти годы, тѣмъ рѣзче дѣлался тонъ его отзывовъ. Еще разъ повторился въ исторіи русской сатиры тотъ поразительный фактъ, что радикальнѣйшій обличитель на склонѣ дѣятельности можетъ (повторимъ выраженіе кн. Вяземскаго о Фонвизинѣ) проповѣдывать выгоду невѣжества. Въ данномъ случаѣ разница въ томъ, что у Фонвизина презрѣніе вызывалось жаждой насмѣшки надъ чѣмъ бы то ни было, у Гоголя же, въ послѣдніе годы громившаго западъ съ набожно-консервативной точки зрѣнія, нелюбовь къ нему сначала даже окрашивалась особымъ художественнымъ колоритомъ,—и, странное дѣло, она поддержана была и развита одною изъ сторонъ того же неотвязнаго запада.

Точно врожденная въ немъ страсть къ Италіи [1]) привела его въ Римъ, который мало-по-малу сдѣлался для него обѣтованной землей; онъ полюбилъ его на всю жизнь. Но какой именно Римъ привлекалъ его къ себѣ? Не пробужда-

---

[1]) Его стихотвореніе „Италія", гдѣ онъ съ энтузіазмомъ воспѣваетъ эту страну, написано еще въ ту пору, когда онъ не видалъ ея вовсе и потому изображалъ собственныя грезы объ ней.

ющійся отъ долгаго порабощенія, но заснувшій, со всѣми старыми его учрежденіями, которыя вскормило папство. Ему нравились не только чудное наслѣдіе цѣлыхъ тысячелѣтій творчества, обломки великаго прошлаго, созданія художественнаго генія безчисленныхъ минувшихъ поколѣній, но и все то, что свѣжему человѣку должно было казаться слишкомъ ужъ архаическимъ: папскій церемоніалъ, безконечныя процессіи по улицамъ, и самыя улицы, узкія, грязныя, и полуграмотное населеніе, и дикое воспитаніе римскаго дворянства, и дѣтскія наслажденія римскихъ жителей, и карнавалъ, на время оживлявшій погруженныхъ въ спячку римлянъ. Все это было картинно, заслуживало описанія, но слишкомъ шло въ разрѣзъ съ духомъ новаго времени. Гоголь любилъ Римъ, какъ онъ есть, и съ этой стороны долгое житье въ немъ и завязавшіяся въ Римѣ близкія связи съ другимъ такимъ же отшельникомъ Ивановымъ, были для него неблагопріятны въ нравственномъ отношеніи. Онъ поддался даже вліянію католической набожности, и, хорошо знакомый съ старой и современной богословской литературой французовъ, онъ въ римскомъ салонѣ княгини Зинаиды Волконской сошелся съ пропагандистами католицизма, итальянцами и поляками, и могъ внушить послѣднимъ надежду обратить его въ свою вѣру [1]). Застой мало-по-малу затягивалъ его; онъ привыкаетъ брезгливо относиться къ вліяніямъ новѣйшей цивилизаціи, насколько имъ удалось проникнуть сквозь папскія заставы, вводитъ свои размышленія и оцѣнки этого рода въ „Римъ“. Для него, какъ и для героя этого разсказа, римскаго князя, Парижъ, казавшійся прежде „самымъ сердцемъ Европы, гдѣ, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что членъ великаго всемірнаго общества“, утратилъ всякую прелесть и значеніе, и сонъ Рима казался несравненно привлекательнѣе; только блистательно-одаренная его натура брала иногда верхъ надъ этимъ складомъ мыслей, среди подобной обстановки порождая художественно-правдивыя сцены „Мертвыхъ Душъ“, создававшіяся иногда въ италья-

---

[1]) Smolikowsky. Historya zgromadzenia zmartwychwstania Panskiego Krakow, 1892 (переписка оо. Семененка и Кайсевича, польскій сонетъ въ честь Гоголя и т. д.).

скихъ захолустьяхъ (въ остеріи на пути въ Альбано) среди совершенно чуждой имъ народной жизни.

Итакъ, даже въ процессѣ развитія его тревожнаго консерватизма играетъ не малую роль вліяніе одного изъ западныхъ общественныхъ теченій, впослѣдствіи удесятеренное мѣстными русскими условіями, — Гоголь и тутъ въ извѣстномъ смыслѣ можетъ быть названъ западникомъ. Но, кромѣ того, болѣе или менѣе внѣшняго, вида европеизма, который мы попытались раскрыть въ немъ, Гоголю свойственно было въ безконечно обширнѣйшей долѣ внутреннее содержаніе того прогресса, который привитъ былъ русскому уму общеніемъ съ Европой. Пока, въ дни меланхолическаго раздумья, онъ не подвелъ итоговъ своей дѣятельности и не захотѣлъ подложить въ нее заднимъ числомъ опредѣленную, положительную программу, онъ, повинуясь влеченію своего таланта, служилъ ту службу перевоспитанія общества, которую несли всегда лучшіе изъ нашихъ сатириковъ. Онъ, этотъ коренной русскій писатель, наименѣе заимствовавшій у кого бы то ни было, выдвинутый русскою жизнью и создававшій, ей въ отвѣтъ, самостоятельную русскую литературу, выступилъ съ кореннымъ *отрицаніемъ* этой жизни и ему главнымъ образомъ обязанъ своей славой. Камня на камнѣ не осталось послѣ его натиска,—и не только въ бюрократическомъ мірѣ, но и во всѣхъ закоулкахъ быта. Сейчасъ видѣли мы, какъ категорически отказывается онъ во что бы то ни стало признавать добрыми всѣ порядки старины; въ „Театральномъ разъѣздѣ“ онъ беретъ подъ свою защиту здравый смыслъ народный и доказываетъ, что народъ видитъ насквозь тѣ низости, которыя надъ нимъ чинятся. Въ этой страшной картинѣ не достаетъ только послѣдняго штриха, въ этихъ обличеніяхъ не досказано только одно слово: это слово—*реформа, преобразованіе,* которое сдѣлаетъ невозможнымъ міръ Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Ноздревыхъ, Земляникъ, различныхъ гражданскихъ и уголовныхъ палатъ съ ихъ чернильными героями, и полчища Чичиковыхъ, хозяевъ-пріобрѣтателей, со всѣхъ ступеней общественной лѣстницы. Это слово во время не договаривается; когда же съ годами усилилась потребность въ положительныхъ заявленіяхъ, фон-

визинскій Правдинъ, скроенный на западный ладъ резонера, надѣваетъ мундиръ благонамѣреннаго генералъ-губернатора и произноситъ крылатыя рѣчи, отъ которыхъ совѣсть начинаетъ трепетать у чиновниковъ; еще шагъ, и вся прежняя борьба противъ народныхъ язвъ будетъ самому сатирику казаться тяжкимъ грѣхомъ.

Но если это слово не было досказано, и во второмъ томѣ „Мертвыхъ Душъ“ авторъ признался, что всѣ русскіе люди, на какой бы ступени общественной лѣстницы ни стояли, все еще ждутъ великаго, магическаго слова „впередъ!“—если великій непосредственный талантъ увлекъ Гоголя дальше того, что онъ могъ потомъ сознательно одобрить, это не можетъ заслонить настоящаго смысла его общественнаго служенія. Вѣра въ будущность русской земли, въ народныя силы, скрытыя до времени, но крѣпкія и надежныя,—таковъ единственный компромиссъ его съ русской жизнью, и, быть можетъ, не умѣя подробно указать, *какія* новыя формы должны возродить ее, онъ каждою строчкой своихъ лучшихъ произведеній твердитъ читателю, что *такъ* жить нельзя. Онъ, не вполнѣ сознавая это, являлся надежнымъ союзникомъ всѣхъ, кто только стоялъ за культурный подъемъ русскаго общества и, стало быть, прежде всего союзникомъ тѣхъ кружковъ, которыхъ впослѣдствіи любили корить западничествомъ. Оттого между нимъ и этими людьми нашлось такъ много точекъ соприкосновенія, оттого они такъ долго могли его считать своимъ,—и онъ по временамъ какъ будто шелъ къ нимъ на встрѣчу. [1]) Въ началѣ своего обличительнаго пись-

---

[1]) Среди аскетическихъ помысловъ и интересовъ, отличавшихъ настроеніе Гоголя въ 1847 году, встрѣчаемъ слѣдующій отзывъ о Герценѣ (письмо къ Иванову, дек. 14): „Г. я не знаю, но слышалъ, что онъ благородный и умный человѣкъ, хотя, говорятъ, чрезчуръ вѣритъ въ благодатность нынѣшнихъ европейскихъ прогрессовъ и потому врагъ всякой русской старины и коренныхъ обычаевъ. Напишите мнѣ, какимъ онъ показался вамъ, что онъ дѣлаетъ въ Римѣ, что говоритъ объ искусствахъ, и какого мнѣнія о нынѣшнемъ политическомъ и гражданскомъ состояніи Рима, о чинкахъ и о прочемъ“. (Сочин. Гог., изд. Кулиша, VI, 441). Тотъ же тонъ отзыва въ письмѣ къ Анненкову, изъ Остенде, 1847; „о немъ люди всѣхъ партій отзываются, какъ о благороднѣйшемъ человѣкѣ“, пишетъ онъ, выражая желаніе „непремѣнно познакомиться съ нимъ въ Москвѣ“. Въ томъ же письмѣ находимъ не менѣе сочувственный отзывъ о Тургеневѣ. „Сколько могу судить по тому, что прочелъ, талантъ *замѣчательный* и обѣщаетъ большую дѣятельность въ будущемъ“. Анненковъ и его друзья, 1892, I, 508—9.

ма по поводу „Выбранныхъ Мѣстъ“, Бѣлинскій съ глубокой грустью вспоминаетъ, что онъ „любилъ Гоголя со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своей страной, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса“. Въ этихъ симпатіяхъ на первомъ планѣ стоятъ соціальныя основы гоголевской сатиры, тогда какъ въ противоположномъ лагерѣ часто цѣнилась главнымъ образомъ художественная сторона ея, молодые энтузіасты изъ славянофиловъ возвеличивали небывалый подъемъ эпическаго творчества и ставили „Мертвыя Души“ на ряду съ „Одиссеей“.

О Гоголѣ часто судятъ по мнѣніямъ и взглядамъ послѣдняго его періода, когда его гораздо болѣе окружали разныя сердобольныя дамы и постники, чѣмъ представители живыхъ общественныхъ слоевъ,—и эти сужденія какъ бы присвоиваются всей его жизни. Но, возвращаясь къ лучшей его порѣ, мы слышимъ грустное признаніе, вскорѣ послѣ неудачи „Ревизора“, въ глубокомъ разладѣ съ родною страной. „Ѣду за границу,—пишетъ онъ,—чтобы размыкать тоску, которую наносятъ мнѣ современники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ, долженъ быть подальше отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ своемъ отечествѣ“. Обстоятельства направляли его къ тому, чтобъ во время долгаго житья на западѣ среди европейскаго умственнаго движенія обдумать и выполнить, въ связи съ нимъ, свои обязанности относительно русскаго общества, но онъ не совладалъ съ выпавшею ему на долю задачей быть посредникомъ между племенами и ихъ культурой; онъ оставался въ Европѣ только туристомъ, сначала внимательнымъ, потомъ тоскующимъ и недовольнымъ. Чернышевскій находилъ, что Гоголю удалось уничтожить въ русской жизни *маниловщину*, т. е. прежде всего національное самообольщеніе; и, если считать за исключенія тѣ мысли и оцѣнки, которыя въ послѣдній періодъ проскальзывали у него самого въ этомъ духѣ, [1]) заслуга была не малая. Но тамъ, гдѣ національное соприкасается съ общечеловѣческимъ, онъ былъ безсиленъ и не

[1]) Болѣзненный лиризмъ ихъ непріятно поражалъ такихъ безпристрастныхъ его поклонниковъ въ славянофильскомъ лагерѣ, какъ С. Аксаковъ.

поднялся надъ общимъ сочувствіемъ къ свѣту и добру. Онъ и самъ сознавалъ этотъ пробѣлъ,—и, когда послѣ „Выбранныхъ мѣстъ“ ему поставили на видъ, что онъ отстранился отъ современности, онъ объяснилъ это временнымъ застоемъ, необходимымъ для внутренней работы; пройдетъ искусъ, и онъ снова вернется къ дѣлу. Но сколько подобныхъ намѣреній, возникавшихъ безпрестанно, несмотря на его иноческое смиреніе, прервала смерть!...

Инымъ образомъ относилась къ европейской мысли та молодежь, среди которой онъ встрѣтилъ наибольшую поддержку съ тѣхъ поръ, какъ отчетливо обозначилось его писательское направленіе. Изъ рядовъ этой молодежи выступили со временемъ тѣ его послѣдователи, которые образовали собой *натуральную школу* (какъ тогда говорилось) въ романѣ и драмѣ, или „гоголевскій періодъ“, какъ обозначило ихъ первое же серьезное историко-литературное изслѣдованіе о вліяніи Гоголя на современную словесность. Но въ средѣ этой же молодежи возникли и вскорѣ рѣзко обозначились тѣ два лагеря европейцевъ и славянъ,—на распутьи которыхъ судьба поставила Гоголя.

Возбужденный еще въ началѣ столѣтія интересъ къ новѣйшимъ философскимъ ученіямъ не переставалъ развиваться,—и за исключеніемъ „Московскаго Телеграфа“, остававшагося вѣрнымъ французской школѣ, въ особенности Кузену, эта отвлеченно-философская дѣятельность отличалась поклоненіемъ нѣмецкимъ мыслителямъ. Она перешла отъ разрозненно дѣйствовавшихъ любителей „умозрѣнія“, въ родѣ Елагина, отца позднѣйшихъ славянофиловъ, который вывезъ изъ походовъ „Критику чистаго разума“, поклонялся Канту, а потомъ увлекся Шеллингомъ,—къ цѣлымъ кружкамъ молодежи, отдававшей свои лучшіе годы на безконечные догматическіе споры, въ университетскихъ аудиторіяхъ, въ философскихъ уголкахъ московскихъ переулковъ и деревенскихъ усадьбъ, на страницахъ журналовъ. Старые кумиры замѣнялись новыми, и взошла звѣзда Гегеля.

Упраздненная, въ видахъ безопасности, въ университетахъ философія, подъ флагомъ *сельскаго хозяйства* снова вступила тамъ въ свои права, и М. Г. Павловъ горячо и

убѣдительно знакомилъ своихъ слушателей съ философіей Окена, правда, подъ прикрытіемъ ученія о плугахъ и удобреніи,—и придавая ей характеръ и значеніе философіи природы. Другое свѣтило московскаго университета, Надеждинъ, раскрывавшій въ краснорѣчивыхъ, но нѣсколько холодныхъ на взглядъ слушателей, лекціяхъ своихъ эстетическія и философскія основы міровой литературы, по собственному его признанію, [1]) былъ обязанъ нѣмецкой философіи и знакомству съ новой исторической наукой запада своимъ развитіемъ; недолго продолжалось его патріотическое самообольщеніе, когда сближеніе съ Европой казалось ему причиной нашего умственнаго застоя; послѣ его капризной и брезгливой борьбы противъ романтизма, когда остроумно, но съ множествомъ натяжекъ и парадоксовъ онъ громилъ въ своей (богатой свѣдѣніями по всеобщей литературѣ) диссертаціи [2]) романтическую школу и отрекался отъ господствовавшаго литературнаго направленія, онъ создалъ свою теорію „необходимаго равновѣсія между народнымъ и общечеловѣческимъ началомъ,—и изъ массы увлекавшихся его чтеніями слушателей выдвинулся Бѣлинскій.

Философскіе интересы сначала свободно соединялись съ изученіемъ новыхъ движеній въ нѣмецкой словесности, и „Молодая Германія“, дебюты Гейне и Бёрне, проявленія пробуждавшагося снова общественнаго сознанія, привлекали вниманіе. Подъ вліяніемъ этого интереса къ западной жизни возникли журналы, служившіе его распространенію. „Мнемозина“ Кюхельбекера и кн. Влад. Одоевскаго, спеціально основанная для философской пропаганды, была ихъ предтечей. Первымъ журналомъ новаго типа былъ „Московскій Вѣстникъ“ Веневитинова, вторымъ „Европеецъ“ Ивана Кирѣевскаго. Въ кружкѣ, группировавшемся около перваго изъ этихъ журналовъ, замѣтнымъ лицомъ былъ будущій вождь славянофиловъ Хомяковъ; имя издателя „Европейца“ блистало впослѣдствіи въ рядахъ той же школы, но въ эту пору они раздѣляютъ общее увлеченіе. Оба журнала съ че-

---

[1]) Автобіографія Надеждина въ Русскомъ Вѣстникѣ, 1856, № 9.

[2]) De origine, natura et fatis poeseos, quae romantica audit. Dissertatio historico-critico-elenctica. Mosquae, 1830.

стью служили избранной задачѣ, въ особенности журналъ Кирѣевскаго. По единственнымъ вышедшимъ двумъ книжкамъ „Европейца" читатель могъ составить себѣ довольно ясное представленіе о томъ, что происходило въ данную минуту въ Европѣ. Мы находимъ тутъ корреспонденцію изъ Берлина, гдѣ передаются новости о Гансѣ, Боппѣ, замѣщеніи каѳедры Гегеля, — переводъ статьи Эмиля Дешана о Бальзакѣ, съ сочувственной оцѣнкой его дѣятельности и слабымъ упрекомъ въ излишней мизантропіи,—отрывокъ изъ извѣстныхъ писемъ Бёрне и изъ парижскаго письма Гейне по поводу выставки картинъ, гдѣ проводится мысль, что новое время породитъ новое искусство, которое будетъ итти съ жизнью „въ стройномъ, вдохновенномъ созвучіи, которое символику свою *не станетъ занимать у поблекшаго минувшаго*". [1]) Наконецъ находимъ, очевидно, не безъ умысла помѣщенную картину Испаніи, необыкновенно близко подходящую къ тогдашней Россіи, и выставляющую слабое образованіе народа, поразительное развитіе нищенства, самоуправство властей и неисполненіе закона. Редакціонныя статьи ставятъ категорически вопросъ о пользѣ или вредѣ заимствованій и, опираясь на только что появившееся тогда на сценѣ „Горе отъ ума", рѣшаютъ этотъ вопросъ въ трезвомъ грибоѣдовскомъ духѣ: „мы смѣшны (говорится тутъ), подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ *неловко и невполнѣ*: что изъ подъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ кафтана и что, обривъ бороду, мы еще не умыли лица". Тотъ же критикъ, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ (Обозрѣніе русской словесности, 1829) открыто признавалъ даже, что „польская литература, какъ и русская, не только была отраженіемъ другихъ, но и существовала единственно силою чуждаго вліянія".

„Просвѣщеніе одинокое, китайски отдѣленное, — говорилъ въ свою очередь „Европеецъ", — должно быть китайски ограниченное; въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогрессіи, нѣтъ *того успѣха, который добывается только совокупными усиліями человѣчества*". Ввести сознательную

[1]) „Европеецъ", 1832, стр. 139.

программу въ общеніе съ западомъ становилось, такимъ образомъ, главною цѣлью журнала Кирѣевскаго,—но онъ едва успѣлъ намѣтить эту цѣль и приступить къ разработкѣ вопроса, какъ журналъ былъ неожиданно закрытъ [1]). Публицистическій почииъ Кирѣевскаго вмѣстѣ съ „философскимъ письмомъ" Чаадаева — два вѣстника приближавшихся уже главныхъ силъ западничества.

Для кружка „Московскаго Вѣстника" исходной точкой было также сочувствіе западу, но, въ то время, какъ „Европеецъ" слѣдилъ за всѣми проявленіями современнаго движенія, Веневитиновъ и его друзья замкнулись въ области философіи и чистаго искусства. Тутъ восторгались гетевскимъ „Фаустомъ", зачитывались Шеллингомъ; въ отвлеченныхъ сферахъ отдыхали отъ окружавшей пошлости и равнодушія. Веневитиновъ наименѣе всѣхъ способенъ былъ сторониться отъ жизненныхъ вопросовъ. У него тоже была пора восхищенія Байрономъ, на смерть котораго онъ написалъ искреннее стихотвореніе; онъ увлекался либеральнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ на западѣ и приходилъ въ негодованіе при видѣ смѣнявшей его реакціи. Когда Гете овладѣлъ его думами, онъ не поддался слѣпому преклоненію передъ недосягаемымъ совершенствомъ; въ немъ загорѣлось желаніе вызвать на благородное состязаніе съ нимъ лучшія русскія силы, и въ стихотвореніи „къ Пушкину" онъ съ любовью, но настойчиво и убѣдительно влечетъ его за собой въ чудесный міръ гетевскаго творчества и на поэтическій поединокъ съ германскимъ исполиномъ (пушкинская „Сцена изъ Фауста" была непосредственнымъ отвѣтомъ на этотъ вызовъ).

Въ краткую жизнь свою Веневитиновъ успѣлъ пережить всѣ фазисы, черезъ которые проходили тогда представители молодого поколѣнія, и, не порывая съ уваженіемъ къ европейской мысли, закончилъ кругъ своего развитія оригинальной идеею о необходимости пріостановить движеніе отечественной словесности, заставивъ ее глубже выяснить свое внутреннее содержаніе, побудивъ ее „болѣе думать, чѣмъ производить". Для сей цѣли, — говоритъ онъ, „надлежало

[1]) Чаадаевъ написалъ тогда горячее защитительное письмо за Кирѣевскаго къ Бенкендорфу; оно напечатано Гагаринымъ.

бы нѣкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ, закрыть отъ взоровъ ея всѣ маловажныя происшествія въ литературномъ мірѣ, безполезно развлекающія ея вниманіе, и, опираясь на твердыя начала философіи, представить ей полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой она видѣла бы свое собственное предназначеніе“ [1]).

Въ этой юношеской грезѣ человѣка, благоговѣющаго передъ великими созданіями міровой литературы, негодуя на слабость мысли и легкую производительность родной словесности и желая искуственно привить ей недостающую широту цѣлей, уже кроется зародышъ будущаго славянофильскаго воззрѣнія. Оно не получило еще оттѣнка исключительности; для русскаго общества считаютъ необходимымъ дать „полную картину развитія ума человѣческаго“, гдѣ каждой народности отведено равноправное мѣсто, гдѣ каждая получаетъ „свое собственное предназначеніе“. Нѣтъ еще и слѣда горделиваго самовозвышенія; [2]) каждый вноситъ въ общую сокровищницу лучшее, что выработалъ творческій духъ его племени. Очевидно, это—русское отраженіе той теоріи, которая высказана была въ нѣмецкой наукѣ впервые (1784) еще Гердеромъ въ его „Ideen zur Geschichte der Menschheit“, и снова заявлялась въ первой четверти нашего вѣка.

Какъ бы то ни было, на развалинахъ двухъ названныхъ журналовъ, служившихъ съ большей или меньшей опредѣленностью цѣлямъ общеевропейской культуры, изъ обломковъ стараго кружка „Московскаго Вѣстника“ и новыхъ сблизившихся съ нимъ лицъ, сложилась впослѣдствіи немногочисленная, но дружная школа славянофильская. Старшіе ея члены и основатели обладали серьезной ученой подготовкой, пріобрѣтенной на западѣ, преимущественно въ Германіи. Оба

1) „Нѣсколько мыслей въ планъ журнала“. Сочиненія Веневитинова, 1862.

2) Хомяковъ, нѣкогда сотрудникъ Московскаго Вѣстника, остался вѣренъ этимъ взглядамъ. Извѣстное стихотвореніе, въ которомъ онъ порицаетъ гордыню „дѣтей Сіона“, думавшихъ, что они „родъ избранный“, что только для нихъ „Божьи громы сушили морей волнистыхъ глубину, что лишь для нихъ законъ, у нихъ пророки и Божьей силы чудеса“,—это стихотвореніе съ достаточной энергіей ополчается противъ чьего бы то ни было національнаго самовозвышенія.

брата Кирѣевскіе воспитались въ этой странѣ. Иванъ Кирѣевскій передъ путешествіемъ былъ уже послѣдователемъ и поклонникомъ Шеллинга; въ берлинскомъ университетѣ онъ сначала холодно отнесся къ репутаціи Гегеля, даже избѣгалъ его лекцій, потомъ подпалъ ихъ обаянію и съ увлеченіемъ перешелъ въ станъ гегельянцевъ [1]). Для Хомякова нѣсколько лѣтъ, проведенныхъ за границей, дали возможность близко изучить французскую жизнь и литературу, и съ необыкновеннымъ мастерствомъ усвоить себѣ современную германскую философію, что давало ему впослѣдствіи въ Москвѣ арсеналъ полемическихъ орудій въ кружковыхъ спорахъ. Самая мысль Кирѣевскихъ основать „Европейца" зародилась подъ свѣжими впечатлѣніями заграничной жизни. Но и та, младшая часть славянофильской школы, которая, какъ одна изъ группъ „идеалистовъ тридцатыхъ годовъ", выдѣлилась изъ дружнаго и солидарнаго сначала московскаго студенческаго кружка, подготовилась къ своему дѣлу внимательнымъ изученіемъ нѣмецкой науки.

Связь между сочувствіемъ къ Европѣ, охватившимъ все тогдашнее молодое поколѣніе, и ученіемъ, которое должно было въ концѣ своего развитія дойти до отрицанія жизненности европейской культуры и высказаться за исключительную самобытность, требуетъ внимательнаго изученія.

Недалеко отъ насъ то время, когда зарожденіе славянофильства считалось явленіемъ чисто-русскимъ, своеобразнымъ, которое питалось одними только здоровыми народными соками, не испорченными европеизмомъ. Много, если, говоря о происхожденіи этой школы, вспоминали о ея предшественницѣ, научно-патріотической школѣ чешской, первой виновницѣ славянскаго возрожденія въ текущемъ вѣкѣ. Но этого сличенія слишкомъ недостаточно. Культурная исторія Европы за послѣднія два столѣтія показываетъ, что *почти ни одна страна* не обошлась въ свое время безъ движенія, вполнѣ

---

[1]) Ср. статью М. Филиппова „Судьбы русской философіи". Русское Богатство, 1894, I.

схожаго съ славянофильствомъ [1]). Сентиментальное поклоненіе старинѣ, исканіе только въ ней одной величайшихъ доблестей, мистическій оттѣнокъ національной гордости, грезы о всемірно-историческомъ призваніи, выпавшемъ на долю лишь родному народу-избраннику, и рядомъ съ этимъ развитіе интереса къ народной жизни, поэзіи, повѣрьямъ, юридическимъ обычаямъ и т. д.,—такова программа всѣхъ этихъ разнородныхъ сектъ.

Чешское національное движеніе зародилось въ рабочихъ кабинетахъ немногихъ ученыхъ и стихотворцевъ начала нашего столѣтія, составившихъ смѣлый планъ пропаганды народности среди обезличенной массы соотечественниковъ. Родоначальники движенія, Юнгманъ, Добровскій, Шафарикъ, Коларъ, Челаковскій, перешли отъ изученія ветхихъ хартій къ энтузіазму въ честь старины, который съ удивительной силой пробуждая умы, вмѣстѣ съ тѣмъ не выходилъ сначала изъ предѣловъ болѣзненнаго лиризма. Имъ проникнута *Slavy dcera* Колара съ ея патріотическими галлюцинаціями, онъ вызвалъ къ жизни такое подражаніе старинѣ, какъ *Краледворская рукопись* съ ея просвѣтленными, героическими образами и событіями изъ богатырскаго прошлаго, мечты панславизма, дошедшія до фантастическихъ картинъ будущаго у Людевита Штура (въ его сочиненіи „Славянство и міръ будущаго“ [2]). Забой, Славой, Пржемыслъ стали дорогими новому поколѣнію; въ лучшемъ случаѣ, мысль неслась къ порѣ Гуса и Жижки, преданной интересамъ религіозной и національной свободы,—и все не славянское, не чешское, въ особенности же германское, казалось опаснымъ и ненавистнымъ. Только событія 1848 года, славянскій съѣздъ въ Прагѣ, борьба съ вѣнскимъ деспотизмомъ придали чешскому движенію реальную почву, отучили его отъ замкнутости, указали способы возрожденія, не разрывающаго

---

1) Французская литература выставила подобное изученіе еще въ шестнадцатомъ столѣтіи. Швейцарецъ Отманъ въ своей книгѣ *Franco Gallia* изобразилъ отдаленныя галльскія времена порой свободы и счастья, характеризовалъ широкое и свободное устройство народнаго самоуправленія и, сравнивая древній порядокъ вещей съ королевскимъ деспотизмомъ и рабствомъ знати, звалъ современниковъ назадъ.

2) „Славянство и міръ будущаго“, изд. въ русскомъ переводѣ въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Древн., затѣмъ и отдѣльно, М. 1867.

связей съ общеевропейской цивилизацiей, и вмѣсто мечтаній о поворотѣ жизни назадъ поставили впереди привлекательныя цѣли. Современная намъ Чехія, съ ея безчисленными народными школами, политическою печатью, національнымъ университетомъ, театромъ, построеннымъ въ Прагѣ на *народныя* деньги, разнообразнѣйшими ассоціаціями, и рѣдкой выдержкой въ отстаиваніи своихъ правъ, далеко отошла отъ романтической грусти или самовосхваленія, процвѣтавшаго въ началѣ столѣтія, и можетъ только гордиться этимъ.

„Иллиризмъ" у южныхъ австрійскихъ славянъ былъ такою же школой народолюбія, сначала съ сильной окраской романтики и мистицизма. Въ лицѣ его родоначальника, Людевита Гая, сблизившагося съ Коларомъ, онъ побратался съ чешскимъ научнымъ и поэтическимъ романтизмомъ, у даровитаго поэта Прерадовича дошелъ до грезы о „Призваніи славянъ" спасти силою любви человѣчество, до суроваго приговора надъ „гніющимъ западомъ" и пророчества, что когда настанетъ борьба славянскаго востока съ нимъ, передовымъ отрядомъ будетъ хорватскій народъ [1]). Но не туманный „иллиризмъ", а дѣятельное развитіе народныхъ силъ, стойкое и послѣдовательное отстаиваніе политическихъ правъ и свободы просвѣщенія, приведшее къ автономіи, сдѣлало обновленную, культурную Хорватію однимъ изъ украшеній современнаго славянства.

Въ польской литературѣ нынѣшняго столѣтія еще разительнѣе примѣръ односторонняго, романтическаго отношенія къ народности и старинѣ, прошедшаго знакомый намъ путь отъ байроническихъ симпатій и культа Шиллера и Гете къ національному мистицизму. Подобно Пушкину, Мицкевичъ, Одынецъ, Словацкій увлекались сначала Байрономъ. „Конрадъ Валенродъ", „Крымскіе сонеты", „Фарисъ" Мицкевича,— „Арабъ" и „Монахъ" Словацкаго написаны подъ его вліяніемъ. Затѣмъ они перешли въ станъ Гете, и его поэма „Германъ и Доротея" явилась первообразомъ „Пана Тадеуша" [2]). Еще

---

[1]) Платонъ Кулаковскій, „Иллиризмъ. Изслѣдованіе по исторіи хорватской литературы поры возрожденія", Варшава, 1894.

[2]) Сравн. брошюру „Zwei Polen in Weimar v. F. Bratranek, Wien, 1870, гдѣ изображено паломничество польскихъ писателей въ Веймаръ на свиданіе съ Гете.

шагъ дальше,—и, подъ вліяніемъ личныхъ испытаній и крушенія національныхъ надеждъ, въ томъ же передовомъ кружкѣ возникаетъ мистико-политическое направленіе, которому служатъ ученыя изслѣдованія Лелевеля, стихотворенія, лекціи въ Collège de France и памфлеты Мицкевича, поэма Словацкаго „Ангеллій" съ ея таинственными сибирскими ландшафтами, стонами каторжниковъ и трогательной повѣстью одинокаго мученичества,—наконецъ фантастическій мессіанизмъ Товянскаго. Всѣ силы напрягаются, чтобъ открыть въ тайникахъ польскаго національнаго характера невѣдомыя міру начала искупленія, и выставить провиденціальную роль польскаго племени. Передъ очами носится обольстительное представленіе о свѣтлой порѣ, когда ему выпадетъ наконецъ эта міровая роль. Основа этого крайняго напряженія патріотической фантазіи возбуждаетъ, конечно, соболѣзнованіе,—но много вреда принесло оно, замутило свѣтлое творчество Мицкевича,—и въ глазахъ историковъ общественнаго движенія польскаго является болѣзненно одностороннимъ отклоненіемъ людей даровитыхъ отъ реальной почвы [1]).

Если отъ этихъ примѣровъ, взятыхъ изъ міра славянскаго, обратимся къ Германіи, увидимъ еще болѣе продолжительную исторію германофильства, которая насчитываетъ уже около полутораста лѣтъ. Оды Клопштока, увлеченнаго съ одной стороны величавой поэзіею Оссіана, съ другой—эффектными дѣяніями Фридриха Великаго, вводятъ въ нѣмецкую лирику образы давно минувшихъ богатырскихъ личностей; Арминій и Туснельда окружены необычайнымъ ореоломъ, поэты наперерывъ стараются подражать древнимъ бардамъ, и среди просвѣтительнаго XVIII вѣка идетъ цѣлая полоса археологическихъ увлеченій. Они переживаютъ рядъ поколѣній, не замолкаютъ и во время *Sturm und Drang'a*, усиливаются по поводу открытія и изданія важныхъ памятниковъ германской старины, переходятъ въ наше столѣтіе, окружаютъ блескомъ былиннаго героизма борцовъ противъ наполеоновской тиранніи и вызываютъ демонстративное, воинствующее

---

[1]) Интересныя данныя о польской доктринѣ, близкой къ славянофильству, собраны въ книгѣ М. Урсина „Очерки изъ психологіи славянскаго племени. Славянофилы". Спб. 1887.

возвеличеніе національнаго прошлаго на зло губительному вліянію культуры der Welschen [1]). Одинъ только Гердеръ сумѣлъ придать этому движенію широкій и поэтическій смыслъ. Гердеръ поднимаетъ изъ забвенія народную поэзію, энергически распространяетъ вездѣ интересъ къ изслѣдованію пѣсеннаго творчества, и ставитъ безыскуственное народное вдохновеніе выше созданій отдѣльныхъ личностей. Но его точка зрѣнія широка и гуманна; въ его восторгахъ найдется мѣсто и для южной баллады, и для литовской пѣсенки, и для малорусской думки; законность безконечнаго разнообразія національныхъ и мѣстныхъ оттѣнковъ въ жизни и поэзіи стала для него истиннымъ догматомъ,—и онъ не разъ зло подсмѣивается надъ ограниченностью тѣхъ нѣмецкихъ патріотовъ, которые не хотятъ знать ничего на свѣтѣ, кромѣ своей родины, и презрительно относятся къ быту другихъ странъ, точно китайцы, для которыхъ небесная имперія—весь міръ, а иноземцы—что-то въ родѣ отвратительныхъ злыхъ духовъ, пытающихся ворваться въ безмятежное царство солнца. „Какъ часто кажется, что находишься въ Китаѣ,—когда слышишь въ повседневной жизни такія *китайскія* сужденія, которыя изъ невѣжества и гордости отвергаютъ все, что противорѣчитъ собственному складу мысли и пониманія!“ восклицаетъ Гердеръ (Von der Verschiedenheit des Geschmacks etc). Но подобный взглядъ вымираетъ съ прекращеніемъ неутомимой дѣятельности этого оригинальнаго мыслителя; его наслѣдіе присвоиваетъ себѣ романтическая школа и замыкается въ узкіе предѣлы нѣмецкой народной старины. Она идеализируетъ ее, скорбитъ объ утраченной народомъ свѣтлой порѣ; широко раскинувшись по всей литературѣ и наукѣ Германіи, собравъ вокругъ своего знамени нетолько эстетиковъ, этнографовъ, историковъ, но и юристовъ, философовъ, экономи-

[1]) Весьма недавно, тотчасъ послѣ франко-прусской войны, можно было наблюдать новое повтореніе такого же болѣзненнаго пароксизма. Не въ мѣру напряженное національное чувство въ горделивомъ самоупоеніи попыталось еще разъ идеализовать старину; Арминій снова очутился въ почетѣ и всѣ сердца понеслись назадъ, къ золотому вѣку нѣмецкаго героизма и нравственной чистоты. Отъ этого увлеченія не убереглись даже замѣчательные писатели (Ауэрбахъ, Фрейтагъ, отчасти даже Шпильгагенъ); теперь оно, къ чести нѣмецкаго народа, уже стало однимъ изъ тѣхъ свѣжихъ преданій, которымъ вѣрится съ трудомъ.

стовъ, романтизмъ десятками авторитетныхъ голосовъ провозглашалъ почти недосягаемое величіе дальняго прошлаго. Для юриста-романтика это феодальное прошлое было блаженнымъ временемъ господства народной правды и нормальнаго общественнаго строя, для политико-эконома это — время разумнаго распредѣленія народнаго богатства; для историка церкви—пора наивной и искренней вѣры; философы-романтики, съ Шеллингомъ во главѣ, въ своихъ объясненіяхъ историческаго процесса принимаютъ существованіе ранняго, совершеннѣйшаго періода исторіи, вмѣстѣ съ которымъ „сошла со сцены благороднѣйшая часть человѣчества"; ранній періодъ является поэтому настоящимъ золотымъ вѣкомъ въ памяти народной, и „возвращеніе его на землю остается предметомъ вѣчныхъ, неутолимыхъ желаній". Въ этомъ прошломъ уже вполнѣ выяснилась та основная идея, выразителемъ которой призванъ быть извѣстный народъ, если только онъ имѣетъ право на всемірно-историческую роль, и все его дальнѣйшее существованіе должно быть отдано на служеніе этой идеѣ. Такимъ образомъ, соединенными усиліями романтической поэзіи и философіи намѣчены были всѣ составные элементы германофильскаго движенія: идеализація старины упрочила элементъ археологическій; господство религіознаго начала въ сказаніяхъ и бытѣ прошлаго выдвинуло впередъ стихію болѣзненной мистической набожности; исканіе завѣтной *идеи*, положенной судьбою въ основу нѣмецкаго народнаго быта, подняло принципъ горделиваго національизма, пріучая рѣзко осуждать все, что не подходитъ къ высотѣ этой идеи. Прежняя, гердеровская точка зрѣнія утрачена; ей остались вѣрными лишь два, три свободомыслящіе эпигона въ родѣ Рюккерта, этого романтика-космополита; вмѣсто необъятнаго круга общечеловѣческаго развитія, мысль замыкается въ опредѣленныя рамки и въ нихъ трепещетъ и бьется точно въ оковахъ, глумясь надъ неизмѣннымъ закономъ поступательнаго движенія жизни и ставя свои идеалы позади.

Послѣдствія этого извращенія понятій не заставили себя долго ждать. Если практическіе результаты романтическаго движенія принесли значительную пользу, придавъ особенное развитіе научному изученію старины и народности, которое со-

здало плодотворную школу братьевъ Гриммовъ, вызвало усиленное собиранiе пѣсенъ, сказокъ, народно-юридическихъ обычаевъ, изданiе множества памятниковъ старонѣмецкой литературы,—то съ другой стороны слишкомъ извѣстно, къ какому печальному концу пришли романтики, какимъ религiознымъ и политическимъ фанатизмомъ прониклись они, переходя нерѣдко въ католичество для того, чтобъ стать ближе къ вѣрѣ своихъ далекихъ и чистыхъ духомъ предковъ, но и для того, чтобъ слѣпо отдать себя въ распоряженiе римской курiи,—какъ они являлись вѣрными слугами любого реакцiоннаго правительства и зачинщиками гоненiй на современную мысль, не преклонявшуюся передъ ихъ нацiонально-археологическими теорiями. Перiодъ тридцатыхъ годовъ въ Германiи полонъ этихъ печальныхъ дѣянiй школы, которая нѣкогда выступала на свое поприще съ идеальными стремленiями, напутствуемая благословенiемъ и Шиллера, и Гёте, а подъ конецъ доставляла усердныхъ сыщиковъ и доносчиковъ для травли поэтовъ и публицистовъ „Молодой Германiи“.

Но у насъ есть, наконецъ, въ запасѣ новый, еще болѣе свѣжiй примѣръ, который мы возьмемъ изъ жизни странъ менѣе извѣстныхъ,—изъ современной исторiи Данiи и Норвегiи. Брандесъ обратилъ вниманiе европейскаго общественнаго мнѣнiя на борьбу старой патрiотической партiи въ Данiи съ свободомыслящей оппозицiей, борьбу столь сильную, что она принудила самого Брандеса оставить каѳедру въ копенгагенскомъ университетѣ и искать убѣжища въ Берлинѣ. Со времени его остроумной характеристики умственнаго движенiя въ Данiи, [1]) въ Европѣ хорошо знаютъ, что и тамъ дѣло не обошлось безъ того же неотвязнаго романтизма, безъ того же увлеченiя стариной и мистико-пророческаго отношенiя къ исторiи; и въ датскомъ обществѣ выдвинулись люди недюжинные, вродѣ Грундтвига, нерѣдко замѣчательно даровитые, которые всею душою отдавались нетерпимому фанатизму и быстро переходили къ излишествамъ послѣднихъ нѣмецкихъ романтиковъ. Эта консервативная школа,

---

[1]) „Das geistige Leben in Dänemark“, von G. Brandes, ueber. v. A. Strodtmann.

благодаря тѣсной связи скандинавскихъ государствъ, охватила и Норвегію. Въ одномъ изъ собраній этюдовъ Брандеса,[1]) представляющемъ рядъ превосходныхъ портретовъ, мы находимъ живую характеристику одного изъ первоклассныхъ норвежскихъ писателей, Бьёрнсона, чрезвычайно популярнаго и въ Германіи. Онъ сразу сталъ знаменитъ своими деревенскими разсказами, въ которыхъ свѣжесть поэтическаго колорита связывалась съ нѣкоторою идеализаціею народной жизни. Эти разсказы пришлись по вкусу старой норвежской партіи, которая самодовольно называетъ себя „интеллигенціею страны" (иногда даже національно-либеральной партіею) и вмѣстѣ съ тѣмъ ведетъ упорную вражду противъ всѣхъ нововведеній. „Для нея все европейское является подозрительнымъ,—*только на крайнемъ сѣверѣ сохранилась нравственная чистота и свѣжесть, которая призвана обновить дряхлую культуру Европы*,—что же касается современности въ строгомъ смыслѣ этого слова, то она не существуетъ вовсе для счастливаго невѣдѣнія". Въ пору появленія разсказовъ Бьёрнсона, говоритъ Брандесъ, эти люди были еще друзьями народа. „Они любили абстрактнаго крестьянина, настоящаго же, конкретнаго, они еще не видали. Мужику они дали избирательныя права, надѣясь, что онъ всегда будетъ выбирать тѣхъ, кто далъ ему эту вольность; тогда крестьянство называли не иначе, какъ здоровымъ зерномъ народа, въ немъ видѣли потомство героевъ древности, его воспѣвали, ему льстили". Но въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ средѣ крестьянства проявилось сильное, самостоятельное движеніе, шедшее одновременно съ зарожденіемъ въ культурныхъ слояхъ Даніи новой поэтической и критической школы, сочувственной обще-европейскому прогрессу. Бьёрнсонъ, уже избалованный успѣхомъ, поддался этому знаменію времени, порвалъ съ своимъ прошлымъ,—и съ тѣхъ поръ, какъ онъ вышелъ на новую дорогу, его имя стало популярнѣйшимъ во всемъ крестьянскомъ людѣ, онъ взялъ въ свои руки все литературное движеніе,—и сталъ ненавистенъ стариннымъ „друзьямъ народа".

---

[1]) „Moderne Geister". Frankfurt, 1882.

Небольшое отступленіе, которое мы позволили себѣ, дало, какъ намъ кажется, практическіе результаты. Обнаружилась повсемѣстность разновременныхъ школъ съ одинаковой программой, измѣняемой лишь сообразно національнымъ оттѣнкамъ. Для однихъ героической порой является вѣкъ Любуши, Пржемысла или Забоя, для другихъ—вѣкъ Святослава и Владиміра, для третьихъ—старое нѣмецкое рыцарство, для четвертыхъ, наконецъ, — богатырская эпоха, воспѣтая въ сказаніяхъ Эдды или „Пѣсни о Нибелунгахъ". Мѣняется и религіозная основа: поэзія стародавняго католицизма встрѣчается тутъ съ протестантской богобоязненностью, подобно тому какъ въ русской національно-романтической школѣ перевѣсъ на сторонѣ православнаго вѣроученія. Затѣмъ мы видѣли, что каждая школа по своему понимаетъ тотъ общій имъ всѣмъ догматъ, въ силу котораго должна быть торжественно водружена великая идея, имѣющая освободить все человѣчество и излечить его отъ ранъ цивилизаціи. Одни утверждаютъ, что эта идея залегла въ польскомъ народномъ характерѣ, другіе видятъ ее въ чешскомъ племенномъ началѣ, третьи ждутъ мессіи изъ Германіи, четвертые указываютъ на „дальній сѣверъ" и поочередно на Данію, Швецію, Норвегію.

Русская школа, стало быть, найдетъ легко свое мѣсто въ этой цѣпи обще-европейскихъ явленій,—тѣмъ болѣе, что она имѣетъ непосредственныя связи съ двумя изъ своихъ западныхъ сверстницъ, съ чешскою національной реставраціей, и съ нѣмецкимъ романтизмомъ и его спутницей-философіей. Не подлежитъ сомнѣнію, что рѣдкое зрѣлище возрожденія народнаго самосознанія, ставшее возможнымъ благодаря усиліямъ нѣсколькихъ кабинетныхъ ученыхъ, произвело значительное впечатлѣніе на первыхъ двигателей славянофильства (закончивъ свое путешествіе по Европѣ посѣщеніемъ славянскихъ земель, Хомяковъ сошелся съ главными дѣятелями; впослѣдствіи Погодинъ завязалъ сношенія съ чешскими учеными и политиками, съ „иллирійцемъ" Гаемъ), — хотя разница религіи тогда уже считалась не малою помѣхой тѣсному сближенію съ чехами. Подобно чешскимъ вождямъ, и основатели русскаго кружка исходили отъ точки зрѣнія книж-

ной кабинетной работы и келейныхъ споровъ, и мало-по-малу перешли къ попыткамъ усвоить болѣе широкую общественную роль въ журналистикѣ, войти прямо въ жизнь Окружающая дѣйствительность въ обоихъ случаяхъ была слишкомъ неудовлетворительна, выражаясь или въ русскомъ бюрократизмѣ, или въ австрійскомъ военно-полицейскомъ гнетѣ,—и мысли сами обратились къ старинѣ. Но связи съ пробуждавшимся славянствомъ окончательно установились у московскаго кружка нѣсколько позднѣе, а до той поры нѣмецкая мысль помогла ему въ трудномъ дѣлѣ выработки основныхъ своихъ догматовъ. Историки славянофильства признаютъ вліяніе на него Шеллинга и Гегеля [1]). Представленіе о миновавшей свѣтлой порѣ высказано было еще въ началѣ столѣтія Шеллингомъ, и на всѣ лады развито романтиками; романтическія же прикрасы этой старины нашли отзвукъ въ изображеніи „древней, свѣтлой Руси, озаренной, по словамъ молодого Ю. Самарина, какимъ то веселымъ, праздничнымъ сіяньемъ". Тамъ господствовала „какая-то непринужденность и свобода въ отношеніяхъ людей, внутреннее единство жизни, всеобщее стремленіе освятить всѣ отношенія религіознымъ началомъ; не было вовсе ни тѣсной исключительности, ни суроваго невѣжества позднѣйшихъ временъ;"— такіе безпристрастные судьи, какъ Хомяковъ, находили эту идеализацію слишкомъ несоотвѣтствовавшею дѣйствительности [2]). Но романтическая влюбленность въ дѣдовскую старину, недалеко ушедшая отъ лирики Жуковскаго, была лишь ступенью къ философско-исторической системѣ, въ которой эта

---

[1]) „Славянофильство, какъ философское ученіе", ст. Н. Панова, Журн. мин. нар. просвѣщ. 1880, ноябрь, стр. 4—6. „Основы ученія первоначальныхъ славянофиловъ", статьи Ор. Миллера, Русская Мысль, 1880, вторая статья, стр. 12. — Филипповъ, Судьбы русской философіи, Русск. Богатство, 1894.— П. Г. Виноградовъ. Кирѣевскій и начало московскаго славянофильства, Вопросы философіи и психологіи, кн. XI.

[2]) Когда И. Кирѣевскій утверждалъ разъ, что христіанское ученіе выражалось, въ чистотѣ и полнотѣ, во всемъ объемѣ общественнаго и частнаго нашего быта въ древности,—Хомяковъ спросилъ его, когда же это было: не въ эпоху ли кроваваго спора Олеговичей и Мономаховичей, безнравственныхъ смутъ Галича, подкупа русскимъ золотомъ татаръ, при Иванѣ III и его сынѣ двуженцѣ? „Нѣтъ, велико это слово,—говорилъ Хомяковъ,—и, какъ ни дорога мнѣ родная Русь въ ея славѣ современной и прошедшей, сказать его объ ней я не могу и не смѣю".—О. Миллеръ, статья II, стр. 28.

старина и народность раскрывали смыслъ и предназначеніе племенного славянскаго начала. Если Шеллингъ правъ, утверждая, что только тому народу суждено выполнить активную миссію въ исторіи человѣчества, который сумѣетъ внести въ нее на пользу всѣмъ идею, выражающую лучшее его духовное достояніе, — то любовь къ отечеству и вѣра въ его высокое призваніе обязываютъ изслѣдовать, выяснить ту „русскую идею“, на служеніе которой ушло десять вѣковъ нашей народной жизни, тотъ вкладъ, который она внесла и еще внесетъ въ міровую исторію. Пришлось обратиться къ чисто русскимъ матеріаламъ, къ исторіи, богословію, преданіямъ, пѣснямъ, древней литературѣ, изъ нихъ извлекать отвѣтъ на поставленную задачу, возсоздавать строй коренныхъ русскихъ воззрѣній. То, что давала скудная тогда наука о нашей старинѣ, привлечено было въ качествѣ оправдательныхъ документовъ; существенныхъ дополненій отъ себя въ видѣ изслѣдованій и обнародованія памятниковъ школа почти не дала, — прогрессъ изученія старины вызванъ былъ со временемъ молодыми силами изъ противоположнаго лагеря, вошедшими въ дѣло подъ знаменемъ гриммовской школы. Недостатокъ фактическихъ свѣдѣній дополнялся восторженнымъ лиризмомъ и спѣшными философскими обобщеніями, ненадежность которыхъ удивляла наприм. такого новичка, какъ Иванъ Аксаковъ, совѣтовавшій брату-энтузіасту лучше близко узнать народъ или изслѣдовать точныя рукописныя данныя, чѣмъ носиться въ грезахъ о дѣдовской славѣ. Но романтическій отблескъ такъ и остался навсегда неотъемлемой принадлежностью первоначальнаго славянофильскаго ученія; онъ получилъ особую мистическую прелесть, когда усвоенъ былъ взглядъ Гегеля на смѣну руководящихъ міровою цивилизаціею племенъ, и когда вмѣсто германскаго племени, надѣленнаго благодаря патріотизму философа такою ролью въ текущемъ періодѣ всемірной исторіи, славянское, въ частности русское племя пріобрѣло почетное положеніе завершителя развитія человѣчества. Къ такому результату привели мечты Веневитинова объ изолированіи Россіи отъ общеевропейскаго движенія, о необходимости углубиться въ свой духовный міръ и опредѣлить наше предназначеніе. Исходная

точка и способы первыхъ доказательствъ были даны рано умершему предтечѣ и его послѣдователямъ нѣмецкою философіей. Связи съ ней долго не порывались. Даже въ 1846 г. Константинъ Аксаковъ въ своей диссертаціи о Ломоносовѣ (съ эпиграфомъ изъ Гете) „доказывалъ всемірно-историческое значеніе русскаго народа при помощи гегелевской терминологіи“. Да и невозможно было уберечься отъ вліянія нѣмецкой мысли въ тогдашней Москвѣ, которая была мало-помалу охвачена ея потокомъ до того, что сама превратилась въ одинъ изъ „губернскихъ городовъ нѣмецкой философіи“, наряду съ Берлиномъ, Іеной, Лейпцигомъ.

Эта несомнѣнная связь съ западомъ объясняетъ ту примѣчательную особенность первыхъ славянофиловъ, которую мы готовы бы назвать слабостью къ Европѣ, остаткомъ симпатіи къ ней, сбереженнымъ несмотря на обострившіяся потомъ отношенія къ ея приверженцамъ. У первыхъ славянофильскихъ писателей мы никогда не встрѣтимъ грубыхъ, нетерпимыхъ выходокъ, которыми щеголяло ихъ выродившееся потомство,—напротивъ, сказывается уваженіе къ почетнѣйшимъ именамъ западной науки и литературы. Вотъ нѣсколько примѣровъ, взятыхъ на удачу изъ сочиненій Хомякова, И. Кирѣевскаго, К. Аксакова. Кирѣевскій называетъ Лейбница *великимъ*, Спинозу и Декарта *знаменитыми*, Юма безпристрастнымъ; онъ благодаритъ Вронченка за наслажденіе, доставленное ему переводомъ Фауста; Сентъ-Бёвъ, по его мнѣнію, замѣчательный писатель; онъ съ интересомъ прочелъ его книгу о Поръ-Роялѣ и сочувственно относится къ личности Паскаля. Хомяковъ называетъ „геніальными дѣятелями восемнадцатаго вѣка“ Вольтера и Руссо, удивляется Шелли, хотя жалѣетъ о его заблужденіяхъ. Аксаковъ въ названной сейчасъ диссертаціи нашелъ возможнымъ замолвить доброе слово за „просвѣщеніе запада, ибо результатомъ этого просвѣщенія, при настоящемъ его пониманіи, было необходимое сознательное возвращеніе къ себѣ“. Кирѣевскій находилъ въ свое время, что „образованность европейская, какъ зрѣлый плодъ всечеловѣческаго развитія, оторванный отъ стараго дерева, должна служить питаніемъ для новой жизни, явиться новымъ возбудительнымъ сред-

ствомъ къ развитію нашей умственной дѣятельности" (Сочиненія, II, 45).

Эти разнообразныя оцѣнки и лестные эпитеты, правда, теряются среди суровыхъ приговоровъ и невыгодныхъ для Европы сравненій съ русской жизнью, но въ то же время они показываютъ, что первоначальный складъ развитія не могъ изгладиться совсѣмъ, а у такого человѣка, какъ Ив. Кирѣевскій, не сгладился никогда. Гораздо дальше заходила въ нетерпимости побочная фракція славянофильства, представляемая редакціей „Москвитянина"; тамъ произнесена была извѣстная фраза о гніеніи запада, которую никто изъ руководителей школы не могъ бы выставить своимъ девизомъ,[1]) но страннѣе всего то, что произнесъ ее Шевыревъ, репутацію котораго въ университетѣ составило историческое обозрѣніе судебъ поэзіи, принимаемой въ ея общечеловѣческомъ развитіи (съ 1834 г. онъ уже давалъ своимъ слушателямъ обозрѣнія исторіи всеобщей литературы), поклонникъ Гете (его „Геца" онъ обстоятельно объяснялъ на своихъ лекціяхъ) и Данта, любитель итальянской живописи и музыки, неистощимый на лирическіе порывы каждый разъ, когда соприкасался съ итальянской жизнью и природою, въ эстетикѣ послѣдователь Жанъ Поля и Баадера, наконецъ почти передъ смертью переводившій Шиллерова „Валленштейна". Признавать великія достоинства западной мысли и, подъ вліяніемъ непонравившагося направленія европейской современности утверждать, что въ ней *все*—тлѣнъ и гніеніе, было такъ же непослѣдовательно, какъ выраженіе воспитавшагося на западной наукѣ и поэзіи Константина Аксакова, будто „западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ"; такія заявленія могутъ быть объяснены лишь раздраженіемъ и далеко зашедшей полемикой партій.

Извѣстно, что это раздраженіе—черта позднѣйшая, и что первоначально школа славянофиловъ имѣла характеръ

---

[1]) Впрочемъ, въ письмахъ И. С. Аксакова сохранился отзывъ въ этомъ родѣ, сдѣланный его братомъ. „Удивительно удачно выразился Константинъ, сравнивъ консервативную партію на западѣ съ кристаллизаціею и партію революціонную съ броженіемъ гніенія". „Ив. С. Аксаковъ въ его письмахъ", М. 1888, II, 246. Самъ И. С., вторя брату, говоритъ о „пресыщенномъ европейскомъ просвѣщеніи, сознающемъ свою гнилость".

мирнаго, мечтательнаго кружка съ солидною нѣмецко-философской подкладкой. Сходясь съ людьми имъ все еще дорогими, [1]) но различныхъ съ ними убѣжденій, они спорили часто съ бо́льшимъ оживленіемъ о Гегелѣ, чѣмъ о вопросахъ домашнихъ,—или же ставили общіе нравственные вопросы, одинаково симпатичные обѣимъ сторонамъ. Какъ бы напоминая Шеллинга, который въ молодые годы соединялъ съ умозрительными разысканіями философскія стихотворенія, Хомяковъ часто перелагалъ свое ученіе въ стихи; онъ мечталъ въ нихъ о возрожденіи общества и сліяніи его съ народомъ, о братскихъ отношеніяхъ между племенами, возмущался, видя національное самообольщеніе, моля Бога „избавить насъ отъ гордости слѣпой“, отъ „ига рабства“, отъ „безбожной лести, лжи тлетворной“, представляя себѣ славянскую взаимность въ видѣ свободнаго и равноправнаго соединенія всѣхъ народностей, и протягивая руку на примиреніе съ польскимъ народомъ. Гуманная основа такой проповѣди была, конечно, симпатична наиболѣе безпристрастнымъ изъ западниковъ. До самой смерти своей Чаадаевъ былъ однимъ изъ ближайшихъ къ Хомякову людей. Объ идеальной искренности Ивана Кирѣевскаго сохраняли сочувственную память самые рѣзкіе его противники, видя въ немъ, вѣчно увлекавшемся, симпатичнаго „русскаго Донъ-Кихота“, какъ вѣрно назвалъ его впослѣдствіи Писаревъ [2]). Глубоко сочувственнымъ воспоминаніемъ отозвался Герценъ на вѣсть о смерти Константина Аксакова. У насъ, говоритъ онъ, „была одна любовь, но не одинаковая“, въ насъ „запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое чувство безграничной, обхватывающей все существованіе любви къ русскому народу, къ русскому быту, къ русскому складу ума“; „какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, мы смотрѣли въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно.“ Лишь со временемъ, благодаря слишкомъ услужливымъ друзьямъ и крайнимъ

[1]) Напечатанныя въ газетѣ „Русь“ письма Бѣлинскаго къ К. Аксакову проникнуты большою нѣжностью, которая едва свыкается съ необходимостью разойтись.

[2]) „Русскій Донъ-Кихотъ“: Сочиненія Писарева, издан. Павленкова, 1894 г. томъ II.

приверженцамъ вродѣ издателя журнала „Маякъ“, Бурачка, съ его фанатической нетерпимостью, и старшей редакціи „Москвитянина“, всегда представлявшаго собой лишь боковой притокъ въ славянофильство, проведена была неизгладимая грань, оторвавшая этихъ людей отъ старыхъ товарищей—западниковъ. Такія попытки ослабить начинавшуюся рознь, какъ реформа „Москвитянина“, предпринятая не безъ успѣха „молодою его редакціею“, вдохновленной Аполлономъ Григорьевымъ и выдвинувшей таланты Островскаго и Писемскаго, или вызванное знаменитыми публичными лекціями Грановскаго, слившими все московское общество въ единодушномъ энтузіазмѣ, временное сближеніе обѣихъ партій, не могли остановить разложенія. Когда же одинъ за другимъ сошли въ могилу родоначальники славянофильства, и направленіе его перешло къ лицамъ, которыхъ свои же сторонники не разъ упрекали потомъ въ нарушеніи первоначальныхъ завѣтовъ школы, многое измѣнилось; люди, бывало вѣровавшіе, что въ ихъ идеальную общину будутъ входить лишь тѣ, кто можетъ сдѣлать это вполнѣ сознательно, ибо „только то имѣетъ цѣну, что дѣлается искренно и свободно“,—воспѣвавшіе свободу печати, стало быть свободу мнѣній, какъ это сдѣлалъ Константинъ Аксаковъ въ прекрасномъ стихотвореніи, научились осыпать упреками и извѣтами тѣхъ, чья вина заключалась въ несходствѣ ихъ убѣжденій съ тезисами славянофильства; для позднѣйшихъ адептовъ его стали уже прямо въ тягость „эмансипаціонныя заблужденія ихъ знаменитыхъ учителей“ [1]).

Если западное вліяніе обнаружилось и въ такомъ, казалось, чисто-національномъ ученіи, какъ славянофильство,—сколько же интенсивности, оживленія, любознательности въ томъ усвоеніи европейскихъ идей, которое сдѣлала своею главной задачей другая группа молодежи, открыто выступившая подъ флагомъ „западничества“! Власть Гегеля надъ умами была и здѣсь велика,—такъ велика, что, казалось, застилала отъ взоровъ идеалистовъ дѣйствительность, примиряла съ нею, раскрывая ея разумность; философская дресси-

[1]) Характеристика этого разлада—въ статьѣ кн. С. П. Трубецкого, „Разочарованный славянофилъ“, Вѣстн. Евр. 1892 г. X.

ровка переходила въ излишества и забавныя крайности. Въ каждый свой шагъ молодой мыслитель привыкалъ вносить тонкое умозрѣніе; по выраженію Герцена, онъ не могъ просто пойти за городъ на гулянье въ Сокольники, но вступалъ въ эти минуты въ пантеистическое общеніе съ космосомъ, во встрѣчѣ съ солдатомъ или подгулявшей бабой видѣлъ опредѣленіе субстанціи народной въ непосредственномъ и случайномъ явленіи, навернувшуюся на глазахъ слезу относилъ къ *гемюту*, а вернувшись домой спорилъ съ друзьями о „нѣмецкой философіи, любви, вѣчномъ солнцѣ духа и прочихъ отдаленныхъ предмлтахъ", какъ дѣлалъ это въ молодости Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Никто не могъ избѣжать этого философскаго повѣтрія,—и бѣдный, едва грамотный Кольцовъ, стараясь не отстать отъ умной компаніи Станкевича, примучивалъ себя къ философіи, съ грѣхомъ пополамъ толковалъ объ *абсолютѣ* и писалъ свои туманныя *думы*. Шиллеръ и Шекспиръ, истолкованные Мочаловымъ, чей самородный и неразвитой талантъ фосфорическими вспышками своими внезапно освѣщалъ тайники міроваго творчества, уносили энтузіастовъ въ „царство красоты и добра",—вовлекали въ безконечные, устные и письменные разборы а „Гамлета" или „Kabale und Liebe", тогда какъ кругомъ царила не красота, а тьма и зло. Но изъ того же казеннокоштнаго студенческаго нумера, гдѣ Бѣлинскій съ друзьями велъ философскіе споры, вышла та юношески-страстная, проникнутая ненавистью къ рабовладѣнію, кровавая трагедія изъ помѣщичьяго быта („Дмитрій Калининъ"), которая была главной причиной удаленія Бѣлинскаго изъ университета [1]. Въ томъ же уютномъ затишьѣ кабинета Станкевича, гдѣ дружными усиліями кружка поддерживался священный огонь на философскомъ алтарѣ, гдѣ товарищи переводили, резюмировали и излагали мудрые нѣмецкіе трактаты Бѣлинскому, чтобъ онъ не отсталъ отъ послѣднихъ словъ науки, впервые пригрѣли, оцѣнили и вывели въ свѣтъ такого чисто-русскаго поэта, какъ Кольцовъ, чья поэзія, свободная отъ посторон-

[1]) Она напечатана была Н. С. Тихонравовымъ по рукописи, сохранившейся въ московскомъ цензурномъ архивѣ, въ Сборникѣ Общества Люб. Словесности, М. 1891 г.

нихъ примѣсей, тѣсно была связана съ природой и бытомъ южной степи. Здѣсь восторженно встрѣчали каждый новый шагъ гоголевской сатиры, и, подобно Лермонтову, [1]) Гоголь нашелъ именно здѣсь своего лучшаго объяснителя. Самоуправство и рабство, бичуемыя въ „Коварствѣ и Любви“, казались снимкомъ съ русскихъ порядковъ,—а въ торжественную минуту, въ виду живописной панорамы Москвы, на Воробьевыхъ горахъ, два мечтателя, Герценъ и Огаревъ, словами Донъ-Карлоса и Позы дали другъ другу клятву всю жизнь посвятить свободѣ и народному благу.

Развивающее знакомство съ широкимъ теченіемъ міровой литературы, которымъ Бѣлинскій былъ еще болѣе обязанъ своимъ друзьямъ, чѣмъ первоначальному вліянію Надеждина, дало ему смѣлость подвергнуть безпощадному пересмотру наличное имущество русской литературы, сбросить многихъ старыхъ боговъ съ ихъ пьедесталовъ, объявить упорную войну идолопоклонству, поставить задачей національной литературы выраженіе всей умственной работы народа, и въ горячихъ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ дать первый образецъ настоящей критики. Еще не высвободились эти люди изъ подъ власти нѣмецкой философіи и эстетики, а уже изъ молодого кружка идетъ жизненный токъ такой силы, что очертанія будущей литературной школы начинаютъ обрисовываться, — и чуткій угадчикъ Пушкинъ зоветъ Бѣлинскаго въ свой „Современникъ“.

Но въ волшебномъ плѣну философіи и эстетики запада не могли долго оставаться люди съ живыми общественными запросами, съ интересами къ точной наукѣ,—и, когда въ кружкѣ европейцевъ образовалась секція „политиковъ“, стоявшая за опредѣленныя, реальныя формы будущаго строя, за солидарность съ соціальными движеніями Европы, за научную пропаганду въ духѣ гуманности, за изученіе новѣйшаго естествознанія, какъ противовѣса господству метафизики, кругъ развитія первоначальнаго западничества былъ

1) „Пока еще не назовемъ его ни Байрономъ, ни Гете, ни Пушкинымъ,— говорилъ Бѣлинскій,—и не скажемъ, чтобъ изъ него со временемъ вышелъ Байронъ, Гете или Пушкинъ, ибо мы убѣждены, что изъ него не выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а выйдетъ Лермонтовъ“.

завершенъ. Сенъ-симонизмъ Герцена, Огарева, Сатина и ихъ ближайшихъ друзей, смѣнившійся послѣдовательнымъ усвоеніемъ другихъ общественныхъ французскихъ ученій, Фурье, Леру, наконецъ Луи Блана; переходъ въ философіи къ *лѣвой*, радикальной сторонѣ гегельянства, доступной политическимъ интересамъ (со временемъ Бакунинъ сталъ даже сотрудникомъ журнала Арнольда Руге); популяризація новѣйшихъ результатовъ естествознанія; новая эра науки, созданная Грановскимъ и группой молодыхъ московскихъ профессоровъ, только что возвратившихся изъ Германіи,—были результатами этого важнаго оттѣнка умственнаго возбужденія, точно также выразившагося въ связяхъ съ русскою жизнью. Узнать ее ближе, помочь ей радикальнѣе, страстно хотѣлось будущимъ публицистамъ, художникамъ-реалистамъ, гуманистамъ каѳедры.

Этимъ связямъ съ жизнью суждено было годъ отъ году развиваться. Примиреніе съ дѣйствительностью, словно „упоительнымъ куревомъ“ затуманивавшее умы въ мастерской философской проповѣди такого знатока Гегеля, какъ Бакунинъ, разсѣялось, точно чадъ. Односторонне понятый гегелевскій тезисъ, усвоенный Бѣлинскимъ и провозглашаемый имъ на зло неудачамъ и несправедливостямъ, крушенію одного журнала за другимъ, крайней бѣдности, теряетъ свою силу послѣ перехода критика въ Петербургъ и созерцанія вблизи того, какъ творилась тамъ хваленая „дѣйствительность“. Отнынѣ всѣ его силы будутъ посвящены служенію народнымъ нуждамъ, его дѣятельность полна любви къ отечеству и сочувствію каждому успѣху его развитія. Прежнее вліяніе запада, преимущественно нѣмецкое, замѣняется интересомъ къ общественному движенію и литературѣ Франціи, — и, вмѣсто того, чтобы выразиться въ „тоскѣ по сторонѣ чужой“, онъ помогаетъ ему опредѣлить точнѣе свои обязанности по отношенію къ русскому народу, сознать, что теперь девизомъ писателя будетъ—„соціальность“, и въ письмахъ послѣднихъ лѣтъ, полныхъ откровенныхъ, почти покаянныхъ признаній, развить это новое исповѣданіе.

Оттѣнки западнаго литературнаго вліянія естественно мѣнялись въ различные фазисы этого поступательнаго движенія группы европейцевъ. Спачала ихъ симпатіи носили нѣсколько

старомодный характеръ; обязательно было близкое знакомство со всѣми произведеніями Жанъ-Поля, тонко анализировались и въ дружеской перепискѣ, и въ журнальныхъ статьяхъ (напр. статьѣ Герцена) всѣ фантасмагоріи Гофмана; величественное глубокомысліе Гете не давало прислушаться къ тонкой ироніи и геніально капризнымъ выходкамъ противъ стараго порядка у Гейне; много обѣщавшая своими блестящими начинаніями и грубо раздавленная реакціею „Молодая Германія". [1]) предвѣстница новѣйшаго соціальнаго направленія нѣмецкой литературы, почти не привлекала вниманія. Отголоски англійскаго бытового романа или жоржъ-зандизма съ его постановкой женскаго вопроса были очень слабы, для Диккенса готовъ былъ даже у Бѣлинскаго небрежный приговоръ, порицавшій его „буржуазность"; проповѣдь женской эманципаціи мало соотвѣтствовала тому взгляду на женщину, который господствовалъ въ кружкѣ.

Необходимъ былъ лишь небольшой промежутокъ времени, чтобъ эти связи съ западной литературой коренным образомъ измѣнились. Тогда Бѣлинскому кажутся странными „добросердечныя изліянія достолюбезнаго Жана-Поля Рихтера", соболѣзнующаго женщинѣ, но считающаго ея долю неизбѣжною; въ письмѣ къ Боткину (1842) онъ ставитъ Жоржъ-Зандъ „выше всѣхъ нѣмцевъ въ пониманіи любви" и считаетъ ея взгляды „откровеніемъ"; она писательница „геніальная, имѣющая значеніе и во всемірно-исторической литературѣ, не въ одной французской"; это „первая поэтическая слава современнаго міра". По мнѣнію Бѣлинскаго, Беранже—французскій Шиллеръ. Онъ призналъ теперь значеніе „общественной, житейской поэзіи" и ея представителя Гюго. Измѣнился взглядъ и на Диккенса, казалось, имѣвшаго право встрѣтить съ первыхъ же шаговъ сочувствіе и поддержку именно въ русской средѣ по сходству его направленія съ духомъ гоголевской сатиры и „натуральной школой". Со времени появленія важнѣйшихъ произведеній Диккенса, особенно съ романа „Домби и сынъ", отзывы критика объ англійскомъ романистѣ получаютъ совершенно иной характеръ. Бѣлинскій не въ состояніи гово-

---

[1]) Всѣ ея злоключенія недавно пересказаны были въ обширномъ трудѣ, Prölss'a „Das junge Deutschland", 1894.

рить о немъ спокойно и радуется тому, что есть еще страна, гдѣ преобладаетъ живое реалистическое направленіе, и что русскій романъ участвуетъ отнынѣ въ общемъ движеніи. Даже забытый теперь Куперъ поражаетъ его свѣжестью изображенія приволья американскихъ прерій и ихъ удалыхъ обитателей. До самой смерти критика постоянно разростается полное симпатій знакомство его съ европейской литературой и смежной съ нею политической публицистикой. *Revue indépendante*, издававшаяся Пьеромъ Леру вмѣстѣ съ Жоржъ-Зандъ, служила центральнымъ источникомъ, откуда можно было извлекать вѣрныя свѣдѣнія о современномъ прогрессѣ мысли. Друзья таинственно переписывались между собой о „Петрѣ Рыжемъ“, скрывая подъ этимъ наивнымъ псевдонимомъ сильно повліявшаго на нихъ публициста; Бѣлинскаго одновременно знакомили съ дѣятельностью Леру и его журналомъ такой свѣтскій человѣкъ, какъ Панаевъ, и серьезный Грановскій.

Когда среди этого оживленія европейскихъ интересовъ ему вспоминались его же недавніе отзывы и приговоры, становилось „тяжело и больно“, онъ стыдился той „дичи, которую изрыгалъ въ неистовствѣ противъ французовъ,—этого энергическаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества“. Казалось, что онъ „проснулся, и ему страшно вспомнить о снѣ“. [1]) Но и весь кругозоръ его расширился; при содѣйствіи такихъ шекспироманов, какъ Боткинъ и Кронебергъ, онъ глубже прежняго изучилъ Шекспира, знакомился съ литературой о немъ; „снова возникли во всемъ блескѣ лучезарнаго величія колоссальные образы Фихте и Шиллера, этихъ пророковъ человѣчности, этихъ жрецовъ вѣчной любви и вѣчной правды, не въ одномъ книжномъ сознаніи и браминской созерцательности, а въ живомъ и разумномъ That“ [2]).

Удивительный вдохновитель, Бѣлинскій передалъ свой сложившійся наконецъ, созрѣвшій европеизмъ молодежи, сгруппировавшейся въ обоихъ его журналахъ, смотрѣвшей на него, какъ на своего вождя, вошедшей въ жизнь и литературу

---

[1]) А. Н. Пыпинъ. Бѣлинскій, его жизнь и переписка, II, стр. 78.
[2]) Тамъ-же, стр. 129.

при его напутствіи, — и западничество, сперва располагавшее лишь силами первоначальнаго дружескаго кружка, развилось благодаря притоку новыхъ, еще болѣе молодыхъ силъ. Недавній берлинскій студентъ Тургеневъ былъ для Бѣлинскаго замѣной утратъ, понесенныхъ имъ послѣ выселенія изъ Москвы; онъ принесъ ему вѣсти о новыхъ философскихъ ученіяхъ въ Германіи и расположилъ къ себѣ тою горячностью, съ которой „бросился головой внизъ въ европейское море“. Еще въ раннемъ своемъ стихотвореніи „Разговоръ“ онъ сильными штрихами намѣтилъ рознь между старымъ и новымъ поколѣніемъ, между сторонниками прадѣдовской морали и молодежью, томимой жизнью, разочарованной, но смутно вѣрующей въ прогрессъ. [1]) Съ тѣхъ поръ на Западѣ онъ выяснилъ себѣ цѣли, укрѣпилъ энергію, и, полный еще свѣтлыхъ впечатлѣній итальянскаго юга и германской культуры, заговорилъ печатно — о русскомъ мужикѣ.

Два завлекательныхъ примѣра въ современной европейской беллетристикѣ указали ему путь: „Шварцвальдскіе Деревенскіе Разсказы“ Бертольда Ауэрбаха, несмотря на идиллическія прикрасы, вкравшіяся кое-гдѣ въ изображеніе крестьянства, все же давшіе нѣмецкому обществу живое изображеніе деревенскаго быта, — и написанные подъ впечатлѣніемъ ауэрбаховскихъ разсказовъ (съ которыми ее познакомилъ ея секретарь Мюллеръ-Штрюбингъ) народныя повѣсти Жоржъ-Зандъ, „La petite Fadette“, „La mare au diable“, „François le Champi“. Отдѣленные всего однимъ мѣсяцемъ другъ отъ друга, явились деревенскіе очерки Тургенева и Григоровича, затѣмъ некрасовскія стихотворенія изъ крестьянскаго быта, — первый вкладъ „западниковъ“ въ художественную ли-

---

[1]) „Я спрашиваю васъ, говоритъ молодой человѣкъ:
. . . . Я спрашиваю васъ,
О, предки наши! Что для насъ
Вы сдѣлали? Скажите намъ:
Вотъ—нашимъ доблестнымъ трудамъ
Благодаря—смотрите—вотъ
Насколько выросъ нашъ народъ...
Что жъ? Отвѣчайте намъ... Увы!
Какъ ваши внуки, на покой
Безсмысленный спѣшили вы
Съ работы трудной, но пустой.

тературу о русскомъ народѣ, будто бы имъ чуждомъ. Импульсъ былъ данъ извнѣ, гуманная мысль, сложившаяся подъ впечатлѣніемъ видѣнныхъ съ дѣтства крѣпостническихъ насилій, нашла въ немъ поддержку, — и черноземная Русь съ ея природой, людьми и бытовымъ строемъ, съ ея нуждами и запросами, и прежде всего съ бременемъ крѣпостного права, влилась въ „Записки Охотника", — жизнь крестьянства, не затронутая вовсе Гоголемъ, вошла въ литературу благодаря „европейцу" Тургеневу, горячо поддержанному Бѣлинскимъ.

Исторія первыхъ литературныхъ шаговъ Достоевскаго. Гончарова, Салтыкова, Дружинина, говоритъ о столь же определенномъ вліяніи западныхъ идей. Салтыковъ съ глубокимъ чувствомъ вспоминалъ впослѣдствіи [1]) о томъ, какъ, войдя въ жизнь, онъ примкнулъ къ тому кружку западниковъ, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи; „разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луи-Блана и, въ особенности, Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что „золотой вѣкъ" находится не позади, а впереди насъ". Тѣ же признанія у Достоевскаго; онъ еще не зналъ Тургенева, не могъ слышать отъ него восторженнаго возгласа: „Жоржъ-Зандъ одна изъ нашихъ святыхъ", но еще шестнадцати лѣтъ онъ прочелъ „Ускока", и „былъ въ лихорадкѣ всю ночь",[2]) потомъ постепенно влюблялся въ нее, сберегъ эту юношескую страсть до конца жизни, и среди тусклыхъ, старческихъ разглагольствій своего „Дневника Писателя" посвятилъ нѣсколько задушевно написанныхъ страницъ памяти скончавшейся писательницы. [3]) Жоржъ Зандъ и Бальзакъ наряду съ Гоголемъ

[1]) Сочиненія Салтыкова, изданіе автора, „За рубежемъ".

[2]) Н. Страховъ. Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ѳ. М. Достоевскаго, 1883.

[3]) Прочтя о смерти Жоржъ-Зандъ, я понялъ, что значило въ моей жизни это имя,—сколько взялъ этотъ поэтъ въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій, и сколько далъ когда-то радостей, счастья!.. Это одна изъ нашихъ современницъ, вполнѣ идеалистка 30-хъ и 40-хъ годовъ, это одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго самонадѣяннаго и въ то же время больного столѣтія, полнаго самыхъ невыясненныхъ идеаловъ и самыхъ неразрѣшимыхъ желаній, именъ, которыя, возникнувъ тамъ, въ странѣ святыхъ чудесъ, переманили изъ нашей

были образцами для „Бѣдныхъ людей“, „Неточки Незвановой“, и другихъ начальныхъ его работъ, проникнутыхъ участливымъ отношеніемъ къ меньшей братіи. „Поленька Саксъ“ Дружинина, возбудившая когда-то столько надеждъ, особенно близка къ своему первообразу, жоржъ-зандовскому „Жаку“, но свободно отъ романтическихъ украшеній оригинала ставитъ фабулу въ среду русскаго чиновничества, дѣлаетъ героя непонятымъ и неподдержаннымъ борцомъ за честность и гуманность среди взяточниковъ и крѣпостниковъ, отвергнутымъ даже женой, которую онъ хотѣлъ поднять до высоты своихъ идей. Повѣсти Кудрявцева, столь восхищавшія Бѣлинскаго, были полны жоржъ-зандовскихъ мотивовъ. Для Гончарова Жоржъ-Зандъ не имѣла той притягательной силы, которая взволновала все его поколѣніе; онъ цѣнилъ ея художественный талантъ, но не ставилъ выше всего ея идей; другіе образцы отвѣчали требованіямъ трезваго реалистическаго описанія.—Диккенсъ и Бальзакъ, и въ замыслѣ гончаровскаго первенца, „Обыкновенной Исторіи“, много сходства съ судьбою бальзаковскаго Растиньяка, съ наивной довѣрчивостью принесшаго на жертву Молоху—Парижу свои мечты и душевную свѣжесть, затянутаго въ житейскую тину, опошленнаго и обезличеннаго. Выступая одинъ за другимъ на работу, романисты „натуральной школы“ ставили себѣ задачей точное изображеніе русской жизни: въ каждомъ изъ нихъ тогда готовы были найти прямого преемника Гоголя, [1]) но боковыя вѣтви ихъ родословной не менѣе тѣсно связывали ихъ съ европейскимъ романомъ. До той поры, пока они не сознаютъ вполнѣ своихъ силъ и не проявятъ ихъ свободно и самостоятельно, ихъ творчество не отдѣлимо отъ западной словесности. Такъ даже еще въ *Рудинѣ*, имѣя передъ собой близко изученный имъ прототипъ героя повѣсти, въ Бакунинѣ, и среду—въ московскихъ студенческихъ кружкахъ стараго времени, Тургеневъ не могъ

вѣчно создающейся Россіи слишкомъ много думъ, любви“. Среди московской молодежи славянофильскаго оттѣнка такимъ же благоговѣніемъ отличался къ Ж. Зандъ Писемскій.

1) Отдавая „Бѣдныхъ людей“ Бѣлинскому, Некрасовъ съ восторгомъ возвѣстилъ ему, что новый Гоголь народился. „Что у васъ Гоголи точно грибы родятся?“ иронически воскликнулъ критикъ. Извѣстно, съ какимъ энтузіазмомъ онъ присоединился, однако, къ этой сочувственной оцѣнкѣ.

обойти жоржъ-зандовскаго Ораса, „благороднаго фразера, увлекающаго другихъ и самого себя своей мнимой горячностью и пылкими рѣчами и неспособнаго ни на какое настоящее дѣло“.[1]) Это не были пріемы все еще робкихъ учениковъ: было бы натяжкой называть этихъ новыхъ писателей „офранцуженными“ (des écrivains francisés), какъ сдѣлалъ это впослѣдствіи Энникенъ; ученичество кончилось, устанавливалась товарищеская солидарность съ литературами запада, обмѣнъ мыслей между равными; и у тѣхъ, кто всего ближе, повидимому, стоялъ къ европейскому міру, опредѣленно обрисовывались самостоятельныя національныя задачи. Тургеневъ-создатель народной повѣсти, „при первыхъ же вѣстяхъ о намѣреніи правительства освободить крестьянъ“ составилъ въ Римѣ планъ изданія журнала для разработки всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ этой реформой, и отъ перехода въ ряды публицистовъ былъ удержанъ только отрицательнымъ отвѣтомъ изъ Петербурга, гдѣ проектъ нашли „рановременнымъ“ [2]). Искандеръ въ своемъ единственномъ, къ сожалѣнію, вкладѣ въ развитіе русскаго психологическаго романа, важнѣйшемъ явленіи въ его области послѣ „Героя нашего времени“,—повѣсти „Кто виноватъ“, возвелъ глубоко правдивую душевную исторію своихъ героевъ на русскомъ общественномъ фонѣ, взялъ подлинныхъ, живыхъ людей изъ окружающей жизни, но на разработкѣ вопроса о любви и женщинѣ, о правахъ женской личности и на характеристикѣ гибнущей Любоньки видны слѣды общаго, идейнаго вліянія Жоржъ-Зандъ; его журнальныя статьи и заграничныя письма придали ему вполнѣ опредѣленный типъ западника,—но въ первые же годы его странствія по Европѣ у него сложился взглядъ, сначала высказывавшійся только въ дружескихъ бесѣдахъ и письмахъ, затѣмъ заявлявшійся гласно, на заимствованіе просвѣщенія у Европы, какъ на необходимое и благое дѣло, но какъ на переходное состояніе, за которымъ

[1]) Владиміръ Каренинъ. Жоржъ-Зандъ и ея біографы, Вѣстникъ Европы 1894, V, 169.

[2]) И. И. Ивановъ въ своей книгѣ „Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь, личность, творчество“, Спб. 1896, кстати сближаетъ тургеневскую „Записку“ о журналѣ съ подобнымъ же проектомъ, поданнымъ въ 1831 г. Пушкинымъ графу Бенкендорфу и потерпѣвшимъ ту же участь.

должно послѣдовать самостоятельное русское развитіе въ духѣ „европейски-національномъ“ [1]).

Насталъ кризисъ. Соціальное движеніе, охватившее всю Европу въ 1848 году, и коснувшееся дальнимъ и слабымъ своимъ отросткомъ русскаго общества, вызвало его. У насъ уже научались слѣдить за новѣйшими направленіями въ развивавшейся съ лихорадочной быстротой политической литературѣ, философіи и боевой поэзіи французской. „Histoire de dix ans“ и „Organisation du travail“ Луи Блана давно уже были у всѣхъ въ рукахъ; несмотря на разныя преграды, проникали теперь новѣйшіе брошюры и трактаты, вызванные злобой дня; „Письма изъ Avenue Marigny“ знакомили съ взволнованной жизнью Парижа; пѣсни „политическихъ поэтовъ“ Германіи, отголосокъ французскаго движенія, смѣнили собой обветшавшую романтику, даже гейневскій юморъ (снова, какъ и пѣсни Беранже, оцѣненный у насъ въ 60-хъ годахъ), группы молодежи, вродѣ кружка Достоевскаго, изучали соціальныя системы французскія и увлекались Фурье, сошедшимъ со сцены за десять лѣтъ передъ тѣмъ и уже оставленнымъ позади новѣйшими французскими мыслителями. Въ правительственныхъ кругахъ, хотя и въ формѣ совѣщанія секретныхъ комитетовъ, обсуждалась крестьянская реформа, и Бѣлинскій съ особымъ удареніемъ повторялъ слова императора къ смоленскимъ дворянамъ, возвѣщавшія о желаніи возвратить „человѣку все человѣческое“. Въ нѣсколько тревожныхъ мѣсяцевъ произошла поразительная перемѣна; планы реформъ были покинуты, небольшія льготы литературѣ взяты назадъ, печальная развязка постигла теоретическое изученіе десяткомъ, другимъ юношей западнаго обществовѣдѣнія; все притихло и сжалось, отъ Европы опять отгородились какъ можно крѣпче, и медленно потянулись восемь томительныхъ лѣтъ, полныхъ сначала покоя кладбища, потомъ шума войны и шовинизма печати, въ которомъ принимали участіе ветераны литературы въ родѣ Вяземскаго — пока не загорѣлось снова солнце, вмѣстѣ съ порою гласности и реформъ не настало живое и разностороннее сближеніе съ западомъ, и застывшее

---

[1]) „Анненковъ и его друзья“. 1892. „Идеалисты тридцатыхъ годовъ“.

въ отсталости и невѣжествѣ „темное царство“ не озарилось „лучами“ просвѣщенія и гуманности.

Общеніе съ Европой не затихало и во время перелома: много новыхъ возбужденій присоединились къ испытаннымъ уже путямъ вліянія. Если при всемъ народолюбіи славянофиловъ, не примыкавшіе къ нимъ беллетристы, а Тургеневъ и Григоровичъ создали литературное изображеніе народнаго быта, и Писемскому пришлось примкнуть къ готовому дѣлу, если Одоевскій сталъ первымъ журналистомъ для народа,— а Островскій нашелъ настоящую оцѣнку только у Добролюбова,—научное изученіе народности и старины, собираніе и объясненіе народныхъ памятниковъ развилось, благодаря ученымъ совсѣмъ не славянофильскаго оттѣнка, Буслаеву, Аѳанасьеву, находившимся подъ вліяніемъ братьевъ Гриммовъ, впослѣдствіи Пыпину, Тихонравову. Задуманъ былъ и настойчиво, во множествѣ томовъ, выполнялся величавый планъ трудами одного человѣка обозрѣть и изложить всю русскую исторію,—и этимъ новымъ бенедиктинцемъ былъ Соловьевъ, начавшій, по его словамъ (въ Воспоминаніяхъ, Рус. Вѣстн., 1896, III) „жаркимъ славянофиломъ“, „но съ годами спасенный“ отъ крайностей этого ученія „пристальнымъ занятіемъ русской исторіей“, и кончившій восторженнымъ чествованіемъ петровской реформы. Основаніе славистикѣ было положено піонерами ея, первыми профессорами славянскихъ литературъ въ нашихъ университетахъ,—по большей части также не принадлежавшими къ числу славянофиловъ и приступившими къ дѣлу съ пріемами европейской науки [1]). Такой дилеттантъ нашего отечествовѣдѣнія, какъ баронъ Гакстгаузенъ, схлопотавшій себѣ еще въ 1844 г. право на полуоффиціальное путешествіе по Россіи до самыхъ дальнихъ пунктовъ Закавказья, сдѣлалъ нѣсколько важныхъ открытій и наблюденій надъ народной жизнью, пригодившихся русской наукѣ, и указалъ на значеніе общины, не замѣченной ревнителями народности.

Тѣмъ временемъ проникало къ намъ и новое европейское естествознаніе, далеко оставившее за собой ту науку, съ ко-

---

1) А. Н. Пыпинъ. „Русское славяновѣдѣніе“, Вѣст. Европы, 1889.

торою Герценъ знакомилъ свое поколѣніе въ „Письмахъ объ изученіи природы“. Открытія англійскихъ натуралистовъ и нѣмецкія популярныя обобщенія, распространяли въ обществѣ новыя отрезвляющія понятія. Уже слышались отголоски идей Джона Стюарта Милля, и какъ новатора въ философіи, и какъ апостола женскихъ правъ, начавшаго свой походъ въ пользу его еще въ 1851 г.,—и съ 1860 года вызвавшаго (прежде всего благодаря М. Л. Михайлову) въ Россіи то несмолкавшее съ той поры движеніе, которое завершилось въ наше время побѣдой высшаго женскаго образованія. Агитаціи въ пользу крестьянскаго освобожденія принесъ (какъ въ прошломъ вѣкѣ книга Рейналя) не малую пользу романъ Бичеръ-Стоу „Хижина дяди Тома“, нашедшій доступъ къ намъ въ пору колоссальнаго успѣха его перваго изданія,—305,000 экземпляровъ въ одинъ годъ,—(хотя перевести его оказалось возможнымъ лишь при новомъ царствованіи) и растрогавшій гуманнымъ изображеніемъ быта несчастныхъ негровъ-рабовъ,—„Исторія Англіи“ Маколея своей блестящей критикой упорно боровшейся съ вѣкомъ политики Стюартовъ поддерживала насъ въ запросахъ улучшеній и преобразованій,—а подъемъ реализма въ эстетикѣ запада облегчилъ походъ передовой нашей критики (Валеріана Майкова, Чернышевскаго, вскорѣ и Добролюбова) въ защиту сближенія искусства съ дѣйствительностью.

Такъ и во время затишья, всѣми силами охраняемаго отъ внѣшнихъ вліяній, и въ годы войны, когда страны, откуда преимущественно шли эти вліянія, превратились для насъ въ непріятеля, вторгавшагося въ Россію, продержалось идейное общеніе съ западомъ. Вчерашніе лютые бойцы, солдаты и офицеры „Севастопольскихъ разсказовъ“ Льва Толстого. свободно и легко братались съ противниками при первомъ же перемиріи; такъ и между народами и ихъ культурой ничто не могло воздвигнуть прочныхъ преградъ,—и съ новымъ порядкомъ вещей задержанный на время потокъ европеизма такъ и хлынулъ на русскую почву. Протекшіе съ тѣхъ поръ сорокъ лѣтъ показали на дѣлѣ, къ какимъ результатамъ можетъ привести извѣстный просторъ общенія, возможность помѣриться силами, соревнованіе національной

и общечеловѣческой культуры. Сравнявшись наконецъ хронологически съ движеніемъ западной мысли, русская литература въ такой степени освоилась и съ ея важными, и съ мелкими, преходящими, болѣзненными явленіями, что даетъ у себя доступъ всѣмъ имъ, до уродствъ декадентства включительно. Но то, что есть живого, возбудительнаго, развивающаго въ словесности запада, тѣ идеи и темы, которые не могутъ быть чужды культурному человѣчеству, безъ различія расъ, нетолько продолжаютъ свое многовѣковое воспитывающее вліяніе на русскую литературную стихію, но дали ей до того окрѣпнуть въ *самостоятельномъ* проявленіи своихъ силъ, что сталъ наконецъ возможнымъ литературный обмѣнъ *въ полномъ смыслѣ этого слова*, когда обѣ участвующія въ немъ стороны равноправно дѣлаютъ свои вклады въ общую работу. Восьмидесятые годы, отмѣченные „мирнымъ нашествіемъ“ русскаго творчества на Европу, подѣйствовавшаго и художественной силой, и гуманной нравственной стороной, краснорѣчиво завершаютъ собой долгую лѣтопись нашего западничества.

Но старый терминъ этотъ уже изветшалъ и обносился. Время и опытъ требуютъ пересмотра и дополненія обиходнаго понятія. Крайности и односторонности старыхъ споровъ обозначились. Изъ рядовъ тѣхъ людей, которыхъ въ прежнее время обзывали западниками, т. е. отступниками отъ всего родного, вышли и выходятъ въ наше время ревностные изобразители и изслѣдователи, дѣятели и заступники, посвящавшіе свои силы народу; на смѣну мистическаго благоговѣнія, связаннаго съ незнаніемъ, они поставили близкое знакомство, матеріальное, бытовое и идейное, съ народностью; экономисты, земскіе статистики, этнографы, знатоки народныхъ юридическихъ обычаевъ и религіозныхъ ученій, собиратели и объяснители народной поэзіи выставлены были въ большинствѣ случаевъ западнической группой. Культурное движеніе современнаго западнаго славянства, подчасъ являющееся живымъ укоромъ для нашей неповоротливости, вызываетъ въ „западникѣ“ нашихъ дней сочувствіе, не справляющееся съ тѣмъ, что это должно бы составлять принадлежность тѣхъ, чье иноземное прозвище обязывало именно ихъ быть „любителями всего славянскаго“. Не записываясь въ тотъ же цехъ, историкъ не-

рѣдко посвящаетъ свои силы, всю свою жизнь изученію русской старины, но не для того, чтобъ въ романтическомъ духѣ изобразить ее золотымъ вѣкомъ, а съ цѣлью установить отправную точку русской національной эволюціи. Вокругъ такихъ насущныхъ преобразованій, какъ реформа суда или мѣстное самоуправленіе, могли группироваться и потомки западниковъ и такіе убѣжденные эпигоны славянофильства, какъ Иванъ Аксаковъ. Передъ фактомъ великой культурной важности западнаго вліянія въ литературѣ преклонился и такой, рѣшительно расположенный въ послѣдніе свои годы къ воззрѣніямъ противоположнаго характера, мыслитель, какъ Достоевскій, и въ своемъ прекрасномъ некрологѣ Жоржъ-Зандъ, быть можетъ, неожиданно для своихъ поклонниковъ, выразилъ открыто и опредѣленно свой взглядъ: „У насъ, русскихъ, двѣ родины: наша Русь и Европа... Многое, очень многое изъ того, что мы взяли изъ Европы и пересадили къ себѣ, мы не скопировали только... а привили къ нашему организму, въ нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно, точь въ точь, какъ тѣ, тамъ на западѣ, для которыхъ все это было свое, родное... Я утверждаю и повторяю, что всякій европейскій поэтъ, мыслитель, филантропъ, кромѣ земли своей, —изъ всего міра наиболѣе и напроднѣе бываетъ понятъ и принятъ всегда въ Россіи... Это русское отношеніе къ всемірной литературѣ есть явленіе, почти не повторявшееся въ другихъ народахъ въ такой степени, во всю всемірную исторію... Всякій поэтъ—новаторъ Европы, всякій, прошедшій тамъ съ новою мыслью и съ новою силою, не можетъ миновать русской мысли, не стать почти русской силой“ [1]).

Эти слова (отъ которыхъ не отказался бы и такой ветеранъ западничества, какъ Салтыковъ), —невольная дань уваженія къ культурному призванію старшихъ товарищей и предшественниковъ нашихъ,—донесшіяся изъ стана, непріязненнаго имъ, какъ будто вызываютъ обѣ такъ долго враждовавшія стороны перейти отъ непримиримыхъ преній въ ту высшую область мысли, гдѣ противорѣчія и притязанія раз-

---

[1]) Дневникъ писателя, 1876, іюнь.

рѣшаются равноправностью и солидарностью. Европеизмъ, народолюбіе, славяновѣдѣніе уже могутъ сливаться въ наше время подъ условіемъ осуществленія высшихъ общечеловѣческихъ культурныхъ требованій, оставляя по ту сторону обскурантизмъ и косность. Надъ старыми партійными распрями надъ расовыми счетами, надъ самонадѣянными грезами отдѣльныхъ племенъ о томъ, что именно имъ принадлежитъ блестящая роль избранниковъ, встаетъ заря общечеловѣческаго единства, примиреннаго съ племенною самостоятельностью.

Указатель личныхъ именъ.

[illegible] – [illegible] le [illegible]

[illegible] 50 –

[illegible] 55 – [illegible]

[illegible] – 17

[illegible] 120 – 15 [illegible]

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

	Напечатано:	*Слѣдуетъ читать:*
Стран. 5, строка 3 сверху		
	открытаго	вновь открытаго
„ 31, прим. 1.		
	популизаторовъ	популяризаторовъ
„ 35, прим. 1.		
	обратилъ вниманіе еще	обратилъ вниманіе еще Сумароковъ, потомъ
„ 46, стр. 2 св.		
	Фрэнсиса, Ли	Фрэнсиса Ли
„ 53, стр. 8 св.		
	свѣдѣній новые	свѣдѣній (новые
„ 53, прим. 3.		
	высоко ставилъ на	высоко ставилъ
„ 80, стр. 17 сн.		
	летературы	литературы
„ 139, прим. 1, стр. 4 сн.		
	Göthe-jahrbüch	Göthe-Jahrbuch
„ 149, стр. 13 св.		
	въ двухъ Меттерниха	въ духѣ Меттерниха
„ 166, стр. 13 св.		
	тожрественности	торжественности
„ 182, стр. 5 св.		
	моды „завиральны идеи“	моды, „завиральныя идеи“
„ 208, стр. 16 св.		
	поэзіт	поэзіи
„ 245, прим. 1		
	трудѣ, Prölssa	трудѣ—Prölss'a

Сочиненія того-же Автора:

Старинный театръ въ Европѣ, историческіе очерки. М. 1870. Ц. 2 руб.

Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater. Prag, 1876 (изданіе распродано).

Этюды о Мольерѣ. Тартюффъ; исторія типа и пьесы. М. 1879 (распродано).

Этюды о Мольерѣ. Мизантропъ. Опытъ новаго анализа пьесы и обзоръ созданной ею школы. М. 1881, Ц. 2 руб.

Этюды и характеристики. Джордано Бруно, Легенда о Донъ-Жуанѣ, Мольеръ, Вольтеръ, Дидро, Бомарше, Свифтъ, Гюго, Фонвизинъ, Гоголь, Грибоѣдовъ и др.. М. 1894, Ц. 2 руб. 75 коп.

Складъ: Москва, Чистопрудный бульваръ, д. Балашовой, кв. 3.

Цѣна 1 руб. 75 коп.

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

615688
Veselovsky, Aleksei Nikolaevich
Западное вліяніе въ новой русской
литературѣ.
.Title translit.: Zapadnoe vliyanie v no-

LR.H
V5756za

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 12 21 04 01 016 7